

OCEANUS SAROMATICUS

Литературный альманах

Дайте нам парадоксы, дайте нам ошибочные мнения, дайте нам что хотите, лишь бы избавить нас от закостелости. Холодный дух рутины – теневая сторона нашей природы, которая ложится на людей, как ржа, притупляя их способности, подрывая их силы...

БОКЛЬ (Buckle) Генри Томас (1821—1862)
английский историк, социолог-позитивист

4 || 2019

КАУНАС * РИГА



Руководитель проекта – *Эяна Суодене*

Главный редактор – *Альберт Снегирёв*

Ответственный секретарь – *Анна Снегирёва*

Компьютерная верстка – *Екатерина Холявицкая*

ISBN 978-9934-8848-1-8

e-mail: snegiri77@rambler.ru

e-mail: sarmaticus@inbox.lv

e-mail: e.suodiene@gmail.com

e-mail: anna.snegirjova@gmail.com

© Центр культуры им. Л. П. Карсавина

© Альберт Снегирёв

© Авторы, переводчики



Уважаемый Читатель!

Представляем Вам очередной выпуск альманаха «Oceanus Sarmaticus».

Надеемся, что и он Вас не разочарует – мы постарались приложить максимум усилий для того, чтобы укрепить и разнообразить его содержание и обострить его интеллектуальный настрой.

Мы допускаем, что некоторые включенные в него материалы могут Вам показаться несколько усложненными, но ищущий да обрящет – и, настроив себя, свой интеллект, свою любознательность, Вы войдете в ещё один источник познания и творческой гармонии.

Примите, пожалуйста, нашу искреннюю благодарность за позитивное внимание к нашему изданию и уверения в том, что мы и в дальнейшем приложим все наши творческие ресурсы для совершенствования начатого нами Дела.

Нашего с Вами общего Дела.

Альберт Снегирёв



* * *

**Первое правило сей науки должно быть:
живи как пишешь, и пиши как живешь.
Иначе все отголоски лиры твоей будут
фальшивы.**

**Константин Батюшков.
Нечто о поэте и поэзии.
Избранная проза. М., 1988, с. 118**



Борис Подберезин
Латвия, Рига

Специальность – авиационная радио-электроника. Служил в ВВС, занимался научной работой, преподавал в РКИИГА. С 1970-х гг. публиковался в латвийской и российской прессе, в сборниках и альманахах. Автор 6 книг, в том числе серии «Поэты Серебряного века». В последние годы входил в шорт-листы различных литературных премий. За популяризацию русской культуры награждён медалью Российского Императорского Дома. Лауреат Российской национальной премии «Писатель года».



Тургенев.
Дым отечества не сладок

*Спасское-Лутовиново,
Баден-Баден, Буживаль*

О немецком Баден-Бадене в России впервые услышали благодаря Екатерине II: в жёны своему внуку, будущему императору Александру I, она выбрала баденскую принцессу Луизу. Спустя почти два десятилетия курорт облюбовали царские генералы и офицеры, возвращавшиеся из Парижа после победы над Наполеоном. С них писал Булат Окуджава своё «Батальное полотно»:

Вслед за императором едут генералы, генералы свиты,
Славою увиты, шрамами покрыты, только не убиты.
Следом – дуэлянты, флигель-адъютанты. Блещут эполеты.
Все они красавцы, все они таланты, все они поэты.

Был в этих славных рядах и герой Отечественной, будущий руководитель Южного общества декабристов Павел Иванович Пестель. Пушкин писал о нём в дневнике: «Утро провёл с Пестелем; умный человек во всём смысле этого слова... Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов,



которых я знаю». Героя войны, прославившегося бесстрашием во многих битвах, после провала восстания декабристов повесят. Последними его словами будут: «Ужели мы не заслужили лучшей смерти? Кажется, мы никогда не отвращали тела своего ни от пуль, ни от ядер. Можно бы было нас и расстрелять».

Пестель – первая ласточка. Следом в Баден-Бадене появятся многие друзья и знакомцы Пушкина.

Прослышав о красотах Шварцвальда и целебных источниках, сюда потянулась аристократия. Центр местной жизни – курортный павильон. Оркестр играл вальсы Штрауса или попури из «Травиаты», а вальжная публика, сверкая лорнетами, шествовала к источникам, фланировала по аллеям парка, любовалась изумительными ландшафтами, звенела бокалами в ресторанчиках. Строгие матроны выгуливали дочерей в нарядных платьях, высматривая богатых женихов. За ужином отдыхающие внимательно изучали местную газету, из которой можно было узнать, кто приехал на курорт. Светские знакомства, курортные романы, огромные состояния, проигранные за один вечер в знаменитом казино...

В XVIII веке Баден-Баден стал важным городом на карте русской литературы. Современники и друзья Пушкина бежали сюда от беспощадного петербургского климата. «Баден-Баден – это райский уголок», – писал В. А. Жуковский – «побеждённый учитель» Александра Сергеевича. Здесь 4 марта 1852 года Василий Андреевич узнал о смерти Н. В. Гоголя, но горевал недолго – вскоре и сам умер. Его предали немецкой земле, оставив на могильном камне знаменитые строки поэта:

Не говори с тоской: их нет!
А с благодарностию: были!

Имя своего учителя задолго до его кончины увековечил благодарный Пушкин:

Его стихов пленительная сладость
Пройдёт веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнёт о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость.

В Баден-Бадене на склоне лет поселился лицейский друг Пушкина, блистательный А. М. Горчаков. В свои первые приезды он останавливался в гостинице «Европейский двор». В этом отеле, захватившем выгодное



место напротив курортного парка и знаменитого казино, отмечал свои именины И. А. Гончаров, а одним из его гостей был И. С. Тургенев.

В Баден-Бадене жил ещё один друг Пушкина – П. А. Вяземский. Он, вместе с Жуковским, Данзасом и Далем, был рядом с Александром Сергеевичем в последние дни его жизни. Пушкин высоко ценил своего остроумного и талантливого друга, часто цитировал его в своих произведениях и даже посадил поэта к Татьяне Лариной в VII главе «Евгения Онегина». Это о нём писал «наше всё»:

Судьба свои дары явить желала в нём,
В счастливом баловне соединив ошибкой
Богатство, знатный род – с возвышенным умом
И простодушие с язвительной улыбкой.

Курортный город, дышавший умиротворением и покоем, к Вяземскому был безжалостен: здесь умерли два его близких друга, дочь и внук. Он решил остаться тут до конца своих дней:

Уж если умереть мне на чужбине,
Так лучше здесь, в виду родных могил:
Здесь я нашёл, чем скорбь была доньине,
Здесь я не раз заочно слёзы лил.

Баден-Баден непостижимым образом оказался связанным с Пушкиным даже после смерти поэта. Брат вдовы Александра Сергеевича, гусар, сослуживец Лермонтова, Иван Николаевич Гончаров и его первая жена Мария Ивановна лечились на водах. Там они познакомились с кавалергардом П. П. Ланским. Тот возвращался на родину раньше, и Иван Николаевич попросил его передать сестре посылку и письмо. Ланской согласился, не подозревая, что роль почтальона обернётся крутым поворотом в его судьбе. Увидев Наталью Николаевну, – влюбился. Пройдёт несколько месяцев, и они поженятся...

Летом 1836 года к отелю «Дармштетер Хоф» подъехал новый постоялец. Нахохленный длинноносый гость, глядя на портье тревожным взглядом, представился: Николай Гоголь. Осмотрев город, пишет матери: «Больных серьёзно здесь никого нет. Все приезжают только веселиться. Местоположение города чудесно. Он построен на стене горы и сдавлен со всех сторон горами. Магазины, зала для балов, театр – всё в саду. В комнате здесь никто почти не заходит, но весь день сидят за столиками под деревьями. Горы почти лилового цвета даже изблизи».



На водах Гоголь встретился со знакомыми по Петербургу дамами: с княжной В. Н. Репниной, В. О. Балабиной, дочь которой когда-то была ученицей Николая Васильевича. «Он был очень оживлён, любезен и постоянно смешил нас», – рассказывала княжна Репнина. Николай Васильевич читал дамам главы «Мёртвых душ». Те и не подозревали, что сюжет бессмертной поэмы Гоголю подарил Пушкин. А длинный нос писателя баден-баденцы увековечили на фасаде дома, в котором он останавливался. Нос высовывается в щель между занавесками воображаемого окна. Рядом надпись: «Николай Гоголь».

Лев Николаевич Толстой, повторивший маршрут Гоголя спустя двадцать лет, меньше всего в Баден-Бадене думал о литературе. Азарт молодого офицера, только что вышедшего в отставку, с неодолимой силой влёл его в казино. Проиграл всё. По счастью, встретил поэта Якова Полонского (теперь уже почти никто не знает автора «хита» того времени – «Мой костёр в тумане светит»). У Полонского свободных денег не было, но Толстого он выручил – одолжил для него у знакомого. Лев Николаевич на ходу черкнул в дневнике: «Полонский добр, мил, но я и не думал о нём, всё бегал в рулетку». Полученные деньги Толстой проиграл немедленно. «Я не мог оторвать его от рулетки, – я боялся, что он всё проиграет, ибо разменял последние деньги...» – это уже Полонский.

Огорчение и злобу на себя «зеркало русской революции» изливает в дневнике: «Дрянь народ. А больше всего сам дрянь». Следом – новая запись: «Не играл, потому что не на что. Дурно, гадко, и вот уже скоро неделя такой жизни».

Надежда на спасение: на курорт прибывает И. С. Тургенев. «Он сидел в Бадене, как в омуте... – пишет о Толстом Иван Сергеевич своему другу В. П. Боткину. – Решился немедленно ехать в Россию. Я одобрил его намерение, и так как у меня собственных денег не было – то я обратился к Смирнову (мужу Александры Осиповны), и он дал нужные деньги». Догадливый читатель сообразит, чем это закончилось. Вот запись из дневника Толстого: «Такой же пошлый день, взял у Тургенева деньги и проиграл. Давно так ничто не грызло меня».

«Подвиги» Толстого меркнут на фоне игорных безумств Достоевского. Впервые он «отличился» в 1863-м, приехав в Баден-Баден с Полиной Суловой. Проиграл все свои деньги, следом – наличность подруги. Возвращался сюда несколько раз. Сюжет с рулеткой неизменно повторялся. В последний раз Фёдор Михайлович появился в Баден-Бадене после женьшеньбы на Анне Григорьевне Сниткиной. Она вспоминала: «Мои предчувствия оправдались. Вспоминая проведённые в Баден-Бадене пять недель и перечитывая написанное в стенографическом дневнике, я прихожу к



убеждению, что это было что-то кошмарное, вполне захватившее в свою власть моего мужа и не выпускавшее его из своих тяжёлых цепей». Анна Григорьевна раз за разом писала матери – молила прислать деньги. Иногда приходили гонорары из «Русского вестника». Но каждый перевод немедленно проигрывался. Все ценные вещи, включая обручальное кольцо, были заложены. Долги росли, и квартирная хозяйка стала во всём ограничивать молодых, грозила выставить их на улицу.

«Мне было до глубины души больно видеть, – писала Анна Григорьевна, – как страдал сам Фёдор Михайлович: он возвращался с рулетки бледный, измождённый, едва держась на ногах, просил у меня денег (он все деньги отдавал мне), уходил и через полчаса возвращался ещё более расстроенный, за деньгами, и это до тех пор, пока не проиграет всё, что у нас имеется.

Когда идти на рулетку было не с чем и неоткуда было достать денег, Фёдор Михайлович бывал так удручён, что начинал рыдать, становился предо мною на колени, умолял меня простить его за то, что мучает меня своими поступками, приходил в крайнее отчаяние. И мне стоило многих усилий, убеждений, уговоров, чтобы успокоить его, представить наше положение не столь безнадежным, придумать исход, обратить его внимание и мысли на что-либо иное. И как я была довольна и счастлива, когда мне удавалось это сделать, и я вводила его в читальню просматривать газеты или предпринимала продолжительную прогулку, что действовало на мужа всегда благотворно. Много десятков вёрст исходили мы с мужем по окрестностям Бадена в долгие промежутки между получениями денег».

Казино не только превращало жизнь Достоевских в кошмар. Оно было и творческой лабораторией писателя. Здесь он наблюдал за людьми, одержимыми рулеткой, изучал характеры и психологию европейцев. Всё это вместе с собственным опытом позволило написать роман «Игрок». Книгу эту в курортном городе увековечили вместе с автором: фасад дома на Гернбахской улице, в котором жил писатель, украшает его бюст и раскрытый том с названием на обложке «Игрок».

В последние годы в Баден-Бадене появилось несколько памятников русским литераторам. Скульптор Леонид Баранов соорудил памятник Достоевскому. Хотел установить его на заднем дворе казино, но местные власти назначили другое место – долину Ротенбахталь. Скульптор А. Н. Бурганов (автор памятника Пушкину и Наталье Гончаровой на Старом Арбате) создал памятник Жуковскому. Наконец, на Лихтентальской аллее красуется бюст Тургенева работы Юрия Орехова. Мы почитаем этих трёх титанов нашей литературы наряду с Пушкиным, Толстым, Чеховым, другими великими, но европейцы долгое время знали лишь одного русского писателя – Ивана Сергеевича Тургенева.



* * *

«Мне нечем помянуть моего детства, – вспоминал Тургенев. – Ни одного светлого воспоминания. Матери я боялся, как огня. Меня наказывали за всякий пустяк – одним словом, муштровали, как рекрута. Редкий день проходил без розог...» В этих горьких словах – ключ к пониманию личности, да и всей жизни великого писателя.

Тургенев родился 28 октября (9 ноября) 1818 года в Орле. Мать будущего писателя, Варвара Николаевна, отличалась тяжёлым характером и жестоким нравом. Домашних тиранила, а крепостных и вовсе считала своими рабами – недаром её прозвали Салтычихой по фамилии помещицы, судимой за пытки над крестьянами. Её портрет, сильно отретушированный сыном, – в хрестоматийном рассказе «Муму». Да, Варвара Николаевна – та самая взбалмошная барыня, которая «уединённо доживала последние годы своей скупой и скучающей старости». Кстати, сюжет писатель не выдумывал, вся эта грустная история произошла на самом деле в особняке Тургеневоy (Остоженка, 37), а за персонажами стояли реальные люди.

«День её, нерадостный и ненастный, давно прошёл; но и вечер её был чернее ночи», – читаем в самом начале рассказа. Это правда. Судьбе Варвары Николаевны не позавидуешь. Мать её не любила, отец умер прежде, чем она родилась. Отчим, самодур и пьяница, превратил детство девочки в кошмар. Некрасивая широколицая Варвара знала только одиночество, оскорбления, побои и горькие рыдания по ночам. Однажды не выдержала, убежала из дома. Пешком добиралась до Спасского – там жил её дядя Иван Иванович Лутовинов. Помещик-самодур племянницу принял, но тепла и душевности в жизнь девочки не добавил. Он был одержим одним: как пушкинский скупой рыцарь трясся над своим богатством. А над чем трястись – было: тысячи крепостных, земли в нескольких губерниях, сотни тысяч капитала ассигнациями.

Варваре Николаевне исполнилось уже двадцать семь, когда дядя внезапно умер. Огромное богатство свалилось ей на голову. Тут же рядом оказался молодой красавец, вышедший в отставку офицер Сергей Николаевич Тургенев. Изошрённый обольститель и сердцеед одержал победу мгновенную и лёгкую. Опьянённая его пламенными любовными клятвами, Варвара Николаевна поддалась иллюзии: она может быть любима и счастлива! Похмелье было горьким: мужа интересовали только её деньги. Пока она растила трёх сыновей – Николая, Ивана и Сергея – Сергей Николаевич продолжал свой победоносный донжуанский путь, покоря всё новые и новые женские сердца. Тут уже заледеневшая душа Варвары Николаевны окончательно и бесповоротно заполонилась мраком. На всех отыгрыва-



лась она, всем мстила за свою изломанную жизнь. Настроение её часто менялось, вслед за неистовым буйством наступала меланхолия. Изредка выпадала в благодушие – одаривала своего немого крепостного Андрея (прототип Герасима в «Муму») дорогими кумачовыми рубашками, экзальтированно изливала на сыновей материнскую любовь и заботу.

Будущий писатель рос в Спасском-Лутовиново – родовом поместье с парком, большим садом и прудом. В центре усадьбы – двухэтажный дом с библиотекой, театром, оранжереями и винными подвалами. В редкие дни, когда мальчик не был под розгами, он слышал стоны и плач крепостных, которых по приказу барыни секли на конюшне. С тех детских лет в нём поселилось отвращение к несправедливости, жестокости, тирании. Родом из детства ещё одно чувство Тургенева – восторженная любовь к природе, к красотам средней полосы России. Любовь эта, помноженная на литературный дар, прославит Ивана Сергеевича как одного из лучших пейзажистов русской литературы.

В учёбе он проявлял блестящие способности. Пятнадцатилетним поступил в университет, закончил учёбу, когда ещё не исполнилось и двадцати. Преподаватели прочили Тургеневу научную карьеру. Он загорелся было этой идеей, но сначала не сложилось, а потом и сам расхотел. Его влекла литература, он начал писать стихи. С робкой надеждой показал первые сочинения профессору П. А. Плетнёву, дружившему с Жуковским, Пушкиным, Гоголем. Тот одобрил, напечатал одно из тургеньевских стихотворений в «Современнике». Пригласил в свой дом на литературный вечер. Там среди известных писателей Иван Сергеевич впервые увидел Пушкина. Может быть, тот день и определил его судьбу...

Мудрый профессор разглядел в юноше дар. Но зорким глазом увидел и другое: робость, нерешительность, склонности к меланхолии и рефлексии. Добавим от себя в этот грустный букет надломленную матерью волю, недостаток мужественности, способность к малодушию. Всё это – печальные плоды его детства в Спасском. Вскоре случай сделал эти качества достоянием публики. Окончив петербургский университет, Тургенев решил продолжить образование в Берлине (а заодно и вырваться из невыносимой атмосферы родового гнезда). Получив согласие Варвары Николаевны, отправился пароходом в Любек. Плаванье уже подошло к концу, когда на судне случился пожар. Матросы спешно спускали на воду аварийные шлюпки. Пассажиры-мужчины пытались унять панику, успокаивали жён и детей, усаживали их в шлюпки. Обезумевший от страха Тургенев кинулся к одному из матросов, вцепился в него, закричал:

– Не хочу умирать! Спаси меня! Спаси! У меня матушка богатая, она тебе десять тысяч даст, только спаси!



Матрос оттолкнул его – молодого, рослого, крепкого, пропуская к шлюпке истово крестившуюся старушку. Капитан тем временем вырулил на мелководье, посадил пароход на мель – теперь можно было безбоязненно прыгать в воду.

«Крика о помощи ему не забыли во всю долгую, славную его жизнь. Корили в молодости, вспоминали и тогда, когда уж был он знаменитым стариком, перевирая, искажая – показали себя во всей человеческой прелести», – писал Б. К. Зайцев. Сам Тургенев этого случая не скрывал, спокойно сносил насмешки.

В Берлине Иван Сергеевич с головой ушёл в учёбу. Зубрил латынь, греческий, читал античную литературу. Но больше всего увлёкся Гегелем – тот был тогда очень моден. Каждый день упорной учёбы приближал его к будущей заслуженной славе одного из образованнейших людей своего времени. Но и литературу не забывал – писал стихи, размышлял над прозой.

Между тем Варвару Николаевну всё чаще стали посещать приступы любви к сыну. Она засыпала Ивана Сергеевича письмами, справлялась о здоровье, учёбе, признавалась, что не может дождаться его возвращения. Сын отвечал редко, на материнские чувства не откликался. Он не любил мать, почти не вспоминал о ней. Вообще, постепенно склонялся к жизни отрешённой, уходил в себя. Приятелей имел, но студенческих кружков избегал, обнаруживая «к прогулкам в одиночестве пристрастие».

А мать всё изливала на него свою безответную болезненную любовь: «Так ты изволил гневаться на меня, и пропустил пять почт, не писав. Извольте слушать, первая почта пришла – я вздохнула, вторая – я задумалась очень, третья – меня стали уговаривать, что осень... реки... почта... оттепель. Поверила. Четвёртая почта пришла – писем нет! Дядя, испуганный сам, старался меня успокоить... Вот и пятая почта... И текущую неделю я была как истукан: все ночи без сна, дни без пищи. Ночью не лежу, а сижу на постели и придумываю... Ванечка мой умер, его нет на свете... Похудела, пожелтела. А Ванечка изволил гневаться...»

«Ванечка» смиловившись, приехал в Спасское, но быстро отбыл в путешествие: Австрия, Италия, Швейцария... Европа очаровывала его, он с наслаждением впитывал дух европейского свободолюбия и культуры. Уже тогда он сделал главный для себя вывод: «Только усвоение основных начал общечеловеческой культуры может вывести Россию из того мрака, в который она погружена». В яростном извечном споре западников и славянофилов Тургенев не колеблясь примкнул к западникам.



* * *

Большую часть жизни Тургенев провёл за границей. Он жаловался, что мрачная российская действительность, беспросветная жизнь крепостных, давление цензуры действовали на него настолько удушающе, что порой на родине он впадал в отчаяние и терял творческий заряд. Большинство его произведений создавались в Европе. Даже самые «русские» «Записки охотника» написаны в Германии и Франции.

Европу Тургенев любил всей душой. Славянофилы обвиняли его в низкопоклонстве перед заграницей, пеняли ему: утратил русские корни, отрёкся от России. Особенно неистовствовал Достоевский. В 1867-м он встретился с Тургеневым в Баден-Бадене. Завязался старый спор. Фёдор Михайлович посоветовал Ивану Сергеевичу выписать из Парижа телескоп: увидите, мол, из своего «прекрасного далёко», что происходит в неведомой вам России. О том, что было дальше, читаем в письме Достоевского поэту Аполлону Майкову: «...я взял шапку и как-то, совсем без намерения, к слову, высказал, что накопилось в три месяца в душе от немцев: „Знаете ли, какие здесь плуты и мошенники встречаются. Право, чёрный народ здесь гораздо хуже и бесчестнее нашего, а что глупее, то в этом сомнения нет. Ну вот Вы говорите про цивилизацию; ну что сделала им цивилизация и чем они так очень-то могут перед нами похвастаться!“ Он побледнел (буквально ничего, ничего не преувеличиваю!) и сказал мне: „Говоря так, Вы меня лично обижаете. Знайте, что я здесь поселился окончательно, что я сам считаю себя за немца, а не за русского, и горжусь этим!“».

После этого писатели не разговаривали десять лет. Достоевский прошёлся по Тургеневу в «Бесах», довольно неприглядно изобразив его под маской Кармазинова, признающего: «Я стал немцем и горжусь этим».

Идейные разногласия двух литературных титанов были непримиримыми. А тут ещё ревность Фёдора Михайловича к европейской славе Тургенева, возмущение: Ивану Сергеевичу, имеющему 2 тысячи крепостных, издатель платит 400 рублей за то же количество страниц, за которое он, вечно нуждающийся, получает всего 100.

Удивительно, но мягкий, учтивый, незлобивый Тургенев ухитрился перессориться почти со всеми видными литераторами России: с И. А. Гончаровым, Н. А. Некрасовым, Л. Н. Толстым и даже со старым своим другом А. И. Герценом. Иначе было с европейцами. С Флобером, к примеру, его связывали узы близкой дружбы, и долгие годы их отношений не омрачились ни единой размолвкой.



Во Франции слава Тургенева опережала российскую. Проспер Мериме, выучивший русский из-за благоговения перед Пушкиным, восхвалял автора «Записок охотника» как «острого и тонкого наблюдателя, точного до мелочей», который рисует своих героев как поэт и живописец. Ги де Мопассан называл его своим учителем и восхищался: «...гениальный романист, изъездивший весь свет, знавший всех великих людей своего века, прочитавший всё, что только в силах прочитать человек, и говоривший на всех языках Европы так же свободно, как на своём родном». Гюстав Флобер в переписке обращался к нему: «Мой дорогой великий Тургенев!» Писал: «Давно уже вы являетесь для меня мэтром. Но чем больше я вас изучаю, тем более изумляет меня ваш талант. Меня восхищает страстность и в то же время сдержанность вашей манеры письма, симпатия, с какой вы относитесь к маленьким людям и которая насыщает мыслью пейзаж». Жорж Санд: «Учитель! Мы все должны пройти через Вашу школу».

Французские классики ценили не только литературный дар Тургенева. Умный, просвещённый, обладатель хороших манер, он был желанным гостем в любой компании. «Это очаровательный колосс, нежный беловолосый великан, он похож на доброго старого духа гор и лесов, на друида и на самого монаха из „Ромео и Джульетты“». Он красив какой-то почтенной красотой», – писали в дневнике брата Гонкуры. Обаянием своей личности, образованностью Иван Сергеевич изменил само представление о России как о варварской стране.

Г. Флобер в своё время задумал собирать на ежемесячные обеды лучших писателей того времени. В компанию к Эмилю Золя, Альфонсу Доде и Эдмону Гонкуру, конечно, был приглашён Тургенев. Эти дружеские застолья с литературными спорами, обсуждениями новых книг, философскими размышлениями продолжались шесть лет и вошли в историю литературы как «обеда пяти».

Тургеневская слава была огромной – он первым из беллетристов удостоился звания почётного доктора Оксфордского университета. В Европе Тургенева считали не только величайшим, но и единственным русским писателем – других там почти не знали. Иван Сергеевич добровольно потеснился на троне – освобождал место для Гоголя, Льва Толстого, Островского, Гончарова, Писемского, чьё творчество настойчиво пропагандировал на Западе. По сути, он был там культурным послом России. Благодаря Тургеневу Европа узнала и полюбила русских классиков – от Пушкина до Достоевского, а русский читатель открыл для себя европейских авторов, в первую очередь французов – Э. Золя, Г. Флобера, Г. Мопассана, А. Доде.



Да, в отличие от Грибоедова, он не мог сказать: «И дым отечества нам сладок и приятен», но вклад Тургенева в копилку отечественной культуры – несметный. Разве это не мера патриотизма? А легендарная русская тургеневская библиотека в Париже?

Фразу о своём онемечивании он сказал Достоевскому, конечно, в пылу полемики. Все его произведения – русские и о русских, а стихотворение в прозе о «великом и могучем» – своего рода символ веры в Россию, гимн ей.

Отчизну он любил, но «странную любовь» – издалека.

* * *

Оправдывая своё бегство в Европу, Тургенев писал: «Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел; для этого у меня, вероятно, недоставало надлежащей выдержки, твёрдости характера. Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага за тем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определённый образ, носил известное имя: враг этот был – крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил всё, против чего я решился бороться до конца – с чем я поклялся никогда не примириться...»

Напасть?! Бороться до конца?! Нет, это, конечно, не про Тургенева. Бойцом он никогда не был. Лишь раз, да и то ненамеренно, рассердил власть хвалебным некрологом Гоголю. За это посидел недолго во второй Адмиралтейской части и был сослан в собственное имение, где с упоением предавался любимому занятию – охоте. Н. Г. Чернышевский и Ф. М. Достоевский посчитали бы такое наказание подарком судьбы. В 1862-м Тургенев попал под подозрение «в сношениях с лондонскими пропагандистами». Сенат признал его невиновным, но, не дожидаясь этого решения, Иван Сергеевич написал верноподданническое письмо императору Александру II. Главный «лондонский пропагандист», А. И. Герцен, откликнулся ядовитой статьёй о бывшем друге, не называя его имени. В работе Ленина «Памяти Герцена» читаем: «„Колокол” писал о „седовласой Магдалине (мужеского рода), писавшей государю, что она не знает сна, мучась, что государь не знает о постигнувшем её раскаянии”. И Тургенев сразу узнал себя». Вот и вся тургеневская «борьба с врагом». Кстати, когда супостат, «изгнавший» Ивана Сергеевича за границу, в 1861 году был повержен, на родину Тургенев не переселился.

Все разговоры о борьбе, скорее, были дымовой завесой – в Европу Тургенева отчаянно влекла любовь к Полине Виардо – любовь странная, загадочная, трагическая... Впрочем, настоящая, счастливая любовь, о которой он мечтал, не давалась ему никогда. Нерешительность, безвольность,



боязнь утратить свободу всякий раз заглушали его любовные порывы. За глаза о нём говорили как о «застенчивом или стыдливым Дон Жуане, готовом всегда убежать от затеянного им дела». Верный друг Ивана Сергеевича П. В. Анненков писал: «Никто не замечал меланхолического оттенка в жизни Тургенева, а между тем он был несчастным человеком в собственных глазах: ему недоставало женской любви и привязанности, которых он искал с ранних пор... Он страдал сознанием, что не может победить женской души и управлять ею: он мог только измучить её. Для торжества при столкновениях страсти ему недоставало наглости, безумства, ослепления».

Облик писателя нередко маячит за его литературными героями. Прототип тургеневского Рудина – М. А. Бакунин, но в Рудине, продолжающем галерею безвольных, слабых, колеблющихся героев, обречённых на неудачную любовь, мы видим черты самого Тургенева. Яркий пример – роман с любимой сестрой Льва Толстого – Марией. Они познакомились в Спасском-Лутовиново, и вскоре Тургенев признался в письме к П. В. Анненкову: «Сестра его одно из привлекательнейших существ, какие мне только удавалось встретить. На старости лет (мне четвёртого дня стукнуло 36 лет) – я едва ли не влюбился». Иван Сергеевич увлёкся Марией, красиво ухаживал и своих чувств не скрывал. Очень скоро Лев Толстой узнаёт из письма своего брата Николая: «Маша очарована Тургеневым». Как же не очароваться?! – Иван Сергеевич красноречиво говорит о любви, его красивые серые глаза светятся нежностью... Пленённая грёзами, Мария Николаевна уходит от мужа, ждёт решительного шага от возлюбленного. Напрасно. Тургенев спешно исчезает из её жизни, уезжает за границу, пишет своего «Фауста», где в главной героине легко угадывается Толстая, а в сюжете – их отношения, которые в рассказе заканчиваются трагически: «То, что было между нами, промелькнуло мгновенно, как молния, и как молния принесло смерть и гибель...»

Донжуанский список Тургенева короток. Первая, ещё юношеская любовь – молодая княжна Екатерина Шаховская. Исход драматический: наш герой узнаёт, что избранница – одна из бесчисленных любовниц его отца. Историю эту Тургенев опишет в повести «Первая любовь», переименовав Шаховскую в Зинаиду Засекину.

Спустя несколько лет – мезальянс. Его героиня – белошвейка Авдотья Иванова. Она родила писателю дочь Пелагею. Мать Ивана Сергеевича ещё до родов изгнала «злодейку» из Спасского-Лутовиново. Тургенев снял ей квартиру в Москве, помогал деньгами. Щедрость – устойчивая его черта.

Следующий роман – с Татьяной Бакуниной, сестрой тургеневского друга революционера Михаила Бакунина. Татьяна, как никто другой, являла



собой «тургеневскую девушку», особенно в сердечных делах – любила она упорно и неотступно. Б. К. Зайцев так описывает эту грустную историю: «На прогулках по рощам и в ночной тьме на балконе, после сыгранного в зале Бетховена, при бледных звёздах говорилось, разумеется, немало романтических заоблачностей. Вечная любовь, небеса души и многое в подобном роде – вздохи и загадочные взгляды, чувства и некая игра в них, поза, всё перемешивалось и создало туманно-бродящий напиток, опьянявший – но в разной мере – обоих. Тургенева он целиком не захватил. Сердце оставалось прохладным, и он довольно точно изображал себя, когда позже писал Татьяне: „Я никогда ни одной женщины не любил больше вас – хотя не люблю и вас полной и прочной любовью“». На этом и расстались. Татьяна от горя не находила себе места. Тургенев её страданиями не мучился.

Кстати, о «тургеневских девушках». Этот собирательный образ в XX веке унаследует Александр Блок. Его отношение к «Прекрасной даме» – возвышение, идеализация, обожествление самой Женственности, романтическая высокая любовь (зачастую платоническая) напоминает представления Ивана Сергеевича о «своих» девушках.

Была ещё одна ненужная победа – над дальней родственницей, молоденькой Ольгой Тургенево́й. В этот раз закрались даже мысли о женитьбе, но Иван Сергеевич остался верен себе – выбросил эти «глупости» из головы. А в своей прозе Ольгу оставил – она стала Татьяной в романе «Дым».

В самом конце жизни Тургенев полюбил актрису Марию Савину, сыгравшую в его пьесе «Месяц в деревне» Верочку. Ей 25, ему 61. На этот раз отверженным оказался Иван Сергеевич: он ждал ответной любви, а Мария соглашалась только на дружбу.

Вот, собственно, и всё, за вычетом нескольких несущественных эпизодов. Но все эти истории – маленькие планеты на далёких орбитах. Центром его любовной вселенной была певица Полина Виардо. Странная закономерность: география творчества Тургенева – преимущественно Европа, география романтических знакомств – исключительно Россия.

* * *

В 1843 году светский Петербург жил ожиданием – в Россию приезжала итальянская опера. Бомонд только об этом и говорил. Больше всего судачили о молодой звезде Полине Виардо. Восемнадцатилетней она триумфально дебютировала в Лондоне и в Париже, спев Дездемону в «Отелло» Россини и Верди. По всей Европе гремела её слава. И не только среди поклонников оперы. Жорж Санд сделала Виардо прототипом главной



героини романа «Консуэло». Гейне уверял, что когда она поёт, ему грезятся на сцене тропические растения, лианы и пальмы, леопарды, жирафы, «и даже целое стадо слонят».

О Полине Виардо современники высказывались по-разному, но все сходились в одном: «пленительная уродина», «редкостная дурнушка» начала петь и... становилась неотразимой. Её голос очаровывал, завораживал, страстная сценическая манера околдовывала. Дамы в зале, косясь на восторженные лица мужей, ядовито шипели: «сажа да кости» – она и вправду отличалась худобой и чёрными как смоль волосами, зачёсанными гладко на пробор, с буклями над ушами.

Гастроли в России Виардо открыла «Севильским цирюльником». После первой же арии зал устроил ей оvation. Восторженная публика неистовствовала. Был на спектакле и Тургенев. «Браво!» – едва ли не громче всех кричал он в восхищении.

Вскоре ему удалось познакомиться с ней, и этот день, 1 ноября, он всю жизнь будет отмечать как свой главный праздник. Полине его представили как «молодого великорусского помещика, хорошего стрелка, приятного собеседника и плохого стихотворца». Кстати, о стихотворстве. Тургенева больше знают по прозе, но начинал он как поэт. Как раз во время гастролей Виардо он написал стихи, которые, превратившись в романс, покорили всю Россию, – «Утро туманное, утро седое...»

Насмешка судьбы: с прославленной певицей Тургенева познакомил её муж – директор итальянской оперы Луи Виардо. Он станет для Ивана Сергеевича другом, его жена – пожизненной мучительной неразделённой любовью. Трагизм ситуации описал Б. К. Зайцев: «Он влюблён... она „позволяет себя любить“». Для неё он один из многих, ею восхищавшихся, многих, с кем она вела лёгкую словесную игру... За Виардо много ухаживали. Её посещали и люди высокого общественного положения, и артисты, и молодёжь. Муж в счёт не шёл. Луи Виардо безмолвная фигура, „полезное домашнее животное“. С ним приходилось Тургеневу беседовать уединённо, в кабинете, об охоте, и ещё, пожалуй, о рыбной ловле, о земледелии и скотоводстве, пока Полина принимала у себя более видных гостей». Льву Толстому эта любовь виделась болезненной: «Он жалок ужасно. Страдает морально так, как может страдать только человек с его воображением». Болезненность своего чувства Тургенев и сам понимал. Спустя годы в минуту откровенности признается А. А. Фету: блаженствует лишь тогда, когда женщина каблуком наступит ему на шею и вдавит лицо в грязь. Деспотичная мать надломилась его волю. Любовь к Виардо обезволила Тургенева окончательно, превратит в раба этой любви.



А пока на дворе 1843-й. Между выступлениями певица принимает Тургенева у себя (Невский проспект, 54). Полине нравятся его красота, изящество, образованность, ум. Но она предпочитает мужчин не слова, а дела, мужчин, на которых можно опереться, за которыми можно укрыться от жизненных невзгод как за каменной стеной. Тут же – неяснопоэтические туманы, вздохи, томления. Словом – «облако в штанах». Но раз уж он влюблён, пусть любит. Это она Тургеневу позволяет. И он будет следовать за ней 40 лет – всю оставшуюся жизнь. Навсегда останется под властью этой женщины. Ради неё оставит родину, близких, друзей.

После отъезда Виардо из России Тургенев вступил с ней в бурную переписку. Через год они вновь встречаются – Полина опять выступает в Петербурге. Ещё через полгода Тургенев отправляется в Куртавнель – там, под Парижем, дом Виардо. Б. К. Зайцев назвал эту поездку «первыми шагами по пересадке нашего писателя на иноземную почву». К недоумению благонравной Европы, начинается жизнь Тургенева в семье Виардо. «На краю чужого гнезда» – так об этом говорил сам Иван Сергеевич. Что до 44-летнего главы семьи, то он уже давно не обращал внимания на «шалости» своей молодой жены. Этот русский писатель был не первым и не последним поклонником, к которому его супруга проявляла благосклонность.

Через семьдесят лет такая же странная любовь прикуёт Маяковского к Лиле Брик. В этих двух историях одно отличие: Виардо никогда не искала в своих отношениях с Тургеневым выгоды – никаких меркантильных ноток. Во всём остальном – полное сходство.

Когда чувства Маяковского к Лиле стали угасать – «любовная лодка разбилась о быт» – он через пелену времени с печалью вспомнил схожую судьбу:

Туман – парикмахер,
 он делает гениев –
загримировал
 одного
 бородой –
Добрый вечер, m-г Тургенев.
Добрый вечер, m-me Виардо...

Теперь жизнь Тургенева – череда городов и стран. Ему необходимо постоянно быть рядом с возлюбленной. Отправляется за ней в Дрезден, потом в Лондон. Она возвращается во Францию, и он селится в Париже, напротив церкви Мадлен (улица Тронше, 1). Дом этот стоит почти в том



же виде и сегодня. Если доведётся быть в Париже, стоит прийти сюда, чтобы представить, как за этими стенами сидел, писал, любил, тосковал Тургенев. Можно вообразить, как Иван Сергеевич выходил из дверей и, наполненный любовными переживаниями и грустными думами, обходил Мадлен, сворачивал налево на бульвар Капуцинок и меланхолично двигался к Гранд-Опера. Оттуда не спеша брёл в сторону ПалеРояль и входил в свой любимый сад Тюильри...

Три зимы прожил он в Париже и три лета в Куртавнеле – здесь он купил дом, чтобы быть ближе к Полине. Тут было его Болдино – нигде не писал он так много, как в Куртавнеле, о котором справедливо говорил: «Это колыбель моей славы».

Вернувшись в Россию, Тургенев с удивлением обнаружил: его дочери уже девятый год! Поглощённый своими сердечными делами, он совсем забыл о девочке. Теперь его душили угрызения совести. Что делать? Иван Сергеевич сел за письмо к Виардо, просил совета. Ответ заполнил сердце писателя тихой радостью – Полина с мужем готовы взять Пелагею к себе, воспитывать вместе со своими детьми, но просят компенсировать расходы. Переименованная в Полину, девочка отправилась во Францию.

Умирает мать Тургенева. Он избавляется от её власти и от денежной зависимости – теперь Иван Сергеевич богат. На похоронах Варвары Николаевны Тургенева не было. Обращённый внутрь себя взгляд всегда отвлекал его от чужих бед. Тургенев не был на похоронах и отца, и брата, и близкого друга Белинского. С последним вообще вышло нехорошо: обещал проводить уже умиравшего Виссариона Григорьевича в Россию, но даже не попрощался с ним, умчался в Лондон вслед за Виардо, оставив Белинского на попечение П. В. Анненкова. Совесть всё-таки грызла его – до конца жизни Тургенев держал на своём столе портрет «неистового Виссариона» и завещал похоронить себя рядом с другом.

В первое время после возвращения в Россию все мысли Тургенева только о Виардо. Специально едет в Петербург, чтобы посетить святое для него место знакомства. Со сладкой грустью пишет Полине: «Я ходил сегодня взглянуть на дом, где я впервые семь лет тому назад имел счастье говорить с вами. Дом этот находится на Невском, напротив Александринского театра; ваша квартира была на самом углу, – помните ли вы? Во всей моей жизни нет воспоминаний более дорогих, чем те, которые относятся к вам...» Почти в каждом письме: «Позвольте мне упасть к вашим ногам... часами целую ваши ноги... нет для меня большего счастья, чем быть у ваших ног...» Виардо отвечает с задержками, тон её писем становится прохладнее.



В 1853-м Тургенев в ссылке в своём имени. Виардо вновь приезжает с гастролями в Россию. Он узнаёт об этом из газет. «Признаюсь, хотя без малейшего упрёка, что я предпочёл бы узнать всё это от вас самой. Но вы живёте в вихре, отнимающем у вас время, – лишь бы только вы не забыли обо мне, мне больше ничего не нужно», – пишет он певице. После Петербурга Виардо выступает в Москве, и Тургенев пускается в авантюру. С чужим паспортом, в одежде мещанина, отчаянно рискуя, едет в Москву. Друзья в ужасе от его появления, но он спешит к любимой...

После этой встречи Тургенев со страшной ясностью понимает нелепость своей жизни «на краю чужого гнезда». Кажется, Виардо уже не имеет над ним той абсолютной власти, что была прежде. Тургенев пишет горькое и необычайно дерзкое письмо: «Я не рассчитываю более на счастье для себя, т. е. на счастье в том опять-таки тревожном смысле, в котором оно принимается молодыми сердцами... Впрочем, на словах-то мы все мудрецы: а первая попавшаяся глупость пробежи мимо, так и бросишься за нею в погоню. Как оглянусь я на свою прошедшую жизнь, я, кажется, ничего больше не делал, как гонялся за глупостями. Дон Кихот, по крайней мере, верил в красоту своей Дульцинеи, а нашего времени Дон Кихоты и видят, что их Дульцинея урод, а всё бегут за нею».

Его Дульцинея – урод?! Виардо таких слов не ожидала! Переписка их почти прекращается на долгие шесть лет.

К лету 1856-го Тургенев всё чаще возвращается в своих мыслях к Полине. Какое-то щемящее неясное чувство бередит его душу, вгоняет в меланхолию. Перебирая в памяти картины минувших лет, опять видит «свою Дульцинею» прекрасной и влекущей. И он решается – после шести лет разлуки отправляется к Виардо в когда-то счастливый для него Куртавнель. Там его надежды и мечтания разбиваются вдребезги. У Полины новый фаворит – художник Ари Шеффер. С дочкой тоже беда: по-русски уже не говорит, с Полиной не ужилась, оставаться там не желает. Тургенев забирает девочку и с нанятой для неё гувернанткой все трое переезжают в Париж на улицу Риволи в съёмную квартиру. Потом переселятся на улицу Аркад – жилища, как всегда, поблизости от любимого сада Тюильри. И снова день ото дня его фигура будет одиноко маячить в аллеях, уставленных застывшими мраморными фигурами. Как раз в это время Тургенев изольёт измученную душу приехавшему в Париж Афанасию Фету. Расскажет всё. Даже о приносящем блаженство «женском каблуке на своём горле».



* * *

Через несколько лет жизнь Виардо омрачается грустными событиями. Умирает Ари Шеффер, а у неё самой, ещё не достигшей сорокалетия, начинает пропадать голос. Гордая и волевая, она решает покинуть сцену, не дожидаясь увядания славы. Уезжает из Франции в Баден-Баден. Здесь всё ей по душе: курортный покой, чинная публика, буйство зелени, лиловые горы на горизонте. Скучать некогда: съехавшиеся из всей Европы на отдых богатые девицы выстраиваются в очередь к примадонне на уроки пения.

Тургенев предпринимает последнюю попытку, приезжает в славный для русской литературы Баден-Баден. Семейство Виардо живёт за рекой, в Тиргартене. Иван Сергеевич селится ближе к центру – снимает первый этаж у вдовы Анштедт на Шиллерштрассе. Дом этот не сохранился, на его месте фешенебельный отель. Стены корпусов украшены вводящими в заблуждение табличками: «Вилла Виардо», «Резиденция Тургенева», «Дом Анштедт». Да, прав был незабвенный Козьма Прутков: «Не верь глазам своим»!

Каждый день Тургенев навещает свою возлюбленную – перебирается по мосту на другой берег реки Оос, пересекает тенистую Лихтентальскую аллею и вскоре оказывается в обширном парке, окружавшем дом семьи Виардо.

Его постоянство и упорство приносят плоды – он вновь приходится ко двору. Какое-то новое тепло появляется в отношении Полины к нему. Баден-Баденские дни озаряются покоем и радостью. Наши герои снова ведут дружеские беседы, гуляют по Лихтентальской аллее, ходят к источникам, принимают гостей. Полина сочиняет оперетты для постановки в домашнем театре, Тургенев пишет для них либретто. Вместе занимаются литературными переводами.

Похоже, оба они сделали окончательный выбор – спустя два года Тургенев покупает участок земли с фруктовым садом и старыми, вековыми деревьями рядом с домом семейства Виардо, строит виллу. Фантазии выписанного из Франции архитектора воплощаются в прекрасный дворец с башенками, аспидной крышей, просторными светлыми комнатами, огромной театральной залой.

Вскоре муж Полины выкупает виллу, а Тургенева приглашает жить в ней вместе со всем семейством Виардо. Брат Ивана Сергеевича Николай, приехавший в Баден-Баден, пишет своей жене: «Дети Виардо относятся к нему как к отцу, а на него не похожи. Я не желаю разносить сплетни. Думаю, когда-то в прошлом между ним и Полиной существовала тесная связь, но, по-моему, сейчас он просто живёт с ними вместе, другом семьи».



Сплетни, конечно, гремели Ниагарским водопадом. За спиной Тургенева шептались: «Кто отец маленького Поля, последнего сына певицы?» Одни утверждали: Ари Шеффер. Другие бурно возражали – Тургенев! И только старого Луи Виардо никто в отцовстве не подозревал.

Тургенев на пересуды не обращал внимания. Однажды получил письмо:

Талант он свой зарыл в «Дворянское гнездо».
С тех пор бездарности на нём оттенок жалкий,
И падший сей талант томится приживалкой
У спадшей с голоса певицы Виардо.

Беззлобно рассмеялся и разорвал листочек. А вот литературные эпиграммы его задевали. Здесь, в Баден-Бадене, он помимо нескольких повестей написал роман «Дым», вызвавший шквал критики и расценённый многими как русофобский. Особенно огорчила его эпиграмма Ф. И. Тютчева, которого Тургенев высоко ценил:

«И дым отечества нам сладок и приятен!» –
Так поэтически век прошлый говорит.
А в наш – и сам талант всё ищет в солнце пятен,
И смрадным дымом он отечество коптит.

«Дым», кстати, начинается с описания Баден-Баденской жизни, в котором легко угадывается любовь Ивана Сергеевича к этому городку: «10 августа 1862 года, в четыре часа пополудни, в Баден-Бадене, перед известною „Conversation“ толпилось множество народа. Погода стояла прелестная; всё кругом – зелёные деревья, светлые дома уютного города, волнистые горы, – всё празднично, полною чашей раскинулось под лучами благосклонного солнца; всё улыбалось как-то слепо, доверчиво и мило, и та же неопределённая, но хорошая улыбка бродила на человеческих лицах, старых и молодых, безобразных и красивых».

Когда критика казалась Тургеневу слишком несправедливой, он откладывал рукописи, брал в руки палку, поправлял седые кудри и в компании любимого пса по кличке Пегас отправлялся на прогулку по своему любимому маршруту. Шествовал по Лихтентальской аллее, не подозревая, что через полтора века на ней установят его бюст. Проходил мимо «русского дерева», описанного им в «Дыме». Миновав знаменитое казино, направлялся к водному павильону, или к читальне Маркса.

Вилла Виардо становится культурной Меккой – сюда стремятся литераторы, артисты, художники. О музыкантах и говорить нечего – эти стены



слышали Вагнера, Листа, Брамса, Шумана. Даже монаршие особы навелись в дом Виардо. Публика из России считала за честь побывать здесь, но и без них вилла обрусела: Полина сочиняет романсы на слова русских поэтов, старик Луи переводит на французский русских писателей. Часто заглядывают друзья Ивана Сергеевича – поэты Полонский и Фет. Ведут дружеские беседы и пьют чай в уютном садовом павильоне под журчание бьющего рядом ключа.

Семь лет прожил Тургенев в Баден-Бадене, и эти годы были для него годами умиротворённости и тихого счастья. В одном из писем признаётся: «Оттого ли, что мои требования стали меньше, оттого ли, что там (в Бадене) моё настоящее гнездо, только я замечаю, что с некоторого времени счастье даётся мне гораздо легче».

Память о Тургеневе живёт в Баден-Бадене и сегодня. Здесь создано Тургеневское общество, а его основательница историк Ренате Эфферн убеждена: своим расцветом город обязан именно русским, и в первую очередь – Тургеневу. «Я как-то взяла в руки роман „Дым“, – рассказывает госпожа Эфферн, – действие которого происходит в Баден-Бадене, и прошла с раскрытой книгой по гостинице „Европейский двор“, упомянутой в романе. Каково же было моё изумление, когда я обнаружила там описываемые Тургеневым предметы! И это спустя полторы сотни лет!» По словам местной хранительницы памяти о Тургеневе, и сегодня здесь всё выглядит точно так же: слышна французская речь, играет музыка, люди гуляют. Того самого «Русского дерева», к сожалению, больше нет, но газовые фонари перед Курортным домом сохранились, и каждый вечер их зажигают вручную. Сохранилась в неизменном виде и вилла Виардо (Фремесбергштрассе, 47), но теперь она принадлежит местному миллионеру и отгорожена от любопытных глухим забором.

* * *

После Баден-Бадена Тургенев живёт с семьёй Виардо в Лондоне, затем в Париже. В конце 1874-го они покупают усадьбу на берегу Сены в живописном Буживале – западном пригороде Парижа. Название виллы на русском – «Ясени». Иван Сергеевич решает обзавестись собственным жильём, на пригорке напротив дома Виардо строит шале. На первом этаже – столовая и гостиная. Наверху – заставленный книгами просторный рабочий кабинет. С балконов, увешанных цветами, упоительный вид на Сену. Здесь они живут летом, на зиму возвращаются в Париж.

О тургеневской жизни тех лет в Париже сохранились воспоминания его друга, художника А. П. Боголюбова: «Живя в Париже, мне случилось



неоднократно бывать у Ивана Сергеевича в злополучные дни, когда он страдал подагрой. При входе госпожи Виардо к нему я, конечно, сейчас же удалялся. Но всё-таки я сейчас же замечал, как просветлялось лицо нашего страдальца и с какою нежностью и участием госпожа Виардо к нему обращалась. Жизнь их, конечно, не подлежит ничьему осуждению. Тургенев помещался в третьем этаже, в двух комнатах, и был совершенно счастлив и доволен. По своему бешеному темпераменту Полина была кумиром в доме, и надо было видеть заботливость Ивана Сергеевича, чтобы быть ей приятным самыми мелочными угождениями».

Весну и предстоящий переезд в Буживаль Тургенев каждый год встречает с радостью. Здесь он пишет свои последние произведения, в том числе «Стихотворения в прозе». На прогулки по саду Иван Сергеевич теперь выходит в особой мягкой обуви – мучает подагра. Иногда накидывает плед, садится в кресло и подолгу любителю игре света в кронах деревьев. Забота и внимание Полины и её детей радуют, но не всегда способны отвлечь от грустных мыслей. Он всё чаще думает о смерти.

А в России понемногу забываются претензии к писателю, слава его на родине гонится вслед за европейской. В 1880-м Тургенев последний раз приезжает в Россию. Повод – пушкинские торжества. 6 июня толпы горожан устремляются к празднично украшенному Тверскому бульвару на открытие памятника Пушкину. Торговцы цветами с недоумением смотрят на свои пустые лотки – все цветы раскуплены в считанные минуты, их несут к постаменту. Площадь не могла вместить всех желающих, горожане даже выкупали в соседних домах места у окон. Для почётных гостей соорудили трибуны, среди прочих места на них заняли дети и внуки Пушкина. Приехал даже его старенький камердинер. Когда с памятника сняли полотно, площадь взорвалась криками ликования. Очевидцы утверждали, что люди плакали от счастья, обнимались, целовали друг друга.

К этому времени конфликт между славянофилами и западниками достиг апогея. Пушкинские торжества грозили вылиться в решающую схватку идейных противников. Предвидя это, Лев Толстой и Салтыков-Щедрин предусмотрительно уклонились от участия в празднике. На банкете в Дворянском собрании непримиримый славянофил Катков, подняв бокал с шампанским, предложил Тургеневу примирение. Иван Сергеевич отгородился ладонью. Потом объяснял: «Я стреляный воробей, меня на шампанском не проведёшь. И как же я могу протянуть руку человеку, которого я считаю ренегатом?»

7 июня торжества продолжились. Тургенев, пламенный поклонник Пушкина, выступил с речью, в которой воздал должное своему кумиру, но не отважился причислить его к «всемирным» – Гомеру, Шекспиру, Гёте.



Речь его приняли хорошо, аплодировали, но с интересом ждали ответа славянофилов. Он состоялся на следующий день – Достоевский, нервно размахивая руками, чуть истерично произнёс свою знаменитую пушкинскую речь, принёсшую безоговорочную победу славянофилам. Тургенев встал, прямой, величественный, с достоинством подошёл к своему врагу, обнял победителя дуэли. Враждующие лагеря этот поединок не примирил. После смерти Достоевского Тургенев назовёт его русским маркизом де Садом.

Пушкинский праздник оказался прощанием Ивана Сергеевича с Россией. В Буживале его ждали болезни и угасание. Вся жизнь Тургенев отличался невероятной мнительностью. Был убеждён, что проживёт недолго, даже вычислил по какому-то нумерологическому правилу точную дату скорой кончины. Богатое воображение любой пустяк мгновенно превращало в неизлечимый недуг. При малейшем недомогании укладывался в постель и, обложившись склянками с целебными мазями и лечебными микстурами, торопил послать за доктором. А весной 1882-го, когда его начали мучить «невралгические» боли, не обратил на них внимания. Жене своего друга Якова Полонского писал: «Опасности болезнь не представляет, но заставляет лежать, или сидеть смирно: так как не только при восхождении на лестницу, но даже при простом хождении или даже стоянии на ногах – делаются очень сильные боли в плече, спинных лопатках и всей груди – а там является и затруднительность дыхания». У него был рак позвоночника, но лишь через год и врачи, и сам он со страшной ясностью осознали неотвратимость скорого конца. И вот он уже признаётся Полонским: «Давно я не писал вам, любезные друзья мои, – да и о чём было писать? Болезнь не только не ослабевает, она усиливается – страдания постоянные, невыносимые – несмотря на великолепнейшую погоду – надежды никакой – жажда смерти всё растёт – и мне остаётся просить вас, чтобы и вы со своей стороны пожелали бы осуществления желания вашего несчастного друга».

В последние месяцы боли стали такими нестерпимыми, что он умолял не отходившую от него Полину Виардо выбросить его из окна. После очередной дозы морфия, когда боли ненадолго притихали, он мысленно возвращался в Спасское-Лутовиново, вспоминал, как мальчишкой бегал по лугу, ловил птиц... Однажды взял в руки свою давнюю повесть «Дневник лишнего человека» и со слезами на глазах перечитал слова, вложенные им в уста главного героя: «О, мой сад, о, заросшие дорожки возле мелкого пруда! О, песчаное местечко под дряхлой плотиной, где я ловил пескарей и гольцов!.. Расставаясь с жизнью, я к вам одним протираю мои руки. Я бы хотел ещё раз надышаться горькой свежестью полыни, сладким запахом



сжатой гречихи на полях моей родины...» Отложив книгу, написал Якову Полонскому: «Когда Вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу». Верный друг в ответное письмо вложил цветы и листья, сорванные им в Спасском саду.

В эти дни умер Луи Виардо. Полина особых сантиментов не проявляла, на следующий день уже давала уроки пения. Спустя три месяца, после кончины Ивана Сергеевича, она на две недели отменила все занятия. Её дочери Клоди и Марианна приехали на похороны в Россию.

Волю покойного исполнили – Тургенева погребли на Волковском кладбище неподалёку от могилы Белинского. Похороны были многочисленными: одних только депутаций с венками – 176. По словам П. В. Анненкова, «на могиле его сошлось целое поколение со словами умиления и благодарности к писателю и человеку». Тургеневу поклонялись теперь с той же страстью, с какой его хулили при жизни.

Писатель, для которого «дым отечества» не был сладок, делил свою жизнь между Россией и Францией. Обе страны берегут и память о нём: главный тургеневский музей в России – Спасское-Лутовиново, во Франции – Буживаль.



Тадеуш Зубинский

Польша

Автор 34 книг на польском языке, пресс-релизов в Австрии, Ирландии, Канаде, Латвии, Литве, России, Украине, США. Его рассказы, переводы, скетчи опубликованы на английском, латышском, русском, турецком языках. Специализируется на вопросах, связанных с культурой Испании и прибалтийских республик – Эстонии, Литве, Латвии.

Приходская история

Сам дьявол не поленился наведаться во вжосовский приход по душу молодого ксендза Табишевского, но сколь же изворотливо осуществил он это деяние. Раньше черти в приходских домах не были редкостью, но в нынешние времена это – чрезвычайное происшествие. Правильнее было бы сказать, что визит нанес дьявол из разряда щеголей. Не так вот, с ярмарочной показухой, ну уж нет, он не унился бы до подобных проказ, показывая направо и налево рога или копыта, либо вертя хвостом; нет уж, этакий дьявол, в принципе, не мог оказаться кем-то заурядным, даже в дьявольской гильдии. Такой дьявол не бывает простым исполнителем. Это – кто-то посолиднее, он прибывает из царства извращенности, ведь он хрупок и соблазнителен, как подлиннейший саксонский фарфор эпохи напудренных париков, тусклой музыки французских клавесинистов или расцветшего во времена барокко достойного германского искусства лепнины. Отнюдь не безосновательным было бы предположение, что дьявол этот – как раз тот самый, который некогда заморочил и от мудрого учения отвратил мрачного гиганта духа из угрюмой Упсалы – мастера Эммануила Сведенборга.

Правда, времена меняются, а природа их такова, что сей последний из последних той вольнодумной эпохи мог влачить свое существование и в роли дьявола-служки среди лазурных дуновений ирландских озер, и это как раз он свистел прохладным посвистом чирков, пролетающих клином, либо раскланивался перед ночью фиолетовым отсветом надвигающейся



грозы. Его клиентурой стали рыжеволосые, по-тополиному стройные кельтские девы с именами, звучащими, словно заклятья друидов, да оставшиеся из числа эльфов с их сердечными невзгодами. Девы пели баллады, скача верхом вдоль берегов сливово-синего океана, в их балладах звенели серебряные трели соловьев, звучала золотая струна арфы, пахло клевером и танцевали сизые тучи. Изошренность дьявола состояла в скрытой букве. Буква пряталась в древних книгах, которые читались редко и, порой, случайно. Буква дьявола прихотливо принимала форму улыбки, круглого колена, искрящихся глаз, нежного прикосновения, белизны жабо, а ее сладчайшей областью был жгущий под сердцем грех небрежения.

Ноябрь, протестантская пора безмятежности, а в голове просто гул стоит. Милиционер, очень строгий с виду, заглянул в приходской дом, дабы объявить пожелания властей: – Граждане ксендзы, в общеизвестный период не вздумайте ничего вывешивать, – сообщил он и с аппетитом потянул носом, потому как с кухни доносился сочный аромат разогреваемого бигоса.

Итак, тянулся тот ноябрь, и все ждали первого снега, времени испытаний, для сомневающихся – просто оргии искушений. Новоназначенный настоятель костела св. Апостола Андрея во Вжосове, ксендз Пустулка, уезжал; всего как два месяца во главе прихода, а уже собрался в мир. Правда, всего на несколько дней, несколько дней – так всегда говорится: на несколько дней. К больной матери-старушке. Он сам укладывал вещи в дорогу, был в меру возбужден. В последний момент, как-то так вышло, он укладывал фиолетовую домашнюю куртку. Да, состояние больной матери было серьезным, так что его отсутствие может затянуться. Укладывать вещи настоятелю помогал молодой, очень молодой викарий: ксендз Табишевский – нехорошо, весьма нехорошо, что он такой меланхолик. Оба молчали этим особым пастырским молчанием, точно так же молчат доктора перед операцией. Молчал и приходской дом, и молчал пронизывающий, тлеющий ноябрьский свет, в котором притаился змий, либо непосредственно Сатана в ожидании чьей-то смерти. Сквозь зеленоватые стекла между крыльцом и вытянутой, как коридор, прихожей вливался слабый, почти анемичный утренний свет. Часы из второй комнаты деревянно отбивали четверть часа, кажется, четверть десятого. Вот тогда-то настоятель Пустулка что-то сказал; судя по интонации, это было что-то важное, но ксендз Табишевский не расслышал. Единственное, что он уяснил, это что ксендза Пустулку кто-то обидел, может быть, самолично Господь Бог. Он опустил глаза на его толстые крестьянские пальцы, которые теперь с необычайной, просто раздражающей тщательностью уминали фиолетовую материю. В этих усилиях, в напряжении было что-то от эро-



тической игры, и этот ужасный, навязчивый цвет, может быть, по ассоциации с высоким епископским саном, был почти физически невыносим. Облегчением стал для него момент, когда настоятель Пустулка закрыл свой чемодан, ободранный, картонный. Мелькнуло несколько капель белого света, и эта химическая, разбавленная водой зелень в воздухе смягчилась, будто выцвела. Еще отзвучал безупречно металлический скрип застегиваемой молнии. Потом еще два армейских щелчка, в которых была сухость духовых оркестров, и лишь после этого они почувствовали влажный запах яблок. В конце концов, чемодан в последнее время долго отлеживался на чердаке. Ксендз Пустулка разглаживал полы, он был уже в пальто, оставалось только шляпу надеть. Для этой поездки он выбрал ту черную, солидную, хоть издавека был похож в ней на Гомулку, он даже горбился, как Гомулка, только Гомулка был намного старше и всегда скупен. Ксендз Пустулка не всегда был скупен. Но вблизи, в этой гомулковской шляпе, он выглядел достойно и, что важнее, как человек сытый и выспавшийся, то есть вызывающий доверие у пожилых женщин.

Они вышли в коридор, практичный шаг, чтобы увидеть всю фигуру в большом зеркале. Он пару раз перемерил шляпу, может, на ухо, или можно себе позволить немного сдвинуть на глаза, несколько раз, немного по-обезьяньи. Да, отвык он от дорожного щегольства. В глубине души он чувствовал общее с этим деревенским грамотеем беспокойство, сам он был сыном крестьянина и окормлял, главным образом, крестьян (среди рабочих становился популярным сермяжный атеизм в его вульгаризированной форме, а местную интеллигенцию можно было по пальцам пересчитать). Его всегда окружали крестьяне, выпускниками его семинарии были крестьянские сыновья. Его мать говорила по-простонародному, а как у нее с письмом? Он не вникал, боялся обжечься душой. Совсем по-крестьянски, он не любил, когда смотрят, как он прихорашивается перед зеркалом, а викарий Табишевский просто пялился: если бы он мог, то влез бы в это высокое трюмо в коридоре, чтобы рассмотреть каждую морщинку, каждую пылинку. Да еще эта беспокойная бурая тень, расплывшаяся на пол-лица из-под полей шляпы и затемнявшая вполне заурядный лоб. Абсолютно не пастырский. К тому же, само зеркало – ни стыда, ни совести – устало своим омерзительно холодным глазом и молчит, насмехается над человеком. Да, иногда отсюда обязательно надо уехать, хоть ненадолго. Последние распоряжения он отдавал, застегивая пуговицы пальто. Еще момент колебания: зонт, нужно ли брать зонт? Нет, наверное, решит не брать.

Они вышли, на крыльце их обдуло холодным ветром, пахло тяжелым, свербящим в гортани дымом, это с фабрики. Они оба любили осень,



конечно, каждый по-своему. Один сентиментально, второй совершенно эсхатологически, осень особенно нравится при расставании. Вокруг спокойствие, пасмурная мягкость, листья на садовых дорожках рыжеватые и почерневшие, осенняя соната, высокое небо, скупое и бледное. Смирение, тихий покой деревенского прудика, приютившегося тут же, за маленьким белым деревенским костелом, и какое-то кладбищенское настроение, надолго западающее в память. Людей было немного, рабочий день, несколько человек, кто-то, сгорбившись, крутил педали велосипеда, за ним, виляя хвостом, трусила собачонка, пыль на крыльце пахла розово, некоторые запахи обладают цветом.

Они вышли за калитку, викарий тащил чемодан настоятеля, тот приподымал шляпу и бормотал – во веки веков, аминь. До самой станции они не разговаривали, да и о чем им было говорить. В настоятеле Табишевский ценил скупость на слова, правда, проповеди у ксендза Пустулки такие сухие, можно сказать, кальвинистские, но уж если скажет, то даст немало пищи для размышления. Это не просто дежурное поповское перемалывание громких слов и цитат, а нечто достойное, бережливое, со вкусом, побуждающее к мышлению, может быть, даже творческое и спасительное. Билет на станции купил именно он, так положено. В зале ожидания, да и вообще на станции, было холодно, пусто и зловеще. Еще не натопили брюхатую, как гданьский шкаф, кафельную печь, которая поблескивала плиткой цвета охры, подобно питону, переваривающему свою жертву. И все же, несмотря на холод и пустоту, чувствовалось нездоровое возбуждение. Чего не мог знать ксендз-викарий.

Дело в том, что ксендз Пустулка в детстве, будучи на одной станции, не обязательно такой как эта, перепутал поезда. Случилось это до войны, то есть, всё равно, что в сказке. Вместо того чтобы приехать к богатой тетке, пахнувшей ванильным мороженым и ментоловыми сигаретами, он оказался в чужом большом городе. Вместе с толпой выплыл на тротуар, то есть, его втолкнули, и вначале он почувствовал себя так, будто его проглотила та огромная рыба, та, в брюхо которой, согласно библейскому преданию, угодил Иона. В глухом шуме проплывали вертлявые и торопливые фигуры, в них сквозила хищная неукротимость. Котелки, дамские шляпки, армейские фуражки отбивали свой особый ритм. Громадность, подвижность и человеческая масса, словно работающие, ненасытные кузнечные мехи, ходили ходуном вокруг и, как ему казалось, еще и над ним, и под ним. На витринах, в пять-шесть раз более богатых, чем виденные у себя в городке, застыли мертвые человеческие тела, облаченные в дорогие (в этом не было сомнения) костюмы, обувь, шляпы, береты, шапки, шарфы, во всё это подавляющее душу городское добро. Осознание того, что он своим



телячьим взглядом просто пожирает манекены, пришло гораздо позже. А здесь, перед самым носом, с грохотом и свистом, подобно ночным кошмарам среди бела дня, на шумные улицы из-за углов больших зданий вылетали неведомые ему до той поры трамваи. На перекрестках вытягивались полицейские, которые выделялись белыми манжетами, достававшими до самых локтей, они давали знаки, указания. Этих полицейских жестов слушались автомобили и дрожки; прежде он никогда не видел так много полицейских; постепенно из витрин и поверх крыш начали плескаться красным, желтым, зеленым, а больше и ярче всего каким-то необыкновенно назойливым синим, совсем, как глазищи железных драконов, лампы и венки из огней. Эти потоки света складывались в рисунки и надписи. Казалось, люди подчинялись правилам этих огней, останавливались, задирали головы. Неким необъяснимым предопределением судьбы (а может, это не было случайностью?) он очутился перед огромным зданием, украшенным не хуже какого-нибудь королевского дворца из книжек, с той существенной разницей, что оно было очень мрачным, из красного кирпича (спустя годы он заключил, что это было какое-то административное здание с важными учреждениями, он даже допускал возможность того, что это было министерство), с красными табличками, содержащими сложные названия и снабженными изображением государственного орла.

Смеркалось. Перед заведениями, в которых зажигались огни и слышался шум, вставали на караул какие-то господа, весьма видные в своих одеяниях епископской расцветки, расшитых лампасами, как у офицеров царской кавалерии, каждый глядел свысока, будто князь. Из того здания как раз выходили люди, в пиджаках, с галстуками, женщины в элегантных платьях, у некоторых через руку были фасонисто переброшены плащи, все держали сумки, сумочки, портфели. У него было ощущение, что из этого здания, может статься, спокойно выйдет человек без головы, но обязательно с портфелем либо сумкой. Одни еще в пальто, по-зимнему, особенно те, что постарше и посolidнее, другие уже «налегке»; выбегавшие недобро смотрели на него: он явно досаждал этим людям. А люди эти смеялись, шутили, раскланивались; господа, с раздражающей для деревенского мальчишки нелепостью, приподымали шляпы, дамы улыбались этим господам так, что он начинал краснеть. Под его веками уже собирались слезы, чтобы он мог расплакаться, когда одна из этих пахучих дам, более печальная, чем остальные, уронила перчатку. Черную, мягкую, из удивительной для него кожи, легонькой, как папиросная бумага. Ему эта перчатка показалась черным листом в пасмурный апрельский день. Наклонившись, он подал даме с большими черными глазами эту перчатку и покраснел еще сильнее. Продолжение оказалось прозаичным и унизи-



тельным. Эта дама взяла его за руку и, уже всхлипывавшего, (расплакался ли он прямо тогда или позже, ему не запомнилось) отвела в полицейский участок, тут же, за углом (старая истина: зло всегда таится где-нибудь за углом), по ступенькам. Очень неприятное помещение.

Он чувствовал недоброе. Дежурный сержант полиции взял его за шиворот, скорее, по обязанности, чем со злости, и посадил у стены (которую украшал портрет Пана Президента), на жесткой скамье. – Ну что, сорванец? Признавайся, воришка ты, или что похуже? – рявкнул в качестве приветствия этот пан начальник и засунул лопату ладони за ремень с большой, ах, какой же огромной, пряжкой, светя в глаза ослепительно белой манжетой. Он наклонился, из-под козырька фуражки стреляли внимательным взглядом глубоко посаженные глаза. Начальника стоило бояться, ведь его физиономию украшали столь же грозные кустистые усы, как у кузнеца из соседней деревни, который иногда пил с отцом неочищенную. Когда он приблизил лицо, чтобы посмотреть в глаза, оказалось, что от него идет здоровый, мужской дух – табака и кожи, эти ароматы немного его успокоили, он позволил даме вытереть ему глаза. – Мне кажется, ничего такого, он просто потерялся, с виду это деревенский мальчишка, у него честный взгляд – возразила печальная дама с красивыми глазами пугливой косули. – Возможно, может, оно и так, но пани ведь понимает: нам нужно проверить, кто-то должен подтвердить его личность, нас обязывает протокольный порядок – объяснял ей пан начальник, он тоже немного покраснел, слегка раздраженный: в первый раз, что ли – какой-то сопляк. Но уже пододвигал даме удобный стул. Ему разрешили полистать цветные журналы; содержания он не понимал, но сосредоточился на иллюстрациях, некоторые были просто восхитительны, хотя бы эта: один гангстер в длинном плаще и широкой шляпе стреляет в другого такого же, в похожей одежде. Они ждали какого-то звонка, дама закурила сигаретку с ароматом, напоминавшим костел после мессы. Пан начальник уже не выглядел таким суровым, но сохранял важность, он куда-то позвонил, теперь оттуда ему должны были отзвонить другие важные люди. – Пусть лучше пан начальник позвонит в наш приход, меня там все знают, я же министр¹, – осмелился он подсказать, опять глотая слезы. Легкие все еще жадно хватали воздух. Дама снова вытерла ему глаза и нос, положила на колени несколько грошей. – Это тебе на сладости, для поправки настроения, – сказала она. По сути дела, он не помнит, как вернулся домой, но запомнил тяжелую отцовскую руку, окутанную дымом махорки. А потом

¹ Министрант – в католической церкви мирянин (обычно юноша), прислуживающий священнику во время мессы и иных богослужений. Соответствует термину «алтарник» в византийском обряде.



вспыхнула абиссинская война, после абиссинской началась та гражданская в Испании, едва закончилась испанская, разразилась Вторая мировая, и отца убили немцы, хотя он был старый, беззубый, совсем поседел и не собирался ни с кем воевать.

Викарий Табишевский с билетом в руке вышел из здания станции. Прищурившись, он огляделся: в этих краях местные с осторожностью относятся к прямому взгляду, а приезжие быстро перенимают этот «партизанский» обычай. Под запыленным тополем стоял настоятель Пустулка и жадно, по-крестьянски, затягивался сигаретой, с благочестивой суровостью, может быть, смущением. С некоторого расстояния ясно виделась его крестьянская неотесанность, заспанное лицо, тяжелое дыхание, маленькие мутные глазки и мелькающее красное пятнышко между пальцами, похожее на глаз взбесившегося кота. Викарий подошел, отдал билет, настоятель пробормотал слова благодарности, викарий попытался завязать разговор. Это трудно, когда знаешь, что мысли собеседника где-то далеко. Вдруг – мир не безжалостен, жизнь коварна – мимо них, таких неуверенных и изломанных, то ли здесь, то ли там, прошла пара. Мальчик семи-восьми лет и молодая женщина, его мать. Мальчик тривиально красивый, для многих просто очаровательный, особенно поражали эти серо-голубые и невероятно нежные глаза, в них, кажется, угадывались зачатки близорукости. С его матерью викарий Табишевский уже познакомился, ее звали Янкой, пани Яночка, так к ней обращались, а она улыбалась, показывая красивые белые зубы, будто из довоенного фильма. Да, это была необыкновенно красивая женщина, таких больше не было, от этой улыбки, тонкой талии и длинных ног с крепкими округлыми лодыжками, до наклона головы, когда она мягко, в низком грудном регистре, словно пробудившись от забытья, произносила для них эти три своих искусительных слова: «Слава Иисусу Христу», с едва уловимой улыбкой. Узкая юбка натянулась, подчеркивая щель между ягодицами. Нейлоновые чулки шуршали, издавая дразнящий, легонький, такой глуховатый шелест, когда колено терлось о колено. Менее чем в метре от них двоих, застывших в ошеломлении, блеснули ее глаза, прекрасные, серо-каштановые, широко расставленные глаза в черном обрамлении длинных ресниц. Глаза на загляденье, на такие глаза засматривались в альбомах с мрачной и проникновенной испанской живописью. Точно не скажешь, ведь такого никогда не знаешь наверняка, но на кончики пушистых ресниц как будто опустились зеленоватые всполохи. Этот газелий овал лица, несколько семитский и развратный, при персиковой девичьей коже, а вдобавок румяные щеки и высоко несомая грудь, выпирающая под блузкой в щелочке расстегнутого пальто. Рот выразительный, мясистый, просто роскошно-вульгарный.



Она то и дело облизывала губы, из-за этого влажные, блестящие, как подкладка, ярко-красные, наверное, от помады. Эта столь внезапная и доступная глазам красота поразила его, для него будто молния сверкнула перед глазами. Женщина с мальчиком остановились под соседним тополем. Колкое ноябрьское солнце бросало одинокие золотистые нити на ее лицо, плечи. Викарий Табишевский с жадностью смотрел, просто впитывал, как она кладет руки на бедра (неумолимо просится «на лиру бедер»), как поправляет волосы, что-то говорит сыну, наклоняется к нему, как он отвечает ей, а у нее появляется выражение удивления либо одобрения, как она, наконец, улыбается, чтобы, на манер гимназистки или пионерки, поправить воротник пальто, прижав к губам его край. Как гладит сына по щеке, поправляет ему шапочку, украдкой бросает взгляд на обувь, свою и сына. Глядя на эту женщину, он переживал сладостно-жгучие ощущения, подобные тем, которые получаешь, тайно испытывая запретное чувство.

Янка, пани Яночка не так давно стала сомнительной героиней безумного романа. С одним невероятно красивым инженером, «нездешним», как с недоверием называли таких во Вжосове. Инженера (городского, черноглазого шатена, сверх всякой меры злоупотреблявшего лавандовой водой) направили на местную цепную фабрику; может быть, случайно, а может, так было угодно Богу, но они встретились на танцевальном вечере. И там, за водой из сифона, под шлягеры Марты Мирской и Гнятковского, под зычное «Деревенские наших бьют!» они полюбили друг друга. Адюльтер, просто скандал, конец света, ведь у нее был муж, ребенок, у него в том далеком мире была невеста, а кроме того, известно, что всякая командировка когда-нибудь да заканчивается. Один из местных, инженер Кароль Мирский, так даже требовал выселить ее из городка вместе с хахалем на западные земли¹ – какой пример социалистической молодежи показывает этакая пани – разорвался он, а возможности у него были немалые: знатный партиец, и в газеты писал репортажи с мест.

Сегодняшние линялые облака, напоминавшие снулых рыб, ползли, как ленивые, тянущиеся на зимовку дикие утки, с которых капает зеленый болотный ил. Здание станции окрасилось розовым. Дрожали рельсы, проезжали, сопя паром, товарные поезда. Вышел, а скорее, вылез косматый железнодорожник, дежурный по станции, посмотрел в сторону женщины с ребенком. Его обрюзгшее, неприятно сытое лицо тоже выразило восхищение, даже вожделение.

– Да, – подозрительно безлично произнес настоятель Пустулка, после чего вздохнул. Что означало это «да», викарий как раз ни в коем случае не

¹ Западные земли – бывшие германские территории, отошедшие к Польше после Второй мировой войны, куда направляли переселенцев из других регионов страны.



намеревался выяснять. Что-то еще, ага, настоятель к тому же причмокнул в нетерпении нижней губой. Заскрежетал, спугнув птиц, громкоговоритель, и уже потом прохрипел то, чего они ожидали: поезд прибывает. Едва волоча ноги, они двинулись на перрон, словно ни один из них не собирался никуда ехать.

Уже на перроне, когда поднималась пыль и гудели рельсы, викарий всё еще смотрел на нее. Поднялся зеленый ветер, тот, что дует из-под берез по другую сторону путей, сделалось как-то пугающе душно. В тот же момент высокий железнодорожник, возможно, ее знакомый, склонился над пани Янкой и, выгибая черную змейку усиков, что-то лихорадочно (это чувствовалось) говорил. Она, эта женщина, игриво улыбнулась, а он, этот дежурный, которому такие вещи сходят с рук, будто бы еще больше смакуя это, наклонился над ней, словно собираясь накрыть собой. В этом соприкосновении с ее телом он зашел очень далеко, туда, где из-под нескольких слоев ткани светлой щелью выглядывает грудь. И настал момент, когда поезд остановился, когда кто-то со скрипом открыл вагонную дверь, именно тогда произошла ожидаемая, резкая, чувственная просто до умопомрачения вспышка – просветление – чулок телесного цвета, поднимающийся над ступенькой вагона – интимность белья (та, с которой мужчина ничего не может поделать, не впадая в грех), натянутого на бархатную округлость колена. Тут же, в один момент, ксендз Табишевский очень быстро, даже поспешно, будто передавая контрабанду, сунул ксендзу-настоятелю в руку чемодан. Тот толкался, протискивался. Но уже через секунду, высунувшись из окна вагона, ксендз Пустулка махал шляпой, а может, просто обмахивался, его серые крестьянские глаза улыбались, это до боли напоминало выезд на школьную экскурсию, очень несерьезно. Красивая темноволосая девушка лет двадцати расправляла челку. Поезд засвистел, словно созывая другие поезда, и, весь в саже, в дыму, фыркающая, тронулась.

Отъехал, пыхтя, отплыл, еще с минутой было видно, как узкой полоской он ползет под кронами убого смотревшихся издали деревьев, прежде чем позволить миру поглотить себя. На перроне сразу же стало жутковато-пусто, как после чумы; бумажки и липкие лужи, грязноватые, с пахучим ободком из бензина, смазок, масел. Ящик с песком скалился грубой желтой маской, даже обычные для этого места дворняги куда-то подевались, зато усилился ветер: резкий, хлесткий. Викарий Табишевский перешел через пути, он не смотрел по сторонам, не оглядывался и шагал по мокрой, осклизлой уже тропке, ступая по шуршавшим листьям и клоушьям грязно-желтой травы. С обеих сторон его окружал березово-сосновый подлесок, палево-рыжий, синевато-серый. Нормальность проявила



себя непредсказуемо. Из самого нутра, мощно и основательно, его обуяла неодолимая потребность. Нужно закурить. Так, вообще-то, курил он мало, от случая к случаю, но в этот момент знал: нужно закурить, просто по-извозчицки затуманить голову никотином, сплюнуть кусочком пропитанного слюной табака, чистая физиология, мужская. Заросли камыша на болоте, оставшемся после паводка, то морщило, то расправляло, кто-то по этим неудобьям вел на привязи козу, изредка подававшую голос. Из подлеска, по тропинке между плетнями, он вышел на улочку, жавшуюся меж двух полос тополей, шел среди людей, над головой открылось небо, беспокойно-серое, как конопляный мешок, изнуренное, словно разрытое картофельное поле с торчащими в разные стороны стеблями, разрезанное серо-лиловыми космами облаков. В терпкий воздух взмывали вороны, грачи и целые стаи воробьев.

Он свернул в проулок. Было уже близко. Ускорив шаг, он пересек пустую улицу и, чуть ли не через ступеньку, вбежал по каменной лестнице, напоминавшей ту, что вела в костел, пусть и в уменьшенном виде. Потом через открытые, несмотря на ноябрьский холод, двери, в прихожую клуба «Рух»¹. Он нечасто заходил сюда, именно здесь разные приезжие лекторы отвращали людей от Бога. У витрин с пропагандой, стараясь сдержать свой порыв, он утихомирил этот стук в висках и только потом вошел в теплое помещение. В чугунной печке весело, с тихим гулом, горел огонь. Перед стеллажами над разложенной на прилавке газетой дремал высокий, сильно полысевший мужчина, блондин с лошадиным лицом, в кожаной жилетке. Столиков было три, больше бы и не уместилось. За одним, вдвинутым в нишу, сидело трое молодых людей – два парня и девушка. Они пили кофе из стаканов, курили сигареты, болтали, девушка смеялась, так искренне, что ему сделалось не по себе, будто она насмеялась над ним. Откашлявшись, он купил сигареты – «Гевонт» подойдет? – спросил человек с лошадиным лицом, ясное дело, это ведь ксендз, само собой, он должен курить хорошие, не «Спорт» же, кое-что получше: или «Гевонт», или плоские, ментоловые, «Вавель». – Да, пожалуйста, две пачки и спички, обязательно спички. Он купил, или даже приобрел, еще кое-что, без всякого смысла. Школьный глобус, почему глобус? Может, потому что человек с лошадиным лицом, сам, не дожидаясь вопроса, всей ладонью показал на глобус, то ли жалуясь, то ли уговаривая: – Полная беда с этим распределением, план, видите ли, и в Кельцах распределили по пять штук на клуб, вот, последний у меня остался, нет желающих, а сверху пилят –

¹ Клубы прессы и книги «Рух» – польская сеть домов культуры и библиотек в 60-е и 70-е годы XX века, культурно-просветительные учреждения, где можно было попить чаю, посмотреть телевизор и поиграть в настольные игры.



не выполним план, не будет премии. – Сонный, но при этом назойливый, нисколько не мужской голос этого человека звучал для викария вдвойне вызывающе. – Хорошо, я его куплю, – решил ксендз Табишевский, а человек с лошадиным лицом как будто и не удивился. Лишь кашлянул, прежде чем рассмеяться. – Ну, теперь я спасен. Помогай вам Бог!

Ксендз Табишевский возвращался к себе, то есть в приходской дом, в хорошем настроении, словно это он выполнил план, а не тот человек с лошадиным лицом и фамилией, имевшей свойство вечно вылетать из памяти: – Глобус, я приобрел глобус, вот кое-кто удивится, ну и пусть, небольшой скандальчик только освежит атмосферу – повторял он, мысленно оправдываясь перед собой. Удивительно, у сигареты был тонкий вкус, без назойливого бумажного привкуса и грубой горечи скверного табака, по сути махорки. Он выпускал причудливо извивающиеся шарообразные фигуры, сотканые из тонкого синеватого дымного тумана. Выкурил три сигареты, одну за другой. Перестал он курить уже перед самым домом. Ввинтил каблуком окурков в рыжеватую, влажную землю. В дом он прошел садом, войдя через боковую калитку. На разваливающемся заднем крыльце, на старом одеяле, спал, а может, бодрствовал, старый пес, лохматый и пузатый, ужасный лентяй, но явный любимец Мальчиковой. На этот раз он бдительно присматривался к тому, как ксендз Табишевский вытирает обувь о такое же одеяло. – Цербер – подумал викарий, – этот эпитет «цербер» мог относиться и к псу, и к Мальчиковой. День созревал, здесь, в доме священника, он набухал, словно в предвечерней летаргии. Приятно (если кому-то по душе грусть родом из прелестного XIX века) поскрипывал пол, успокаивающе пахло деревом, из кухни тянулся аромат свежеспеченного домашнего хлеба. Еще в прихожей он заметил, как поблескивает краснотой простеганный сучками пол. Тихо, мягко, просто пастельно. Черные часы, выполненные в шварцвальдской манере, по-свойски поглядывали на кафельную печь. До звона на «Ангел Господень»¹ еще оставалось больше, чем немного времени. От кухни доходил соблазнительный запах готовившихся яблок, антоновки, такой золотисто-желтый с примесью аромата и вкуса лимона и экзотической ванили, не шарлотку ли собираются печь, посреди недели, по какому это случаю? Уже обещая себе кулинарные удовольствия, он просунул голову в приоткрытую дверь кухни. Увидел, как Мальчикова, стоя на коленях, словно какая-то униженная язычница, открывает дверцу плиты, чтобы подложить две березовые, блестящие, будто обтянутые леопардовой шкурой, дощечки в пасть шипящего огня,

¹ «Ангел Господень» – католическая молитва, читаемая трижды в день – утром, в полдень и вечером. Чтение этой молитвы зачастую сопровождается колокольным звоном.



взъерошенного, пылающего в мефистофельском пурпуре. – О, ксендз-викарий уже вернулись, очень хорошо, а у нас будет гостя: ко мне заедет племянница, так что пусть ксендз не удивляется и везде застегивается, а отцу настоятелю я и не говорила, ему-то зачем это? У него голова другим занята, а племянница побудет денек-другой – объявила она, поднимаясь с колен. Он попятился вглубь коридора, к вешалке, на которой, словно висельник, болтался черный зонт с рукояткой, такой черной, будто она была сделана из китайского лака. В канцелярии, куда, как бы из чувства долга, он заглянул (по крайней мере, он ощутил внутреннюю обязанность сделать это), шуршали, подобно ракушкам, высокие, до потолка, растения в вазах, здесь было холоднее.

Потом он возился с этим глобусом, нянчился – как сказала бы Мальчикова – искал, где бы его спрятать повыше; Мальчикова, ясное дело, без стула не достанет, она слишком низкого роста, а во-вторых, и это главное, стоит ей потянуться, как у нее сразу прострел в спине, а что касается настоятеля – так настоятель Пустулка был рассеянным. Прежде чем затолкать глобус на антресоли, на которых неведомо с каких времен валялись чьи-то рыболовные снасти, он проверил по атласу, где именно находятся Сейшелы.

После обеда – рассольник, котлеты со свекольным гарниром и сливовый компот (странно, но аппетит был на удивление) – он прилег (Мальчикова сказала бы, что залег) на диван и бездумно глазел на покоробленный, усеянный мушиными трупами потолок. По весне нужно будет покрасить – подумал он, и это была единственная доведенная до конца мысль за целый час. С вечерни он вернулся, скорее, в благожелательном к миру настроении. Заглянул в трюбник, хлюпая, выпил кофе, часы подгоняли его. На вечерне лишь несколько человек почтило Господа Бога своим присутствием. Ему вспомнилось замечание, а может быть, предостережение, настоятеля Пустулки, сделанное ему в самый первый день, когда он только появился во вжосовском приходе – здешние прихожане не назойливы, они не надоедают Господу Богу. В гостиной перед ним мелькнула, точно облачко, девичья фигура, та самая племянница, что заедет и побудет денек-другой. За ужином он сумел ее разглядеть. Была ли она только миловидна, или все же красива? Такая оценка была ему не под силу. Она глядела на него с любопытством, смешанным с ожиданием, непосредственно, да, вот эта непосредственность – в ней и таилась опасность. Внешность, скорее, скандинавская, мягкая блондинка, пахнувшая пшеничным хлебом, с чуть фарфоровой кожей. Такое, чисто скандинавское впечатление она и производила на первый взгляд. Но когда он принялся, а в ней было что-то такое, что заставляло, итак, когда он принялся наблюдать за ней, то заметил, что



ее скандинавская притягательность оказалась поверхностной, пока к ней не присмотришься. У нее, в самом деле, были светлые волосы, но, скорее, пшеничные, чем солнечные: это знакомо и потому еще более опасно. Глаза ее, определенно, не были порождены нордической стужей. Васильковые, пугливые, как у косули, с длинными ресницами, они горели под темными дугами бровей. И эти глаза, и брови были, действительно, прекрасны, хотя глаза казались еще совсем девчоночьими. Естественным и волнующим движением она поправляла волосы, то и дело поправляла волосы. Грудь пышной, расцветающей девушки, а дышала она глубоко, регулярно вздымалась при каждом вдохе, образуя соединенную вместе двойную округлость. Слишком много этого душного и невинного греха рассеивала она вокруг себя. В какой-то момент, на одно мгновение, она взглянула на ксендза, прижавшегося на пороге к дверному косяку, и улыбнулась, ничего не сказав, просто улыбнулась. Молитву перед едой она читала серьезно, без спешки, но очень сосредоточенно, что часто отличает людей, которых недавно коснулось горе. Сразу после этого, неизвестно как, но они остались в кухне вдвоем: он и Мальчикова. Мальчикова, собирая со стола, буркнула себе под нос, да так, что занавески подняло: – Уф-ф-ф. – У вас какие-то неприятности, пани Мальчикова? Расскажите, может быть, у вас на душе полегчает – предложил он. И сразу же прочувствовал пустоту своих слов. Мальчикова, отошедшая с посудой к большому тазу, подняла глаза и, увидев, что викарий ждет у стены, где проходит водопроводная труба, сдула с пальцев мыльную пену. Брызнуло и замелькало: стальным, зеленым, лазурным, янтарным, словно завертелся воздушный павлиний хвост, такие большие глазки, лужицы, переходящие в спиральную кремовую белизну. – Ах, ксендз-викарий, вы только посмотрите на эту нынешнюю молодежь. Ухажер ее обманул, бедняжку, теперь из-за этого безобразника девушка пропадает, да она и сама виновата. По бумагам-то образованная, а в жизни выходит, что дура-дурой; высшее получает, французский, русский, два раза уже была в чешских Татрах и в Венгрии через «Орбис», а что толку? Бросил ее, как первую встречную, долго не тешился, как надоела, так и до свидания. Хорошо хоть, рука Господня уберегла от приплода.

– Ну, так уж сразу и приплод, – набрался он смелости. – И что теперь племянница собирается делать?

Мальчикова, нахмутив брови и отложив мокрую тарелку, ответила с удивительной простотой – А что тут поделаешь, девушке нужно переждать свою боль. Может, карты ей разложить, как ксендз-викарий думают? Хорошо это будет, или лучше лиха не искушать?

– Откуда мне знать. Делайте, Мальчикова, как сами считаете.



Через некоторое время, как будто мало было огорчений, когда запад мира, обожженный, подкопченный легкой дымкой, краснел ранним ноябрьским вечером, Мальчикова водила из угла в угол этим своим материнским взглядом, таким, что чувствуешь себя виноватым, а ее спицы монотонно стучали. В полумраке цвета старой кожи, потому как Мальчикова вязала на спицах «по памяти», впрочем, у нее отлично получалось. Что на этот раз? Шарф или свитер, трудно определить, ведь рукоделие было еще в самом начале. Да – нет ничего более земного, чем пожилая женщина, спокойно вяжущая на спицах что-нибудь полезное; такой женщине Господь Бог доверил бы мировой порядок, и, может быть, еще тем людям, что в одиночестве собирают в октябре грибы. Племянница, сидя на табуретке, опустила длинные ноги в таз, из которого поднимался горячий пар. Обычное дело, мочит ноги, так часто делают после знойного дня – ну я и набегалась – мочила ноги и смешно щурила глаза, как будто ей веки щипало. Для других, быть может, она выглядела теперь весьма невинно, даже по-детски, когда дотрагивалась до своей набухающей груди. Мальчикова взглянула на нее и затем сразу на ксендза. Тогда девушка автоматически, она не видела в этом ничего предосудительного, опустила юбку. Так, что теперь только ее лодыжки купались в пушистом свете, всасывая в свою структуру еще и цепкость взгляда мужчины в сутане. Когда обе одновременно, она и Мальчикова, посмотрели на него, так, обыкновенно, то он пробормотал что-то вроде, что у него нет аппетита, не будет он ужинать. Мальчикова покачала головой и сказала сочувственно и восхищенно: – Святой Антоний, неужто ксендз-викарий так близко к сердцу принял тяготы нашего почтенного ксендза-настоятеля, подумать только! – А эта девушка молчала, она была уверена, что ее это не касается. Она ничему не виной, она – другая женщина. Медленно, по-театральному медленно, словно кто-то перематывал пленку в замедленном темпе, она потянулась за полотенцем, и большим, оранжевым, пушистым полотенцем, разрывающим, подобно свету, пространство, принялась вытирать ноги. Детскими пальцами, как будто эти пальцы-пальчики не успели повзрослеть и так забавно торчали, она начала с пятки, покрасневшей, точно яблочная кожура, от воды и пемзы, а повыше немного смешно, а больше соблазнительно, выглядывало колено, пока что детское, угловатое. Еще, когда она наклонилась за какой-то мелочью, какой-то ерундой, обычное дело, то над обшитым кружевами вырезом блузки он углядел две одинаковые, как близнецы, белые выпуклости, с полукруглой тенью посередине. Свет уже был не светом, но этим ноябрьским сумраком, словно тот, кто дарит свет, был нездоров. Он, еще как ксендз, впитывал это зрелище откровенного совершенства женского тела. Его, все еще священника,



охватило превозмогающее желание хлопнуть дверью и выбежать, бежать далеко, неважно куда, туда, где небо у него над головой забурлило бы, а потом упало, придавив его, наконец, так, чтобы уже ничего больше не было. Она, то ли осознавая то, что делает, то ли специально, или это была простая человеческая реакция, обычное дело, повернула к нему неземные, васильковые глаза, занимавшие пол-лица и прожигавшие его поразительным жаром. Так, в один миг и до самых глубин, он почувствовал себя обезоруженным; одним этим естественным движением, совершенно обычным в других обстоятельствах, она перевернула весь его миропорядок. Пересилив себя, он с огромным, всевозрастающим усилием сдержал себя от крайности. Спокойно (достаточно, чтобы так выглядело) отвернулся, подошел к окну. Здесь он с силой и шумно выпустил воздух из легких. Но, прежде чем подойти туда, он остановился посреди комнаты. В красноватом полумраке, в пустоте, сотворенной открытыми дверями в соседнюю комнату, появился он, домовый-Христос *ineffigie*¹. В прямоугольнике рамы: Он, Господь над господами, истерзанный царь царей, молитвенно возносил вывернутые мукой костлявые руки каторжника; лик, пропитанный невыносимой болью, застывал в каком-то жестоком неистовстве, из-под тернового венца вытекали струйки крови.

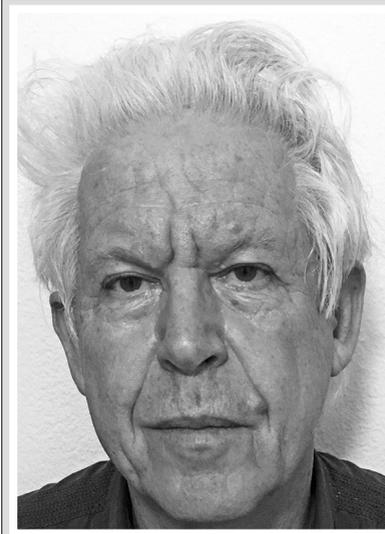
Вообще дом настоятеля пропах мышами, пол облез, и на чердаке привидение, якобы еще со времен японской войны. Вроде бы никто его не видел, но каждый утверждает, что это изысканный призрак, так как он охотно щеголяет в лощенных белых перчатках образца 1905 года. В приходском саду, это уж точно, в 1938 году повесилась некая девица, которая несчастливо, или, как здесь говорят, «наповал», влюбилась в красивого викария. Она тоже является, ну, у ее кающейся души есть на то причины. Об этом призраке с чердака не было известно никаких подробностей. Ксендз вздохнул, перекрестился. В приходском доме, как это бывает в деревне, немного пахивало ладаном, теплом воска, книжной пылью, а этот выделялся еще запахом грибов и лаврового листа. Потом он направился к выходу и через несколько секунд с размахом, словно хотел оторвать ее, отодвинул щеколду. Посмотрел: за окном жался к земле серый, сморщенный сад. Судорожно сыпал мелкий, вперемешку с дождем, снег, будто каша, горстями и потёками. К мокрым стеклам прильнули желто-черные листья из сада, с реки, из внешнего мира в целом. Промокшие спины деревьев становились все чернее и блестели все ярче, как хорошо начищенные сапоги. Однако он сделал над собой усилие и, отворачиваясь, одновременно прикрыл глаза. Снег – это добрый знак, где-то, когда-то он прочитал, что вид падающего снега обычно приносит успокоение. Ночью

¹ *In effigie* – в изображении (лат.).



серебристые отблески снега поглотила тьма, под утро потеплело, и снег полностью исчез еще до того, как люди проснулись. Прежде чем угас этот день, ксендз Табишевский утратил веру в свое пастырское призвание. Из-за женщин, какая же сила живет в этих женщинах, ведь ни одной из них он даже не коснулся. Вы спросите: а где же в этой истории объявился дьявол, тот, из предисловия, ирландский дьявол-вольнодумец? Отвечаю. Да, он появился, в явном виде и не особенно скрываясь. Вопрос, где именно происходили эти игры? Ну, там, где всегда: в любимых деталях.

Перевод Владимира Окуня



Анджей Кориэлл

Польша

Польский писатель, художник, скульптор, живущий в Швейцарии. Автор нескольких книг поэзии и прозы. Широко известен как автор сборников афоризмов и притч. Многие его произведения переведены на французский, итальянский и русский языки.

МАЛАЯ ПРОЗА

(Из книги «Вернейшая из неверностей»)

О часах, что пели по-петушиному, но не любили полночи и полудня

Ни за семью горами, ни за семью морями, ни в один прекрасный день... Здесь, рядом, так чтобы ты слышал явные отголоски жизни, пульс времени, навязчивые тик-таки.

На циферблате часов, между стрелками, виднелась гимнастическая перекладина, за которую держался крепко сложенный негр в красных трусах. У его ног стоял статный петух.

Сколько раз били часы, столько раз акробат выполнял полный оборот, а петух столько же раз кричал. Каждые полчаса полуоборот и возвращение на шесть часов. Хриплый полукрик петуха замирал в клюве птицы.

– Уже после восьми я начинаю слегка потеть – без конца повторял гимнаст. – В ожидании подъема я все еще ощущаю мышечную радость, но от двенадцати часов я не в восторге. Нет, дело тут не в физическом усилии, я по-прежнему в прекрасной форме, но страдаю от головокружения. А ведь, чтобы выполнить полное кольцо, я встаю вниз головой, и руки гудят до самых локтей.

Петух понимающе кивал головой. Друга легко понять. Вертеться раз за разом – двенадцать раз?



– Уж лучше петь, чем летать. Когда я пою, то просто из кожи вон вылезаю и тоже тружусь в поте лица, даже если такового у меня и нет, – решительно признавал он.

– Мы служим времени, – подводил итог спортсмен.

– Да, мой силач – соглашался петух, – нужно же как-то его воспевать!

* * *

Меня обжигает смерть, клинопись и жизнь, пока не затвердеет глина. Я была главным свидетелем, когда меня отпечатывали, и говорила о царях, урожаях зерна, небесном своде. Весенняя трава пожухла, маки завяли, и высохли васильки; солнце неумолимо, о тень, сходящая на нет.

Смотри, стены рассыпались; там, где властвует песок, нет ни плача, ни песни, нет даже жалоб.

Золотая серьга счастья, ее носила чайка. Счастье будет с тобой, если ты откроешь их. И ты станешь ветром и дождем во время зимы, временем правды и лжи, в котором есть жалость.

Оговорка

Смерть оговорила насмерть. В вечное содержание произносимой шепотом трехчленной формулы вкралась ошибка. Вопреки древнему закону, она изуродовала текст, лишила человека последней привилегии, когда тот закрывал глаза. Тень его тени, как там называют то, что здесь зовется душой, протестующе вскрикнула так, что Великий Грамматик – единственный, кого боится Смерть – принял на себя роль арбитра.

Зачем она переиначила священные слова, искалечила синтаксис? Зачем рисковала собственной шкурой, безупречной до сей поры репутацией?

Тогда ей пришлось снизить тон, покаяться, аннулировать неграмотную кончину. И она не стала упираться. Призналась в преднамеренном совершении безумной ошибки.

Над искренним раскаянием Смерти сжалился Тот единственный, которого она боится – простил ложную оговорку, высушил жалобные слезы.

А человек, ошеломленный временным грамматическим воскресением, поднялся на дрожащих ногах, и сердце у него болело всё меньше.



Притча о Нетерпении и Времени

В древние времена друг к другу обращались притчами. Всё было притчей, и каждый наслаждался ее словом. Время то и дело зачарованно останавливалось, чтобы послушать. Вселенная была восхитительным пробелом во времени, она не считала себя, безнаказанно растрачивала, разрешала себе отсутствовать. Сама становилась отсутствием и притчей.

Это заметил Тот, кто выдумал Того, который придумал Время. И велел ему двинуться вперед.

И Время понеслось галопом, чтобы нагнать себя, свою потерю. То, что когда-то казалось простым, стало запутанным, а притча затерялась в лабиринте сложностей. Так родилось Нетерпение.

И всё стало спешкой и потерей времени, никчемной, бесполезной притчей.

И начали возносить гимны, пеаны во славу нетерпения. И Время уже не останавливалось ни в себе, ни вне себя, нигде и никогда.

Зато Он притчу сотворил, бессмертную притчу рассказал, увековечил.

Порода дерева

Мне снилось: серая низость и легкая резня, омываемая ноябрьским дождем. Пепельный мир, которому лишь кровь придавала лихорадочный, болезненный румянец. Холодный и голодный мир, склеенный чавкающей грязью. Удары деревянной палкой казались единственным живым звуком. Из какого дерева ее выточили?

Еврейские маны¹

Они возвращались в феврале, длинными поездами, без билетов. Всю дорогу они стояли прижавшись друг к другу, не ели, не пили, не разговаривали. Необычно после стольких лет видеть, как за окном движется жизнь. Тем внимательнее смотрели они, подмечая каждую подробность. Вот дом, луг, барашек, едва различимый на снежном фоне, холм, горизонт, женщина у путей, густой лес. Они пытались считать сонные местечки, проделанные километры, наконец оставили это. Поезд останавливался на любом полустанке, но никто не садился. Душ убывало на каждом.

Их прибытию предшествовали удивительные слухи: они возвращаются за своим, приезжают, чтобы жить у себя. Почему именно теперь? – спра-

¹ Маны – у этрусков и древних римлян духи умерших предков, почитавшиеся богами – Примеч. пер.



шивали люди, опуская взгляд. Кажется, кто-то видел приезжих, невероятный наплыв душ. Они шли целыми семьями, с детишками на руках. Будто бы они видели мань, которые, волна за волной, безошибочно направлялись на знакомые улицы, заходили в дома. Там, где прежних домов не было, собирались во дворах либо в подвалах – клялся он. – Это шествие выглядело словно из немого, черно-белого фильма.

– Это же не мы отобрали у них дома! – вполне резонно кричали бездомные.

– Возвращайтесь туда, откуда пришли! – орал мужчина в охотничьей шляпе с перышком, пока его не забрали в полицию.

– Они и вернулись, – с жалостью усмехнулся другой.

– Я вот, мать вашу, никому не завидую, – бросил неизвестный прохожий. И неизвестно, кого он имел в виду, то ли живых, то ли мертвых.

Только один знал ответ – Щепан Клуткевич, сторож, приятель сторожа Паписа, проживающий в Варшаве, Явожинская № 7, первый этаж. Специалист по умершим насильственной смертью, знаток-любитель.

– Почему они возвращаются именно теперь, мы не знаем – сообщил он, как будто это был удовлетворительный ответ. – Но мертвые возвращаются, рано или поздно.

Он просил людей не бить себя в грудь и не посыпать голову пеплом. Встречать гостеприимно. Тогда их стали принимать с хлебом и солью, с улыбками, радостно. Но они ни к чему не прикасались. Даже к тому, что обычно ставили домовым. А ведь это были не какие-нибудь объедки. Даже лишние стулья подставляли, ничего не поделаешь, пришлось немного потесниться. Но они ни к чему не прикасались.

Живые тогда входили и выходили – с дрожью в коленях, неуверенно озираясь. Шептались, что теперь уже не до шуток о духах. Ели с тех пор с неловкостью и как-то украдкой. О том, чтобы спать в одиночку, уже не было и речи. Спали, впрочем, со светом и очень чутко. Манам стелили удобную постель, они, верно, привычны к гусиному пуху. Большие, шикарные подушки, пододеяльники с вышивкой по белому полотну, в кружевах, накрахмаленные.

Как спалось манам? Хорошо? Плохо? Чувствовали они себя по утрам помятыми, плохо отдохнувшими? А может быть, как раз наоборот: вставали свежими, в форме, готовыми к действию? Следует ли вручить им ключи? Если захотят, они и так войдут. Они знают наши собственные жилища, как свои собственные.

Еще никому не удавалось убить души! – убежденно думали люди.

Еще раз дал добрый совет Щепан Клуткевич, сторож, приятель сторожа Паписа, проживающий в Варшаве, Явожинская № 7, первый этаж. Специалист по умершим насильственной смертью, знаток-любитель:



– Вино им нужно наливать красное сухое, не какую-нибудь бурду. И мед подать, и молоко, и цветы возложить.

И разливали вино в специальные винные бокалы, вырезанные из хрусталя, на особый случай, праздничные, и это была не какая-то бурда. И мед выкладывали на блюдечках наилучший, редкий, почти зеленый, совсем не переслащенный, с горчинкой, наполняли стаканы молоком без пенки, а в вазы ставили срезанные, жаркие, желто-оранжевые розы.

Проходили недели. Вино, покрывшись пылью, превратилось в уксус, мед затвердел, как камень, и в него с трудом можно было воткнуть нож, розы засохли до такой хрупкости, что рассыпались при малейшем сквозняке.

– Что означают непринятые жертвы? – спрашивали люди.

Советом помог Папис, сторож, приятель Щепана Клуткевича, проживающий в Варшаве, Явожинская № 9, первый этаж, знаток-любитель древних евреев:

– Это не еврейская еда, а римская, – вынес он вердикт, – а они еврейской пищи алчут.

И подали красивочешуйчатых карпов в дрожащем желе с кружочком моркови во рту, опресноки, хрен, окрашенный слезами, салат из нарезанных свежеснесенных яиц со сладчайшим луком, чолнт, горячий, как объятие ангела, и даже охлажденную воду из Иордана, предварительно прокипяченную. И прогнали злыдней, насмешников, нечестивцев, таких что хотели подбросить несколько капель невинной крови, верно, для смеха. Но и этих цимесов не коснулись привередливые, капризные. И напрасно ломали голову сторожа, пристыженные, беспомощные. Запершись в доме на все засовы, без семей, отправленных в деревню, просиживали раз на Явожинской №7, другой раз – в доме №9, первый этаж.

– Не выйдем, пока не найдем ответ. Почему они отказываются от сытной пищи? Чего требуют?

И проводили целые часы, склонившись над тайной книгой. Одна голова хорошо, а две лучше. Свои силы они поддерживали, попивая пиво и закусывая свинными отбивными, зеленью они побрезговали, но квашеной капусте не сказали «нет».

Лишь бы только маны давали о себе знать. Пусть лишь скрипом полов, мышинным писком, даже человеческим плачем. И, хотя ничто не указывало на их присутствие, все-таки на него указывало всё.

– Сидят в подвалах? Там, по крайней мере, тепло – здраво заметил Щепан.

– Да что там! – возразил Папис. – Они ко всему устойчивы, даже к нашим морозам.

И появились надписи на стенах, кричавшие яркими красками. Те, что поинтереснее, перепечатывались в рубрике «Увидено, записано» в бульвар-



ной газете «Наша лампада»: «Мертвым живым я предпочитаю живых мертвецов». «У кого нет совести, тому они влезут внутрь через глотку». «Совести у них нет, вот и падкие на свое собственное». «А у меня нет совести, у меня руки грязные». «Нет еще такой, чтобы меня из их дома выкинула». «Паразит всегда возвращается туда, где паразитировал». «Когда одни страдали, другие в телячьих вагонах катались, пейзажи обзревали».

Пытались по-хорошему попросить непрощеных, гостеприимство имеет свои границы, установленную веками традицию. Нелегко живым жить с мертвыми на шее. Даже если те без чемоданов. Хорошие времена миновали. У терпения есть очевидные границы, свежеспаханная полоска земли, вышки, пограничники, сторожевые псы. И вот обратились к кадилам, святым образам, провели обряды экзорцизма и Бог знает что еще.

А когда взяла верх усталость, то рассыпалось недоверие, поблекло удовольствие, растворилась тревога, исчерпались печаль и ненависть. Ведь – как говорится в Писании – воздуха хватит для всех.

Лучше всего это выразил Папис, обратившись к приятелю, Щепану Клуткевичу, с простыми словами. И стали эти слова целительным бальзамом для истерзанных, медом редким, зеленым, пречистым, совсем не переслащенным, с легкой горчинкой, просто пролитым на раны:

– Они в нас, да что там, они – это мы и всё, что вокруг нас. Стол, стена, окно и дыхание. Взрослый и ребенок. Так что, они останутся здесь вместе с нами. Хотим мы этого, или нет.

Меланхолия Эми

Я печальна, но глубинной печалью. Разрывающей, почти сладостной. На грани свадьбы, которая старательно пережевывает и поглощает. Со смычковым и духовым оркестром, танцами и фатой.

На ее краю воздвигнуты циклопические стены, скала на скале, камень на камне. И поставлены сырые башни, в них гуляют сквозняки.

Меня опоясали тройным кольцом черного базальта. И перебросили мосты, чтобы боль соединяла своим кровообращением прошлое и будущее.

Настоящего нет, никому ничего не нужно, секунды мелькают искрами в ледяной воде тройных рвов. Их шипение доносится как предостережение змеи. Она отдалается от меня, кольцо за кольцом.

Не отдаляйся, печаль, полная сладкого яда. Ведь я мечтаю об укусе, о холодном объятии. Я пою тебе правду, которая возглашает ложь, не будем говорить о печали, ее никогда не было. На Елисейских полях расцвели маки. Они быстро завянут, их добьет солнце.



* * *

Бездомные слова сбиваются в зловещие стаи фраз, жаждущих ласки и пищи. Обезумевшие от голода, на дрожащих ногах, с негнувшимися хвостами, подняв верхнюю губу, они показывают скользкие от слюны клыки. Брось им на зуб свежую метафору, укротитель прозы, чтобы тебя не нашли растерзанным, со смеющимся горлом.

Святой Августин

Помнишь, друг мой, спасительную тень знойного Карфагена? И лиловость фигов, набухших краснотой?

Куда бы ни вел жизненный путь, Боже, я уже не боюсь смерти с тех пор, как я с Тобой. Мать, не описывай мне рай, когда-нибудь мы встретимся, текут слезы радости, о утренняя роса, записывай мысли, вырванные у памяти, о животворный кровоток, сладчайшая латынь, живое слово живым и утешение умершим, прислушайся к колоколу, пора и тебе, и мне, жизнь, молитва моя, спираль, лабиринт веры.

Предположим, Августин, что время сделало свое дело, все три его рода, предположим, что грехи твои невелики, какое-нибудь воровство груш, чревоугодие, вожделение. Предположим, что ты святой, предположим, что ты уже не бесплоден, предположим, что и ты стал ИСПОВЕДЬЮ.

Посейдонада

Гомер не знал об этом.

Одиссей погибал в каждом приключении, много раз умирал, день за днем, год за годом, и всякий раз Повелитель волн воскрешал его. Ведь память Посейдона неизмерима и толстокожа, как океан. Легко богу играть с человеком, а морская соль и разъедает тело, и регенерирует его. Брат Зевса отомстил, склонив Пенелопу к неверности. Она уступила всем соблазнительям и похорошела после измены. Одиссей вернулся на Итаку неумиротворенным, до конца своей жизни путая причины со следствиями. Танатос пришел за ним из моря, это всё, что гласят буквы, не уточняя, при этом, когда и как.

Даже Гомер не знал этого.



Иоанн Креститель

Две вновь обнаруженные версии рассказывают о кончине Иоанна Крестителя, и обе сходятся в том, что никто не отрубал ему голову. Согласно первой, он покинул этот мир вследствие однообразного питания. Согласно второй – умер от птичьего гриппа.

* * *

Добрые животные любовно подкармливали Иоанна Крестителя. Львы доставляли ему отлично замаринованную ягнятину, разложенную на листьях мяты, верблюды подвозили питательный йогурт, змеи снабжали французскими сырами, а лисы приносили творожник, шарлотку и клубнику со взбитыми сливками.

Он жил долго и счастливо, став естественной частью захватывающего дух пустынного ландшафта.

* * *

Воспитанный по-спартански, в детстве я считал себя спартанцем. Однако все обзывали меня не «грязным спартанцем», а «грязным евреем». И всё же они кое-что знали и о Спарте, и о моем воспитании, раз добавляли: «хоть бы ты сгинул и не вернулся даже на щите».

* * *

После трудного, многонедельного пути, полного страданий и лишений, перед караваном предстал оазис. Верблюды едва двигались, шатаясь на ногах. Погонщики смиренно благодарили Милостивого за то, что еще раз продлил им жизнь. Однако они ошибались. То, что казалось им победоносным путешествием через дюны, было лишь гипнотическим топтанием по кругу, поскольку они оказались в высохшем источнике сонного кошмара. Не чувствуя ни голода, ни жажды, они грезили, что достигли прохлады ручьев и тяжелых от фиников пальм. Они думали, что, наконец, добрались до оазиса, а тем временем неотвратно удалялись от него с каждым шагом, бредя по раскаленной дороге. И благодарили Милосердного, будучи всего лишь собственным сном под пустым небом. Если захочешь, то после пробуждения я покажу тебе их побелевшие кости и останки горделивых верблюдов.

Перевод с польского Владимира Окуня



Афоризмы

Любимый афоризм Бога: я вымышлен, значит, я существую.

От бессмертных богов остается блеск, как от вымерших звезд.

Не имеет значения, чем кончился бунт ангелов, – победой или разгромом. Важно, что они взбунтовались.

Аминь любит, чтоб последнее слово оставалось за ним.

Время – козырь Мессии.

У Искушителя порой возникает искушение изложить теорию зла в учебном трактате.

Бог заплатил бы любую цену за автобиографию Сатаны.

Там, где кончается одна бесконечность, начинается другая.

Единственный враг времени – антивремя: скрытое во времени, оно неуловимо течет вспять, времени наперекор.

Убийство времени допустимо только при самообороне.

И на периферии времени есть свои центральные площади с башнями и часами.

Из обломков прошлого складываются мозаики будущего.

Не пора ли подумать, чем настоящее обернется в грядущем?

Рай мы пишем с большой буквы как географическое название, и с маленькой – как имя того, что утрачено.

Никто не жаждет возвращения в рай в вагонах для скота.

Утонченные натуры цедят жизнь через соломинку.

Смерть – это аксиома. А жизнь?

Есть четыре рода людей: Те, кто умеет жить и умеет умирать. Те, кто умеет жить, но не умеет умирать. Те, кто не умеет жить, но умеет умирать. Те, кто не умеет ни жить, ни умирать.

В последнем часе больше секунд, чем в любом другом.

«Не стоит бояться смерти: пока мы есть – ее нет; когда она придет – нас не будет», – доверчиво повторяю я вслед за Эпикуром. Сложности возникают, когда Смерть вдруг проскальзывает между «пока мы есть» и «нас не будет».

При жизни все казалось легким, но было трудным, – признался скелет скелету, – а после смерти все кажется трудным, зато все легко.



Вода во рву, отделяющем человека от человека, должна быть чиста и свежа, а не затянута смердящей ряской.

Опасаюсь введения в джунгли прав человека.

Тираны отбрасывают длинную тень даже в полдень.

Можно ли причислять Ножницы Атропос к орудиям преступления?

Дороже всего обходится женщине ее нагота.

Женщины, даже нагие, умеют оставаться одетыми.

Ценю женщину, когда с ней можно столкнуться о цене, за которую ее нельзя купить.

Стрелы любви, проносясь мимо цели, попадают в случайных, ни в чем не повинных людей.

Порой подворачивается случай сохранить верность.

Древнейшая в мире профессия – клиент.

Проституция – это, правда, еще не дух, но уже – плоть.

Для атеистов у Бога открыт кредит.

В какой день Бог сотворил атеистов?

Он жил как ошибка; исправленный – умер.

Алфавит изобрели неграмотные.

Где Музы охлаждают ноги, там вода пригодна для питья.



Эльчин Гусейнбейли

Азербайджан

Прозаик, публицист, драматург. Автор нескольких книг публицистики и прозы. Печатался во многих периодических изданиях. Лауреат нескольких престижных литературных и государственных премий. Перевел на азербайджанский язык ряд произведений Андрея Платонова.

Когда рассеются тучи...

С Орханом, шестилетним сыном моим, гуляем по улицам Шамкира. Пасмурно. Небо холодное и черное, как ночь.

– Здесь – родина твоей мамы, – говорю. – А моя родная сторона – далеко. Орхан не спрашивает, – я сам все это рассказываю ему:

– ...Здесь твоя будущая мама в школу ходила. Во-о-он там школа. Но мы с ней познакомились в Баку, в университете... а потом я умотал учиться в Москву. Оттуда уже примчался в Шамкир... И мама твоя поверила, что я ее люблю.

Вот, гляди, гостиница. Тут я остановился. Раньше здесь парка не было.

– Ты тоже ходил в школу?

– Ну да. Только не здесь, а в своем селе. Будь возможно, я бы повез вас в те края, показал бы приволье, где я ягнят пас, траву косил. И поехали бы обязательно весной. Скажем, в начале июня. Когда с шелкопрядом возня закончится. Терпеть не могу помета шелкопряда. Покатили бы поездом... Сперва купили бы билет на станции метро «28 Мая», где всегда шум-гам, толчея, и пахнет сосисками и гарью.

Прогулялись бы по вокзалу. Поглядели бы на бегающих туда-сюда носильщиков, ищущих клиентов. Потом по микрофону услышим голос диктора: «Внимание! Граждане пассажиры! Начинается посадка на поезд номер...» Знаешь, вокзал будит во мне ностальгические чувства... Наверно, потому, что напоминает о встречах, разлуках и расставаниях, о том, как люди приходят в мир и уходят... Мне кажется, что человек находит свое счастье на вокзалах... И на вокзалах же теряет...



Поехали бы семьей, в одном купе. Я бы пропустил сто грамм по случаю расставания с Баку и предстоящей встречи с моим селом. До утра не сомкнул бы глаз. А проснувшись, увидел бы, что мы уже на станции Даш-бурун. По мере приближения к Горадизу, все кажется мне роднее, теплее. Там живут отцовские двоюродные братья, сестры. Наконец, покажутся стога и скирды сена на околице Беюк Мерджанлы. Там – родня моей матери. Чуть дальше – Ашагы и Юхары Маральяны, еще дальше – на склоне серых холмов – Кархулу, Джафарабат. Вот они позади. Сердце у меня заходило от нетерпения, поскорее бы увидеть родное село. Сельское приволье, воздух исцелял меня – будь какая-либо хвороба. Дышишь – не надышишься. После – урочище Чай-агзы, сады, питомник «Тохмачар» и, наконец, ниже дома Габиля – новехонькие дома Мамиша и его родни, дальше – жилища Гулу, Эйниша, переезд, где дежурил сельчанин Бегляр, дом Соны, а на отшибе – дом моего дяди, и наш собственный отчий кров. «Нэнэ»¹ моя, по обыкновению, услышав шум проходящего поезда, выйдет к воротам, – до Аракса рукой подать, – и глядела, всматривалась в вагоны, в надежде встретить кого-то из нас, сыновей, из города прибывших. Мы уехали без году неделя, а ей казалось, что вот-вот, не сегодня-завтра спозаранку кто-то родимый и прикатит по дороге железной восвосяси, и она обрадуется как дитя. Мы приезжали, махали ей рукой еще из вагонов, а она, не разглядев нас, понуро плелась обратно во двор... «Не вернулись...» – думала. В глазах у нее всегда таилась дума-печаль, может, потому, что братья ее умерли еще мальцами. И нас она воспринимала и как сыновей, и как замену братьям. Часто внушала нам: «Сестрино сердечко – ранимое». И укоряла нас за холодность к нашим сестрам. Говорю, говорю, – и комок к горлу.

– У тебя же нет «нэнэ», – замечает Орхан.

Я не придаю этому значения. Для меня сейчас все в образе прошедшего времени.

Некоторое время мы идем молча.

– Отец, рассказывай, а что дальше будет, что нам встретится...

– На сей раз нас бы «нэнэ» не встретила...

Ну, хоть бы Сона-хала, Тамаша-хала... Но Сона-хала умерла, я поздно узнал, не смог поехать, проводить в последний путь... Да... так вот... приеду, бывало, напоследок окликаю Таира, Бахтияра, Хагани: готовьте удочки, крючки, на рыбалку махнем. А они спрашивают: «Мяч привез?» «Как же без мяча!» С утра, не позавтракав, бежим к Араксу, рыбку ловить... Нэнэ мне вдогонку кричала: «Сынок, ты бы хоть кусок хлеба съел!»

Куда уж, лечу, как на крыльях!

¹ Нэнэ – бабушка; здесь – мать. Во многих азербайджанских говорах «нэнэ» – обращение к матери.



Потом мы взошли бы на урочище Ял-оба. Проходили бы через дядин сад. Испили бы воду из родника Симузар, – холоднющая, зубы ломит... Оттуда, с гребня увала – виден Иран. Родина нашего прадеда – «Аслан-дюз». Прадед наш некогда присоединился к племени «шахсеван».¹ Двадцать лет, при власти Николая, бунтарствовал, по горам – по долам в гачагах ходил, а под конец и на Юге не ужил, подался сюда и, переходя через границу, был убит в перестрелке с казаками. Надо же так случиться: в тот самый день его дядя Фархад привез из Шуши бумагу о помиловании.

Там, на гребне же, остался заброшенный старый трактор ДТ-75, ездил на нем Тапдыг, теперь покойный. Мы, ребятня, обожали кататься на тракторе. Он ползет, как черепаха, пашет землю, а мы кейфуем.

Ну, наведались бы в сад Махмуда. Дальше покосы, я косил там траву. Вышли бы навстречу сельчане. «Добро пожаловать! Твои ли эти мальцы?» Я бы, довольный, кивал головой. Они, наклонившись, чмокнули бы вас, маленьких-удаленьких. Допустим, если осенью мы туда махнули, тогда бы виноградом полакомились из сада Мохбата. Без спросу, без разрешения. А вот Билал-ами я побаивался.

Из арыка, поившего подворье Гулу, я отводил воду в сад... когда жажда донимала, сбегали к коллектору, к самой кромке, – на колени упав, пьем всласть... А вот тебе такую воду пить не посоветую... Мама будет сердиться...

В саду у Имрана нарвали б ягод, и смородины черной...

А еще из желудей, знаешь, ожерелье делали. Спустившись по пыльной дороге с косогора, можно передохнуть в тенечке под одиноким тутовым деревом. Там у «Алы-хандеи» – «Канавы Алы» – копошились землекопы, черные, как черти. Я бы вас постращал: «Вот не будете учиться как следует, придется и вам париться, как они...» Но это так, не всерьез. А в душе я уважал всех этих работяг, они берегли, лелеяли землю, обихаживали ее.

Повстречались бы нам мальчишки, пасущие овечек. Я бы их приветил, порасспросил, чьи они дети. Идаята ли, Видади ли, Мобилия ли, Ахлимана ли... То есть моих бывших сотоварищей... И овечек пасли, и дрались, и в прятки играли, и в «хаш-маш».

Пойдем дальше, к урочищу «Гаджи-йери». Там мы с Рауфом чуть было открытие не совершили. Хотели вырыть родничок, ковыряли, ковыряли, и проступила вода с нефтью.

– С нефтью!? – удивляется Орхан.

– Но – увы... Наше «открытие» лопнуло, как мыльный пузырь. Примесь оказалась обычной соляной от трактора.

¹ «Шахсеван» (букв.) «любящие шаха», т.е. приверженцы.



Орхан явно разочарован таким исходом. Да и мы сами повесили носы, когда поняли, в чем дело.

...Постоим у реки, там, где пережат, полюбуемся на сверкающие под солнцем стайки рыбешек, ты, конечно, загорись: «Отец, поймай мне одну рыбку...» Думаешь, легко это? Там еще есть островок, с заливными лугами. Вот где разгуляться с серпом, с косой... И баранте – объеденье. Там твой отец пастушествовал, косарил...

Еще и хлопок собирали с девушками из Черекена...

Правда, не таким уж радивым хлопкоробом был я, случалось, сбегал, сачковал.

С лесистого бугра приграничье – как на ладони. Граница очерчена колючей проволокой. Я, помнится, подбирался, трогал рукой ржавые колючки... Пограничники нас всерьез не принимали.

Вдоль поймы Аракса труба тянется. Перешагнув ее, мы топали к питомнику «Тохмачар».¹

Там, наверно, наш Бегляр опять косой орудует. Косит траву. Мы бы подошли с тобой. Привет-ответ, как живет-ся-может, трудяга? Дом Гюльнисы, с другой стороны – подворье Миркишы. Посмеялся бы, вспомнив, как я тут с Назимом сено не поделил, сцепился...

Ну и футбол, конечно. Погоняли бы мяч на лужайке... А ты бы «аутчиком» работал.

– Да ну-у! – обижается Орхан. – Я позавчера команде Надира пять голов вколотил...

...Ладно, говорю, слушай... Едешь поездом, колеса весело стучат, чечетку отбивают, трак-так-так, та-та-так-так... Эх, все это было... было, да сплыло... былъем поросло...

– Почему сплыло? – удивляется сын.

– Враги заграбастали... Пятеро братьев нас, а мать, ждавшую нас, не смогли защитить...

Говорю, и глаза наливаются слезой, и сквозь туман проступает дальний берег Аракса, и у ворот нашего дома стоит наша седая мама, не дождавшаяся сыновей... Когда-то вот так же она стояла на берегу, беременная мною, и живущая ожиданием моего рождения... И я в те времена, еще до рождения, прислушивался к ее душе, думаю, и обретал облик, соответствующий ее чаяньям. И потому, наверно, я пошел в маму. И любовь моя к братьям и сестрам моим согрета той пронзительной нотой, что мы все вышли из единой утробы, из материнского лона, и мама, так же, как меня, носила их в себе, под сердцем, а после лелеяла и пела те же колыбельные песни, кормила молоком из той же груди, ласкала, забавила теми же руками, любила

¹Тохмачар – саженец тутового дерева.



тем же маленьким и верным сердцем, – и при этой мысли я преклоняюсь с нежностью к моим братьям и сестрам. Не представляя всего этого, не додумываясь до сокровенной сути кровной общности, причастности к единой любви, породившей тебя и их на свет, наверно, нельзя проникнуться любовью к ним... Ты обречен любить их, как бы продолжая в себе родительскую любовь к ним.

– Когда я вырасту, я прогоню врагов из тамошних мест, – говорит мой сын с детской наивностью и решимостью.

– Да... и когда мы вернемся в наше село, то обязательно перевезем останки матери моей туда... чтобы похоронить рядом... с моим отцом.

Так говорю сынишке и тащу его за руку. Спешу вернуться домой. Открываю железную дверь. Вхожу во двор.

Навстречу мне выбегают квочки пенсионного возраста. Какая там погода, у нас в селе? – думаю... – Наверно, солнышко выглянуло, – заключаю сам за синоптиков... А на улице – сыро, к дождю...

...На одинокие могилы, наверно, уже сеется дождь...

Перевод Сиявуша Мамедзаде

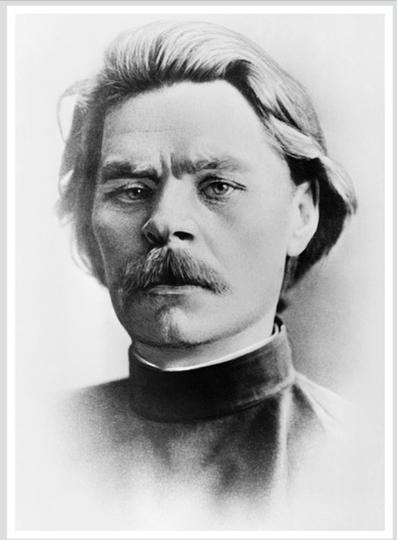


*Рубрика «ПУБЛИЦИСТИКА» в этом номере нашего издания предлагает Читателю задуматься о мещанстве – явлении, как оказалось, вечном и нисколько не зависящим от времени бытия и социального антуража. Три великих автора подвигают нас увидеть, что порок этот не имеет ни исторических, ни классовых, ни временных, ни образовательных ограничений...
...И не Грядущий это Хам, а Вечно Живой...
...Увы нам...*

Максим Горький

1868–1936

Русский и советский писатель, мыслитель, основоположник литературы социалистического реализма, инициатор создания Союза писателей СССР и первый его председатель.



Заметки о мещанстве

I

Мещанство – это строй души современного представителя командующих классов. Основные ноты мещанства – уродливо развитое чувство собственности, всегда напряженное желание покоя внутри и вне себя, темный страх пред всем, что так или иначе может вспугнуть этот покой, и настойчивое стремление скорее объяснить себе все, что колеблет установившееся равновесие души, что нарушает привычные взгляды на жизнь и на людей.

Но объясняет мещанин не для того, чтобы только понять новое и неизвестное, а лишь для того, чтобы оправдать себя, свою пассивную позицию в битве жизни.



Отвратительное развитие чувства собственности в обществе, построенном на порабощении человека, может быть, объясняется тем, что только деньги как будто дают личности некоторую возможность чувствовать себя свободной и сильной, только деньги могут иногда охранить личность от произвола всемогущего чудовища – государства.

Но объяснение – не оправдание. Современное государство создано мещанами для защиты своего имущества – мещане же и дали государству развиваться до полного порабощения и искажения личности. Не ищи защиты от силы, враждебной тебе, вне себя – умей в себе самом развить сопротивление насилию.

Жизнь, как это известно, борьба господ – за власть, и рабов – за освобождение от гнета власти. Темп этой борьбы становится все быстрее по мере роста в народных массах чувства личного достоинства и сознания классового единства интересов.

Мещанство хотело бы жить спокойно и красиво, не принимая активного участия в этой борьбе, его любимая позиция – мирная жизнь в тылу наиболее сильной армии. Всегда внутренне бессильное, мещанство преклоняется перед грубой внешней силой своего правительства, но если – как мы это видели и видим – правительство дряхлеет, мещанство способно выпросить и даже вырвать у него долю власти над страной, причем оно делает это, опираясь на силу народа и его же рукой.

Оно густо облепило народ своим серым, клейким слоем, но не может не чувствовать, как тонок этот холодный слой, как кипят под ним враждебные ему инстинкты, как ярко разгорается непримиримая, смелая мысль и плавит, сжигает вековую ложь...

Этот натиск энергии снизу вверх возбуждает в мещанстве жуткий страх перед жизнью, – в корне своем это страх пред народом, слепой силой которого мещанство выстроило громоздкое, тесное и скучное здание своею благополучия. На тревожной почве этого страха, на предчувствии отмщения у мещан вспыхивают торопливые и грубые попытки оправдать свою роль паразитов на теле народа – тогда мещане становятся Мальтусами, Спенсерами, Ае-Бонами, Ломброзо – имя им легион...

В будущем, вероятно, кто-то напишет «Историю социальной лжи» – многотомную книгу, где все эти трусливые попытки самооправдания, собранные воедино, представят собой целый Арарат бесстыдных усилий подавить очевидную, реальную истину грудями липкой, хитрой лжи.

Мещане всегда соблазняются призрачной возможностью доказать самим себе и всему миру, что они ни в чем не виноваты.

И доказывают более или менее многословно и скучно, что в жизни существуют необоримые, роковые законы, созданные Богом, или природой,



или самими людьми, что по силе этих законов человек может удобно устроиться только на шее ближнего своего и что, если все рабочие захотят есть котлеты, – на земле не хватит быков...

Противоречия между народом и командующими классами – непримиримы. Каждый человек, искренно желающий видеть на земле торжество истины, свободы, красоты, должен бы, по мере сил своих, работать в пользу быстрейшего и нормального развития этих противоречий до конца – ибо в конце этого процесса пред всеми людьми с одинаковой очевидностью встанет и преступность нашего общественного устройства и ясная для всех невозможность дальнейшего существования его в современных формах...

Мещанство всегда пытается задержать процесс нормального развития классовых противоречий.

Когда в жизни усиливается трение враждебных сил, мещане тревожно прячут головы под крыло какой-либо примирительной теории. Уклоняясь от личного участия в борьбе, мещанин старается ввести в нее более или менее авторитетное третье лицо и возлагает на него защиту своих мещанских интересов. Раньше он ловко пользовался для своих целей Богом; задавив Бога устройством церкви – обратился к науке, везде стараясь найти доказательства необходимости для большинства людей подчиниться меньшинству.

Каждый раз, когда на светлом и величественном храме науки появляется какая-то темная, подозрительная плесень, – так и знайте! – это мещанин коснулся храма истины своей нахальной, нечистой рукой...

Науку родили опыт и мысль человечества, она есть свободная сила, которую трудно подчинить интересам мещанства, – в науке не нашлось доводов, оправдывающих бытие мещанства, напротив – чем дальше она развивается, тем более ярко освещает вред паразитизма...

На почве усиленных попыток примирить непримиримое у мещанина развилась болезнь, которую он назвал – совесть. В ней есть много общего с тем чувством тревожной неловкости, которое испытывает дармоед и бездельник в суровой рабочей семье, откуда – он ждет – его могут однажды выгнать вон. В сущности, и совесть – всё тот же страх возмездия, но уже ослабленный, принявший, как ревматизм, хроническую форму... Эта особенность мещанской души позволила мещанину создать новое орудие примирения – гуманизм, это нечто вроде религии, но не так цельно и красиво: тут есть немного логики, немного доброго чувства, жалости и много наивности, и всего больше христианского стремления дать людям вместо хлеба насущного мыльные пузыри. В конце концов – это милостыня народу, довольно жалкие и пресные крохи, великодушно брошенные богатым



Лазарем своему бедному тезке... Это не имело успеха, народ не насытился, не стал более кротким и по-прежнему хотя и безмолвно, но очень косо смотрел голодными глазами, как пожирались плоды его труда... Было ясно – гуманизм не может служить для мещан орудием защиты против напора справедливости...

Мещанин любит говорить народу: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», но под ближним всегда подразумевает только самого себя и, поучая народ любви, оставляет за собою право жить за счет чужого труда незыблемым.

Когда мещанство убедилось, что народ не хочет быть гуманным, и учение Христа не примиряет рабочего с его ролью раба, навязанной ему государством, – оно почувствовало и гуманизм и религию как излишний балласт в своей тесной, квадратной, маленькой душе, оно захотело освободить себя от этого балласта – отсюда и начался отвратительный процесс разложения мещанской души.

Нужно было видеть пьяную радость мещан, когда Ницше громко заговорил о своей ненависти к демократии!

Им показалось, что вот, наконец, явился некий Геркулес, он очистит авгиевы конюшни мещанской души от серой путаницы понятий, освободит из мелкой и пестрой сети чувствований, которую они так долго, усердно и бездарно плели своими руками, которая связала их взаимно друг друга отрицающими нитями, – «я хочу, но я не должен, я должен, но я не хочу», связала и привела в тупик бессильного отчаяния – «я не могу жить». Мещанство немедленно сделало из Ницше идола, заключив всю многообразную душу его в один жуткий крик:

«Спасайтесь, как сможете. Мир погибает, ибо идет демократия!»

Но это был крик агонии самого мещанского общества, издыхающего от утомления в поисках хотя бы и дешёвого, но прочного счастья, хотя бы и скучного, но устойчивого покоя, тесного, но твердого порядка. Может быть, Ницше был гений, но он не мог сделать чуда, не мог влить новую горячую кровь в изношенные жилы и огнем своей души не мог пережечь мелких лавочников в аристократов духа. Призыв к самозащите пал на бесплодную почву – мещанство живет чужим трудом и может бороться только чужими руками...

Раньше оно могло покупать людей на службу себе деньгами, позднее подкупало их обещаниями и всегда обманывало. Теперь, когда люди начали понимать свои личные интересы, их трудно обмануть. Люди всё более резко делятся на два непримиримых лагеря – меньшинство, вооруженное всем, что только может защитить его, большинство, у которого только одно оружие – руки, и одно желание – равенство. Направо стоят бесстрастные,



как машины, закованные в железо рабы капитала, они привыкли считать себя хозяевами жизни, а на самом деле это безвольные слуги холодного, жёлтого дьявола, имя которому – золото. Налево всё быстрее сливаются в необоримую дружину действительные хозяева всей жизни, единственная живая сила, все приводящая в движение, – рабочий народ... Сердце его горит уверенностью в победе, и он видит свое будущее – свободу...

Между этими двумя силами растерянно суетятся мещане, – они видят: примирение невозможно, им стыдно идти направо, страшно – налево, а полоса, на которой они толкуются, становится всё теснее, враги всё ближе друг к другу, уже начинается бой...

Что делать мещанину? Он не герой, героическое непонятно ему, только иногда на сцене театра он любит героями, спокойно уверенный, что театральные герои не помешают ему жить. Он не чувствует будущего и, живя интересами данного момента, своё отношение к жизни определяет так:

Не рассуждай, не хлопочи,
Безумство ищет – глупость судит;
Дневные раны сном лечи,
А завтра быть чему – то будет...
Живя – умей всё пережить:
Печаль, и радость, и тревогу –
Чего желать? О чем тужить?
День пережит – и слава Богу!

(Ф. Тютчев)

Он любит жить, но впечатления переживает неглубоко, социальный трагизм недоступен его чувствам, только ужас пред своей смертью он может чувствовать глубоко и выражает его порою ярко и сильно. Мещанин всегда лирик, пафос совершенно недоступен мещанам, тут они точно прокляты проклятием бессилия...

Что им делать в битве жизни? И вот мы видим, как они тревожно и жалко прячутся от неё, кто куда может – в темные уголки мистицизма, в красивенькие беседки эстетики, построенные ими на скорую руку из краденого материала; печально и безнадежно бродят в лабиринтах метафизики и снова возвращаются на узкие, засоренные хламом вековой лжи тропинки религии, всюду внося с собою клейкую пошлость, истерические стоны души, полной мелкого страха, свою бездарность, свое нахальство, и всё, до чего они касаются, они осыпают градом красивеньких, но пустых и холодных слов, звенящих фальшиво и жалобно.



Эту скучную и тревожную суету мещанства наших дней, испуганного предчувствием своей гибели, последнюю главу его бесцветной истории можно назвать так:

«Мещане, кто во что горазд!»

II

Каждый, разумеется, видит всё в жизни так, как он хочет видеть, а кто ничего не хочет, видит только себя – скучное и жалкое зрелище!

Мещанин не способен видеть ничего, кроме отражений своей серой, мягкой и бессильной души.

Наиболее уродливые формы отношения мещанства к народу сложились в нашей нелепой стране. Вероятно, на земле нет другой страны, где бы командующие классы говорили и писали о народе так усердно и много, как у нас, и уж, наверное, ни одна литература в мире, кроме русской, не изображала свой народ так приторно слащаво и не описывала его страдающий с таким странным, подозрительным упоением.

Придавленный к земле тяжелым и грубым механизмом бездарно устроенной государственной машины, русский народ – скованный и ослепленный Самсон воистину, великий страдалец!

И, воистину, с молчаливым терпением титана долго держал он на плечах своих страшную тяжесть рабского, каторжного труда, зверских преступлений со стороны власти, сладострастного издевательства над его личностью помещиков и полиции, держал безропотно и лишь порою, встряхнув плечами, рвался к свободе, но – слепой – не находил пути к ней, и снова и еще крепче связывали его...

Когда человека пытаются, а он, полный презрения к палачам, мужественно молчит, – это красиво, это вызывает восторженное уважение к мученику и, несомненно, является прекрасной темой для поэта...

Но когда русского мужика бьют по зубам, секут розгами, ломают ему ребра, а он, едва ли в чем-либо виновный, стонет «не буду!» – в этом мало человеческого и совсем нет красоты – это должно бы вызывать гнев и ненависть к силе, угнетающей народ, должно бы возбуждать страстное, упорное желание разрушить и перестроить мрачную, душную казарму, в которой задыхается родина.

Русская литература с печальным умилением смотрела, как тупая сила власти, разнузданной своей безнаказанностью, насилует русский народ, как она старательно отравляет суевериями этот вечный источник энергии, которой бесправно пользуются все, как истощается почва, дающая всем и хлеб и цветы, она смотрела на это преступление против жизни её родины и лирически вздыхала:



Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Наша литература – сплошной гимн терпению русского человека, она вся пропитана тихим восторгом пред страдальцем-мужичком и удивлением пред его нечеловеческой выносливостью.

«Где ты черпал эту силу?» – спрашивает она его, но народ был для нее натурой, с которой она красиво и сочно писала более или менее талантливые картины для удовлетворения своих творческих эмоций и эстетического вкуса мещан...

Соль истинной поэзии в изображениях мужика и его жизни, даже у крупных писателей, часто и странно смешивается с патокой грустного лиризма, а он всегда неуместен при описаниях жизни русской деревни, ибо, по меньшей мере, неприлично лирически вздыхать, когда на ваших глазах люди утопают в грязи и во тьме.

И всегда в отношениях русского писателя к своим героям-мужикам чувствуется нечто вроде удовольствия видеть их ничтожными, мягкими, добрыми и терпеливыми...

Положим – необходимо употребить солидные усилия для того, чтобы вывести из терпения русского мужика, но наше правительство – воздадим ему должное! – всегда успешно выполняло эту задачу; однако роскошное зеркало русской литературы почему-то не отразило вспышек народного гнева – ясных признаков его стремления к свободе. Она изображала нам Калиныча и Хоря, героя «Муму», Касьяна, Антона Горемыку, Платона Каратаева, дедушку Якова и Мазая, Акима во «Власти тьмы» и бесконечную вереницу иных мудрых, но косноязычных и немых людей. На её глазах из среды народа выходили Ломоносовы, Кольцовы, Никитины, Суриковы, но она не замечала их и забыла отметить в прошлом таких крупных выразителей народной воли, как Разин и другие. Она не искала героев, она любила рассказывать о людях сильных только в терпении, кротких, мягких, мечтающих о рае на небесах, безмолвно страдающих на земле. Все они терпеливо – непременно терпеливо, без гнева, без ропота! – несут на плечах своих гнетущие душу и тело невзгоды и позор рабской жизни. Милые люди! Они совершенно не способны к делу строительства жизни и кажутся созданными природой специально для мирной работы на господ. Такие славные божьи коровки – эти духовно чистенькие мужички, они так любовно мудры, полны такой готовностью страдать, что, право, удивляешься, как можно было таких людей-младенцев драть на конюшнях плетью, пороть розгами, продавать оптом и в розницу, как баранов, и вообще обращаться с ними... неделикатно?



Сознательно или бессознательно, но всегда настойчиво наша дворянская литература рисовала народ терпеливо равнодушным к порядкам его жизни, всегда занятым мечтами о Боге и душе, полным желанием внутреннего мира, мещански недоверчивым ко всему новому, незлобивым до отвращения, готовым все и всем простить, курносый идеалист, который еще долго и долго способен подчиняться всем, кому это нужно.

Мещанство читало красивые рассказы о смирном русском народе, искренно восхищалось его незлобивым терпением и, спокойно, крепко сидя на его хребте, дало ему лестный титул народа-богоносца.

Ко времени вынужденного народом освобождения его от крепостного права, и – кстати – от земли, в нашей стране, как это известно, образовался небольшой, но энергичный слой людей, сильных духом и внутренне свободных. Это была смелая вольница, «кто с борку, кто с сосенки», – неудачные дети духовенства, уроды из дворянских семей, блудные сыновья чиновников, только что рожденные фабрикой рабочие – всё умные, здоровые, веселые работники, бодрые, как люди, проснувшиеся на рассвете ясного майского дня. Полные молодой жажды жизни красивой и свободной, они увидели пред собой жизнь, устроенную их отцами, и с презрением, с гордой насмешкой отвернулись от неё – тесной, скучной, нищенски бедной содержанием, формами и красками, нагло и грубо построенной на непосильном труде ограбленного, тёмного народа.

Вокруг них шумно суетилось встревоженное реформами мещанское общество, – ожиревшее, вырождающееся, уже духовно мёртвое, оно судорожно корчилось, как гальванизированный труп, и на пороге новой жизни тупо злилось, трусливо и злобно шипело, чувствуя, что на земле для него остались только могилы. Буйная молодость дерзко и весело пела отходную остаткам крепостного строя и зорко присматривалась, ища свое место в жизни.

А правительство, освободив народ, тотчас же усердно занялось разведением чиновников, ковкой звеньев новой цепи для народа. К разночинцам оно относилось подозрительно и враждебно, люди, которые не хотели быть чиновниками, были излишни и вредны для него, Было ясно – если интеллигент-разночинец хочет жить, он должен встать ближе к народу, опереться на него и увеличить свою дружину за его счет. Интеллигент понял это, пошел в народ сеять среди него «разумное, доброе, вечное»...

Разумеется, наше правительство не могло допустить на ниве народной никаких посевов, кроме тех, которые укрепляли бы легенду о неземном происхождении его власти. И вот началась беспримерная в истории эпическая борьба горсти смелых людей с чудовищем, которое похитило свободу и зорко, жадно стережет её...



Эта битва была красива, как старый рыцарский роман, она родила много героев и пожрала их, как Сатурн своих детей. Герои погибли. Участь героев всегда такова, и не будем оскорблять память героев сожалением о гибели их...

Это были стойкие, крепкие люди, но история поставила их между холодной наковальней и тяжелым молотом. Много они хотели поднять, много сдвинули с места и надорвались в усилиях разбудить народ, – он до этой поры не видел ничего доброго от господ и не поверил им, когда они бескорыстно принесли ему ученье о свободе, равенстве, братстве.

Те, кому лгали столетия, не могли научиться верить в годы...

В эти дни, когда рыцари бились насмерть со змеем, – мещанство в стихах и прозе доказывало, что

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить;
У ней особенная стать,
В Россию можно только верить...

что русский народ чрезвычайно самобытен и что греховная западная наука, развратные формы жизни Запада совершенно не годятся для него. Влияние Запада может только испортить, разрушить кроткую, мягкую душу и прочие редкие качества народа-богоносца, воспитанные в нем порками на конюшнях, сплошной неграмотностью и другими идеальными условиями русской самобытности.

В творениях мещан на эту тему есть много любопытного, но самое замечательное в них – соединение таланта с какой-то истинно восточной ленью ума и татарской хитростью, которой мещане прикрывали эту лень мыслить смело и до конца яркопестрыми словами восторга пред народом. Немой, полуголодный, безграмотный народ, по уверению мещан, был призван обновить весь мир таинственной силой своей души, но для этого, прежде всего, требовалось отгородить его от мира высокой стеной самобытности, дабы не коснулся его свет и воздух Запада. Он, еще недавно награда вельможам за придворные услуги, живой инвентарь помещичьих хозяйств, доходная статья, предмет торговли, вдруг стал любимой темой разговоров, объектом всяческих забот о его будущей судьбе, идолом, пред которым мещане шумно каялись во грехах своих. Растерянная, суетливая мещанская мысль, как летучая мышь над костром, завертелась вокруг народа в своих поисках оправдания и примирения.

Эта жалкая суета развращала порою лучшего поэта тех дней, и часто он, вступая в общий хор лицемерно кающихся, фальшиво вторил им:



...Успели мы всем насладиться.
Что ж нам делать? Чего пожелать?..

...Пожелаем тому доброй ночи,
Кто все терпит во имя Христа,
Чьи не плачут суровые очи,
Чьи не ропщут немые уста,
Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Погружаться в искусство, науки
Предаваться мечтам и страстям...

(Н. Некрасов)

В этом, допустим, искреннем лирическом порыве сытого и несколько сконфуженного своей сытостью человека чувствуется немного иронии над собой, но – какая странная скудость фантазии! Неужели народу, усыпленному насильно, народу, сон которого ревниво оберегали тысячи верных слуг Левиафана-государства, неужели этому народу нельзя было пожелать ничего лучшего доброй ночи? В те дни, когда уже многие били в набат, стараясь разбудить его? В те дни, когда герои одиноко погибали в битвах за свободу?

Мещанам нравились подобные стихи, и они искренно, от всей души, желали милому народу – спокойной ночи. Что они могли пожелать ему, кроме этого? Это и гуманно и дешево...

В это время – время борьбы – одни из них тревожно и угрюмо, как совы, кивали головами на Запад, где горел, не угасая, огонь свободы и в муках рождалась истина; они кричали, что оттуда льется отрава, которая погубит русский народ. Другие пристраивались в услужение к радикальным идеям, незаметно стараясь одеть их в уродующие одежды компромисса. Третьи злобно в стихах и прозе клеветали на все, что было им враждебно, – молодо, красиво, смело, – и во всем, что они делали, звучала их вечная тревога за свой покой – тревога нищих духом.

А в страну медленно входил железной стопой окутанный серыми тучами дыма и пара великий революционер, бесстрастный слуга желтого дьявола, жадного золота, – всё разрушающий капитализм...

III

Толстой и Достоевский – два величайших гения, силою своих талантов они потрясли весь мир, они обратили на Россию изумленное внимание



всей Европы, и оба встали, как равные, в великие ряды людей, чьи имена – Шекспир, Данте, Сервантес, Руссо и Гете. Но однажды они оказали плохую услугу своей темной, несчастной стране.

Это случилось как раз в то время, когда наши лучшие люди изнемогли и пали в борьбе за освобождение народа от произвола власти, а юные силы, готовые идти на смену павшим, остановились в смятении и страхе пред виселицами, каторгой и зловещей немотой загадочно неподвижного народа, молча, как земля, поглотившего кровь, пролитую в битвах за его свободу. Мещане, напуганные взрывами революционной борьбы, изнывали в жажде покоя и порядка, готовые подчиниться победителю, предать побежденного и получить за предательство хоть маленький, но всегда лакомый для них кусок власти...

Тяжелые серые тучи реакции плыли над страной, гасли яркие звезды надежд, уныние и тоска давили юность, окровавленные руки темной силы снова быстро плели сети рабства.

В это печальное время духовные вожди общества должны бы сказать разумным и честным силам его:

«Нищета и невежество народа – вот источник всех несчастий нашей жизни, вот трагедия, в которой мы не должны быть пассивными зрителями, потому что рано или поздно сила вещей заставит всех нас играть в этой трагедии страдающие и ответственные роли. Для государства мы – кирпичи, оно строит из нас стены и башни, укрепляющие злую власть его. Искусно отделяя народ от нас, оно делает всех бессильными в борьбе с его бездушным механизмом. Никто разумный не может быть спокоен, доколе народ – раб и слепой зверь, ибо он прозреет, освободится и отомстит за насилие над ним и невнимание к нему. Не может быть красивой жизни, когда вокруг нас так много нищих и рабов. Государство убивает человека, чтобы воскресить в нем животное и силою животного укрепить свою власть; оно борется против разума, всегда враждебного насилию. Благо страны – в свободе народа, только его сила может победить темную силу государства. Поймите – нет иной страны, где бы люди чести, люди разума были так одиноки, как у нас. Боритесь же за торжество свободы и справедливости, в этом торжестве – красота. Да будет ваша жизнь героической поэмой!..» – (Ф. М. Достоевский).

– Терпи! – сказал русскому обществу Достоевский своей речью на открытии памятника Пушкину.

– Самосовершенствуйся! – сказал Толстой и добавил: – Не противься злу насилием!..

...Есть что-то подавляюще уродливое и постыдное, есть что-то близкое злой насмешке в этой проповеди терпения и непротивления злу. Ведь два



мировых гения жили в стране, где насилие над людьми уже достигло размеров, поражающих своим сладострастным цинизмом. Произвол власти, опьяненный безнаказанностью, сделал всю страну мрачным застенком, где слуги власти, от губернатора до урядника, нагло грабили и истязали миллионы людей, издеваясь над ними, точно кошка над пойманной мышью.

И этим замученным людям говорили:

– Не противьтесь злу! Терпите!

И красиво воспевали их терпение. Этот тяжелый пример наиболее ярко освещает истинный характер отношения русской литературы к народу. Вся наша литература – настойчивое учение о пассивном отношении к жизни, апология пассивности. И это естественно.

Иной не может быть литература мещан даже и тогда, когда мещанин-художник гениален.

Одно из свойств мещанской души – раболепие, рабье преклонение перед авторитетами. Если некто однажды подал мещанину от щедрот своих милостыню внимания, – мещанин делает благодетеля кумиром и кланяется ему, точно нищий лавочнику. Но это только до поры, покуда кумир живёт в гармонии с мещанскими требованиями, а если он начнёт противоречить им, – что бывает крайне редко, – его сбрасывают с пьедестала, как мертвую ворону с крыши. Вот почему писатель-мещанин всегда более или менее лакей своего читателя, человеку приятно быть идиолом.

Ожидаю, что идолопоклонники закричат мне:

«Как? Толстой? Достоевский?»

Я не занимаюсь критикой произведений этих великих художников, я только открываю мещан. Я не знаю более злых врагов жизни, чем они. Они хотят примирить мучителя и мученика и хотят оправдать себя за близость к мучителям, за бесстрастие свое к страданиям мира. Они учат мучеников терпению, они убеждают их не противиться насилию, они всегда ищут доказательств невозможности изменить порядок отношений имущего к неимущему, они обещают народу вознаграждение за труд и муки на небесах и, любясь его невыносимо тяжкой жизнью на земле, сосут его живые соки, как тля. Большая часть их служит насилию прямо, меньшая – косвенно: проповедью терпения, примирения, прощения, оправдания...

Это – преступная работа, она задерживает правильное развитие процесса, который должен освободить людей из неволи заблуждений, она тем более преступна, что совершается из мотивов личного удобства. Мещанин любит иметь удобную обстановку в своей душе. Когда в душе его все разложено прилично, душа мещанина спокойна. Он – индивидуалист, это так же верно, как нет козла без запаха.



В древности еврейский мудрец Гиллель дал человеку удивительно простую и ясную формулу индивидуального и социального поведения.

«Если я не за себя, – сказал он, – то кто же за меня? Но если я только за себя – зачем я?»

Мещанин охотно принимает первую половину формулы и не может вместить другой.

Есть два типа индивидуализма: индивидуализм мещанский и героический.

Первый ставит «я» в центре мира – нечто удивительно противное, напыщенное и нищенское. Подумайте, как это красиво – в центре мира стоит жирный человечек с брюшком, любитель устриц, женщин, хороших стихов, сигар, музыки, человек, поглощающий все блага жизни, как бездонный мешок. Всегда несытый, всегда трусливый, он способен возвести свою зубную боль на степень мирового события, «я» для этого паразита – всё!

Второй говорит: «Мир во мне; я всё вмещаю в душе моей, все ужасы и недоумения, всю боль и радость жизни, всю пестроту и хаос её радужной игры. Мир – это народ. Человек – клетка моего организма. Если его бьют – мне больно, если его оскорбляют – я в гневе, я хочу мести. Я не могу допустить примирения между поработителем и поработённым. Противоречия жизни должны быть свободно развиты до конца, дабы из трения их вспыхнула истинная свобода и красота, животворящая, как солнце. Великое, неисчерпаемое горе мира, погрязшего во лжи, во тьме, в насилии, обмане, – мое личное горе. Я есть человек, нет ничего, кроме меня». (Ф. М. Достоевский).

Это миропонимание, утонченное и развитое до красоты и глубины, которой мы себе представить не можем, вероятно, и будет миропониманием рабочего, истинного и единственно законного хозяина жизни, ибо строит её он. Это миропонимание в русской литературе не отражалось. Она вообще не могла создать героя, ибо героизм видела в пассивности, и если пыталась изобразить активного человека, – это выходило бескровно и бесцветно даже у такого красивого и крупного таланта, как Тургенев. Только яркий и огромный Помяловский глубоко чувствовал враждебную жизни силу мещанства, умел беспощадно правдиво изобразить ее и мог бы дать живой тип героя, да Слепцов, устами Рязанова, зло и метко посмеялся над мещанином...

Восьмидесятые годы были временем полного торжества мещан, и, как всегда, они торжествовали злобно, но скучно и бесцветно. Со слезами восторга прослушали речь Достоевского, и она успокоила их. Терпение



ни к чему не обязывало мещан, но его можно было рекомендовать народу. Они, конечно, спокойно сложили бы бессильные, хоть и жадные руки, но совесть эта накожная болезнь мещанской души – настойчиво указывала на необходимость вооружения народа оружием грамоты, и некая, небольшая часть их видела свое одиночество в стране, где так мало грамотных людей, которые могли бы играть для мещан роли слушателей, собеседников, читателей, потребителей газет, книг и прочих продуктов высшей деятельности мещанского духа. Мещанин любит философствовать, как лентяй удить рыбу, он любит поговорить и пописать об основных проблемах бытия – занятие, видимо, не налагающее никаких обязанностей к народу и как нельзя более уместное в стране, где десятки миллионов человекоподобных существ в пьяном виде бьют женщин пинками в животы и с удовольствием таскают их за косы, где вечно голодают, где целые деревни гниют в сифилисе, горят, ходят – в виде развлечения – в бой на кулачки друг с другом, при случае опиваются водкой и во всем своем быте обнаруживают какую-то своеобразную юность, которая делает их похожими на первобытных дикарей... Итак – мещане всё-таки поняли необходимость увеличить свою армию и взялись за дело.

Раздался успокаивающий и довольный крик – истинно мещанский пароль: «Наше время – не время широких задач!»

И наскоро создали пошлый культ «мелких дел» – воистину мещанский культ. Какая масса лицемерия была вложена в этот культ, и сколько было в нем самообожания!

Другая группа мещанства – быть может, более искренняя в своем желании оправдать печальный и постыдный факт своего бытия – пошла на зов Толстого. Началось «самосовершенствование», этот жалкий водевиль с переодеваньем. В стране, где люди ещё настолько не разумны, что пашут землю деревянной сохой, боятся колдунов, верят в чёрта, – в этой грустной и бедной стране грамотные люди, юродствуя идеи ради, стали отрицать разум. Подвергли науку наивной и убогой критике. Отрицали искусство, отрицали красоту, одевались в крестьянское платье и неумелыми руками ковыряли бесплодную землю, всячески стараясь приблизиться к дикарю и называя это самоистязание «опрощением». Дикий, но совсем не глупый мужик смотрел на чудаков и пренебрежительно усмехался, не понимая мотивов странного и смешного поведения господ. Иногда, раздражённый своей тяжкой жизнью, выпивший водки мужик обижал опрошценцев, но они «не противились злу» и этим вызывали к себе искреннее презрение мужика.

Так вело себя мещанство совестливое, а масса его – жадная и наглая – открыто торжествовала победу грубой силы над честью и разумом,



цинично добывая раненых. Она создала из клеветы, грязи и лицемерной угодливости победителю некий форт для защиты своего положения в жизни, в него засели довольно талантливые языкоблуды, навербованные по преимуществу из ренегатов, и дружно принялись заливать клеветой и ложью всё, что еще горело в русской жизни.

Погибли «Отечественные записки», и один из ренегатов проводил их в могилу гаденькой усмешкой:

– Пела-пела пташечка да замолкла. Отчего ж ты, пташечка, приуныла?

Эти потомки крови Иуды Искарюта, Игнатия Лойолы и других хриstopродавцев, охваченные болезненной жаждой известности, но слишком ничтожные для того, чтобы создать нечто крупное, скоро почувствовали своё бессилие быть вождями и сделались растлителями мещанства. Открыто брызгая пахучей слюной больных верблюдов на всё мало-мальски порядочное в русской жизни, они более четверти века развращали людей проповедью ненависти к инородцам, лакейской услужливости силе, проповедью лжи, обмана, – и нет числа преступлениям их, нет меры злу, содеянному ими. Малограмотные и невежественные, они судили обо всём всегда «применительно к подлости», всегда с желчью неудачников на языке. Некоторые из этих желчных честолюбцев ещё и теперь старчески ползают по страницам своей газеты, но это уже змеи, потерявшие яд. Безвредные гады, они вызывают только чувство отвращения к ним своими бессильными попытками сказать ещё что-нибудь гнусное и развратное, еще раз подстрекнуть кого-то на преступление...

Но всё это известно, и обо всём этом так же противно и стыдно говорить, как о насилии над женщиной, как о растлении ребенка, и хочется поскорее подойти к поведению мещанства сегодня, в наши трагические дни...

Однако справедливость побуждает указать, что наиболее жизнеспособные мещане шли и в революцию. Они понимали, что толкнутся в тесных развалинах старой тюрьмы, выстроенной подневольным трудом, у них не было определенной позиции в темном хаосе русской жизни, жизнь их была бесцветна и скучна. И они пошли в революцию охотно, но – как спортсмены-англичане ездят из Лондона на Каспий бить диких уток. Со временем мы увидим этих господ среди работников революции, где они, вместе с господами Кукшиными, производят неприятный шум, вредную суету и путаницу, увидим, как они, органически с народом не связанные, чуждые ему, капризные в своих настроениях, быстро, как фокусники, меняли свои взгляды, вызывая этим тяжёлые недоумения в головах своих учеников и отрицательное, враждебное отношение у рабочих к представителям пролетарской интеллигенции.



Рядом со всеми этими попытками маленьких, трусливых людей уклониться от суровых требований действительности в тихую область мечтаний или удобно встать где-либо с краю жизни в качестве зрителя, наблюдающего её драмы, рядом с иезуитской суетой мещанства – бесстрастно шла железная работа капитала, математически правильно сортировавшего людей на две резко враждебных группы, а в красных корпусах фабрик и заводов, под гулкий шум машин, воспитывалась новая, могучая, истинно жизненная сила, та сила, которой ныне все мещане обязаны своим освобождением из тесной клетки государства и для которой они готовы создать другую клетку, попрочнее той, где они сами сидели. Мещанин в политике ведёт себя, как вор на пожаре, – украл перину, снес её домой и вновь явился на пожар гасить огонь, который он же сам тихонько раздувал из-за угла...

IV

В ту пору, когда мягкосердечные мещане осторожно пытались пронести во тьму народной жизни, мимо глаз стоокого цербера-государства, тускло горевшие светильники своих добрых намерений, в то время, когда ренегаты, опьянённые мстительной злобой, цинично плясали разнузданный танец торжества своего над могилами павших героев, а мещане, безразличные, наслаждались покоем и крепким порядком в серой мгле всё победившей пошлости, – в эту пору государство снова хлопотливо стягивало грудь народа железными обручами рабства...

Дряхлый демон России, прокурор церкви Христовой, слуга насилия и апологет его, сладострастными руками фанатика вцепился в горло страны и душил её и в безумии восторга кричал:

– Велико и свято значение власти! Она служит для всех зеркалом правды, достоинства, энергии!

И вводил церковные школы в дополнение к земским начальникам.

Это было нагло, но многие находили, что это сильно и талантливо, иногда цинизм выгоден мещанам, они находят его красивым.

Власть, подобно Цирцею, превращает человека в животное. Стремление ко власти свойственно только людям ограниченным, только тем, кто не способен понять красоту и великую мудрость внутренней свободы, той свободы, которая не способна подчиняться и не хочет подчинять. Властные люди вообще – тупы, а когда они могут действовать безнаказанно, в них просыпается атавистическое чувство предка-раба, и они как бы мстят за его страдания, но мстят не тем, кто заставляет страдать, а тем бесправным людям, которые отданы государством под власть его представителей,



– а так как Россия слишком долго была страной рабов – в ней представители власти более, чем где-либо, разнузданны и жестоки...

Когда люди, незадолго пред этим чувствовавшие, что кто-то энергично вырывает власть из их рук, снова увидели себя владыками, – они бросились на страну, как звери, и ненасытно стали сосать кровь её покорных людей, они вцепились жадными когтями в её огромное неуклюжее тело и грабили, истязали, душили людей, как варвары-завоеватели, истощали её, как бактерии гноя зараженный организм. Это было время буйного торжества животных, тем более злых, что ещё недавно они трепетали от страха.

Страна, казалось, скоро задохнется.

Но, сгибаясь под тяжестью насилия, ослеплённый невежеством, ленивый с отчаяния, народ жил и молча наблюдал. Тяжёлая жизнь выработала в нём нечеловеческую выносливость, изумительную способность пассивного сопротивления, и под гнётом злой силы государства он жил, как медведь на цепи, молчаливой, сосредоточенной жизнью пленника, не забывая о свободе, но не видя дороги к ней.

Народ по природе сильный и предприимчивый, он долго ничего не мог сделать своими крепкими руками, туго связанными бесправием; неглупый, он был духовно бессилён, ибо мозг его своевременно задавили тёмным хламом суеверия; смелый, он двигался медленно и безнадежно, ибо не верил в возможность вырваться из плена; невежественный, он был тупо недоверчив ко всему новому и не принимал участия в жизни, подозрительно косясь на всех.

И во что он мог верить? Всё новое приходило к нему со стороны барина, давнего врага, и всегда в этом новом он должен был чувствовать нечто не для него, но против него. Когда он немного выучился грамоте и стал читать маленькие книжки, он чувствовал в них всегда одно: настойчивое желание господ видеть его добрым, трезвым, мягким.

«Все люди – братья, все равны!» – доказывали ему авторы книжек.

А вокруг него стояли исправники, земские начальники, станковые, урядники – ели его хлеб, брали с него подати, секли его розгами, а за чтение книжек сначала просто били по зубам, а потом даже начали сажать в тюрьму.

«Не в силе бог, а в правде!» – утешали его добрые господа, а он, от применения к его спине силы, по неделям сесть не мог.

«Надо любить ближнего, как самого себя!» – убедительно, и даже порой красиво, поучали его люди из города, а их отцы и братья в деревнях старались возможно дешевле купить его труд и просили начальство сочинить пострее законы о найме сельскохозяйственных рабочих.



«Не бей свою жену, ибо она хотя и женщина, но тоже человек, учи детей грамоте, ибо «знание – радость, знание – свет, не пей водку – она разрушает организм, – и не воруй!» – говорилось в книжках.

Мужик читал это и видел: господа спокойно берут его жену на должность коровы – кормить её молоком своих детей, его жена беременная моет за гривенник полы в усадьбе, дочь его при первом же удобном случае развращают, и вообще к жителям деревни господа относятся менее внимательно и бережливо, чем, например, к своим лошадям, собакам и другим домашним животным. Он видел, что господам действительно очень полезна грамота, но школа, устроенная ими для его детей, ничего хорошего не дает им, а только отбивает от работы. И видел, что господа, поучая его не пить водку, сами с большим наслаждением разрушают свои организмы и водкой, и вином, и обжорством, и развратом. И видел, что его кругом обокрали.

«Не будь жаден!» – говорили ему и всё повышали аренду на землю, всё понижали плату за труд.

Книжки резко противоречили всему складу мужицкой жизни, и поступки господ тоже противоречили морали книжек, написанных ими. В самом факте появления какой-то особенной литературы, нарочито сочиняемой «для народа», уже есть нечто подозрительное, как и вообще во всех действиях мещан, направленных к торжеству «общего блага».

Мещане – повторяю – во что бы то ни стало хотят жить в мире со всем миром, спокойно пользуясь плодами чужого труда и всячески стараясь сохранить то равновесие души, которое они называют счастьем.

Что же, кроме лжи и лицемерия, можно внести в «общее благо», обладая такой психологией? И это «общее благо», как его представляют себе мещане, огромное, топкое болото, оно покрыто густой плесенью добрых намерений, над ним вечно стоит серый, мёртвый туман лживых слов, а на дне его задавленные люди, живые люди, обращённые в орудия обогащения мещан. Это «общее благо» пахнет кровью и потом обманутых, порабощённых людей.

Жизнь ставит дело просто и ясно: общее благо невозможно, пока существует хозяин и работник, подчинённый и командующий, имущий и неимущий.

Или все люди – несмотря на яркое различие их душ – товарищи, политически и экономически равные друг другу, или вся жизнь отвратительное преступление, гадкая трагедия извращенности, процесс, не имеющий оправдания...

Сколько ни кропи море духами, оно всё-таки даст запах соли, и, конечно, немного бы сделали добрые мещанские книжки, если бы они учили



только добродетелям, выгодным для мещан, и если бы, кроме книжек, не было других влияний, способных своей силой возбудить мысль даже в камне.

По степям, мимо деревень, как гигантские железные черви, рассыпая огненные искры, с торжествующим грохотом поползли локомотивы и вагоны, пожирая хлеб мужика. Около деревень хмуро встали красные стены заводов и фабрик, угрожающе поднялись в небеса огромные трубы, чёрный дым кощунственно летел к жилищу Бога, не боясь его гнева. В барских усадьбах явились машины, они сеяли, жали, косили, отнимая стальными руками работу у человека, и человек, чтобы не умереть с голоду, шёл с поля в широко открытую жаркую пасть фабрики. Там вокруг него хлопотливо, шумно, правильно вертелись колеса, двигались поршни, зловеще гудело железо, и всё, все плоды земли, всё рожденное ею – камень, дерево и сама она – всё превращалось в золото и уходило куда-то далеко прочь от человека, оставляя его, истомленного, усталого, с одним куском хлеба и без копейки на старость.

Рёв плавильных печей, визг станков, глухие удары молота, сотрясавшие землю, бесконечное движение ремней и всюду ярко пылающий красивый, веселый огонь – всё это было грандиозно, страшно, подавляло человека своей лихорадочной жизнью и невольно возбуждало в нём острый, разрушительный вопрос:

– «Зачем так? Для кого?»

И он начинал понемногу догадываться, что весь этот механически правильно, но бессмысленно действующий ад создан и приведён в движение ненасытной жадностью тех людей, которые захватили в свои руки власть над всей землей и над человеком и всё хотят развить, укрепить эту власть силою золота. Они обезумели от жадности, сами стали глупыми и жалкими рабами своих фабрик и машин, своих векселей и золота, зарвались, запутались в сетях дьявола наживы, как мухи в паутине, и уже не отдают себе отчета, зачем все это им? – и не видят, отупевшие, не могут видеть возможности жить иначе – иной жизнью, красивой, свободной, разумной. Они плывут безвольно, как утопленники, в отвратительном потоке бессмысленной и противной суеты, окутанные едким дымом и запахом человеческого пота, окруженные жадным лязгом железа и стонами людей, которые служат при железе для того, чтобы увеличить золото в карманах мещан, – золото, умертвившее душу мещанина, золото – металлического бога ограниченных и жалких людей.

Человек увидел и понял, что его руки создают всё, а он не имеет ничего, кроме нищенского права съесть столько хлеба, сколько нужно, чтобы снова работать и, наконец, создав в течение жизни неисчислимое коли-



чество богатств, издохнуть с голоду. Человек задумался, потрясённый очевидностью – кто он, создающий так много лишнего и не имеющий необходимого? Хозяин жизни или раб её?

Человек работал на фабрике и видел, как из бесформенных кусков руды его труд создаёт машины и ружья, как бессильные, тонкие, робко дрожащие нити соединяются в плотную, крепкую ткань и веревки, – человек протестовал против жадности капитала и видел, что из ружей, им же сделанных, убивают его товарищей, что из веревок делают петли для его друзей.

Всюду вокруг ярко смеялся над ним красный, злобно веселый могучий огонь и возбуждал к жизни необоримую силу человека, мысль его. Капитал, раздевая его тело, превращал человека из раба – хозяина кусочка бесплодной земли – в свободного нищего, из пассивного страдальца, поражавшего мир терпением, в пылкого, упорного борца за свое право быть человеком, а не доходной статьёй мещан.

И он начал свою великую борьбу.

Жестокость богатства так же очевидна, как и глупая жадность его. Неразборчивый, как свинья, капитал пожирает всё, что видит, но нельзя съесть больше того, сколько можешь, и однажды он должен пожрать сам себя – эта трагикомедия лежит в основе его механики. Сила капитала – механическая грубая сила; этот ком золота, точно ком снега, брошенный под гору, вовлекая в себя всякую дрянь, увеличивается в объеме от движения, но само движение слепо, безвольно и не может иметь оправдания, когда оно давит и уничтожает миллионы людей...

По пути к самоуничтожению капитал, развиваясь, захватывает на служение своим интересам и государство, оно растворяется в нём, теряет свой животно-самодовлеющий характер власти ради власти, и короли ныне покорно служат интересам фабрикантов и лавочников. Капитал похож на чуму, которая одинаково равнодушно убивает водовоза и губернатора, священника и музыканта. И, как чума, сам по себе он не нуждается в оправдании бессмысленности своего роста, – механически правильно сортируя людей на классы, независимо от своей воли развивая их сознание, он сам создаёт себе непримиримых врагов, раздражая человека своей жадностью, как дурак раздражает быка красным. Зло жизни, он не стесняется своей ролью, он цинично откровенен в своих действиях и, нагло говоря грохотом машин: «Всё моё!», равнодушно разворачивает людей, искажает жизнь. Таков он есть, он не может быть иным, и это хорошо, потому что просто, всем понятно и очень быстро создаёт в душе представителя труда резко отрицательное, непримиримо враждебное отношение к представителю капитала.



Но для мещан капитал – идол, сила и необоримая власть, и они раболепно служат ему, довольные теми объедками, которые пресыщенное животное бросает им под стол, как собакам. Они не обижаются на это – чувство человеческого достоинства не развито у мещан, – ослеплённые блеском золота, они служат господину не только из страха перед силой его, но уважая силу, и не только служат, что естественно, ибо и мещанин любит есть много и вкусно, но подслуживаются, что уже противно. Мещане всегда моралисты, и вот, сознавая моральную наготу своего кумира, смутно чувствуя преступность его бытия, они пытаются подложить смягчающие вину философские основания под этот процесс насилия, истязания и убийства миллионов людей ради накопления золота в карманах десятков. И, доказывая право капитала грабить, убивать, они думают скрыть факт своего соучастия в грабежах и убийствах.

«Иначе – нельзя!» – говорят они.

«Можно!» – отвечают им социалисты.

«Ах, это мечта!» – возражают мещане и снова жульничают, всюду выискивая доводы, способные подтвердить вечную необходимость деления людей на богатых и бедных и незыблемость такого порядка, одинаково унижающего и рабочего, и капиталиста, и самих мещан.

Эти жалкие попытки трусливых холопов остановить колесницу истории горами лживых слов, брошенных по пути её движения, иногда действительно замедляют ход жизни, затемняя и запутывая медленно растущее в массе народа сознание своего права, и вот почему нужно всегда помнить, как свое имя, что истинный враг жизни не капитал – стихийная, глупая, безвольная сила, – а холопы его, почтенные мещане, желающие в интересах своего личного счастья доказать массам народа невозможность иного порядка жизни, примирить рабочего с его ролью доходной статьи для хозяина и оправдать жизнь, построенную на порабощении большинства меньшинством...

Роль примирителя – двойственная роль, и мещанин – вечный пленник внутреннего раздвоения. Всё, что он когда-либо выдумал, носит в себе непримиримые и подлые противоречия. Он в одно время дает человеку бутылку водки и книжку о вреде алкоголя, взимая с того и другого товара известный процент в свою пользу. Он говорит о необходимости строить тюрьмы гуманно. Признавая женщину всячески равной мужчине, он из соображений «реальной политики» – то есть политики скорейшего и во что бы то ни стало установления твёрдого порядка – лишает её права голоса, несмотря на то, что его супруга, вероятно, не менее, чем он, жаждет торжества порядка и равновесия души. Он готов приять в свои объятия свободу, но обязательно в качестве законной супруги, дабы «в пределах



законности» насиловать её, как ему угодно. Он обладает, как все паразиты, изумительной способностью приспособления, но никогда не приспособляется к истине. Он способен видеть и принять только правду факта, и ему чужда и непонятна правда человеческого стремления к творчеству фактов.

Всего ярче открывается его пёстрая, искажённая холопством пред силой, отравленная неустанной жаждой покоя и довольства, маленькая, скучно честолюбивая, липкая душа в эпохи народного возбуждения, когда он, серый, суетливый и жадный, жутко мечется между чёрным представителем гнета и красным борцом за свободу, стараясь скорее понять – кто из этих двух победит? Где сильнейший, на чью сторону он мог бы скорее встать, дабы водворить порядок в жизни, установить равновесие в душе своей и урвать кусок власти?

Жалкое существо, и, если б оно не было так вредно, о нём не следовало бы говорить, но о нём необходимо говорить больше всего, как это ни противно.

Мещане – лилипуты, народ – Гулливер, но если его запутать всеми нитками лжи и обмана, которые находятся в руках этого племени, он должен будет потратить лишнее время для того, чтобы порвать эти нитки.

Наши дни не только дни борьбы, но и дни суда, не только дни слияния всех работников правды, свободы и чести в одну дружину непобедимых, но и дни разъединения со всеми, кто ещё недавно шёл в тылу армии пролетариата, а теперь, когда она одержала победу, выбегает вперед и кричит:

«Это мы победили! Мы – представители народа! Пожалуйста, давайте нам место, где бы мы могли сесть, чтобы торговаться с вами. Мы продаём русский рабочий народ – сколько дадите?»

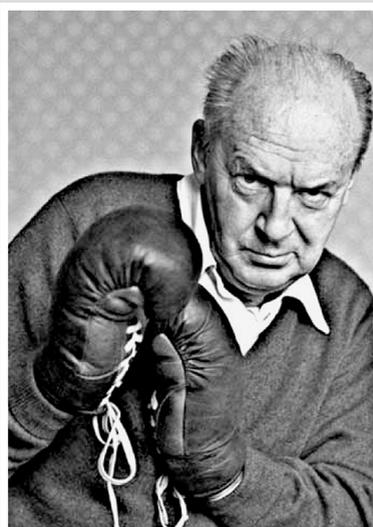
Они, вероятно, скоро продадут, потому что просят дешево...



Владимир НАБОКОВ

1899–1977

Русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед. Печатался также под псевдонимом Владимир Сирин.



Филистеры и филистерство

Филистер – это взрослый, сложившийся человек с сугубо материальными и обывательскими интересами, в основе его психологии – тривиальные представления и идеалы, традиционные для его социального слоя и времени. Я сказал «взрослый человек» потому что ребенок и подросток, кажущийся маленьким филистером, – всего лишь попугайчик, подражающий взрослым мещанам; быть попугаем легче, чем белой вороной. Понятие «мещанин» более или менее синонимично понятию «филистер», но, пожалуй, в мещанине главное – вульгарность некоторых его представлений о жизни, а в филистере – соблюдение общепринятых условностей. Можно воспользоваться также понятиями претенциозный и буржуазный. Претенциозность – это слегка прикрытая слоем культуры вульгарность, что по сути хуже, чем явная невоспитанность. Например, считается невоспитанностью – рыгать в обществе, но говорить после этого «извините» – претенциозно; а это ещё хуже, чем быть просто вульгарным. Понятие «буржуа» я использую во флюберовском, не марксистском смысле. У Флобера буржуазность – тип сознания, а не состояние кармана. Буржуа – это самодовольный филистер, исполненный чувством собственной значительности мещанин.

Маловероятно существование филистерства в первобытном обществе, хотя, несомненно, его зачатки обнаруживаются даже там.. Например, можно представить себе каннибала, который предпочитает поедать ярко раскрашенную человеческую голову так же, как американский филистер



любит, чтобы апельсины были оранжевыми, лососина – розовой, а виски – жёлтым. Но в целом почва для возникновения филистерства – смешение традиций в запутанный клубок на протяжении длительного развития цивилизации, приводящее к застою, источающему запах тления.

Филистерство – явление международное. Оно свойственно всем нациям и социальным группам. Филистером может быть как английский герцог, так и американский шрайнер, французский бюрократ или советский гражданин. Склад ума Ленина, Сталина и Гитлера, проявляющийся в их отношении к искусствам и наукам, был сугубо буржуазным. Чернорабочий или шахтёр могут быть столь же буржуазными, как и банкир, домохозяйка или голливудская звезда.

Филистерство включает в себя не только набор тривиальных идей, но также пользование стереотипами, клише, банальностями, выраженными в блеклых словах. У настоящего филистера и нет ничего за душой, кроме этих тривиальных представлений, он целиком состоит из них. Но нужно признать, что доля банальности есть в каждом из нас; в повседневной жизни мы часто используем слова как условные знаки, разменные монеты, шаблоны. Это не значит, что мы – филистеры, но это значит, что нам нужно остерегаться – не слишком втянуться в этот автоматический процесс обмена банальностями. В жаркий день каждый второй спрашивает вас: «Ну, как Вам погода? Тепло» – но это не означает непременно, что он – филистер. Просто он не вкладывает особого смысла в слова, а произносит их, как попугай или весёлый иностранец. Когда вас спрашивают: «Привет! Как поживаете?» – возможно, обычный ответ: «Прекрасно!» звучит как жалкое клише, но если вы начнёте подробно описывать свою ситуацию, вас могут принять за педанта и зануду. Нередко банальные выражения используются людьми как своеобразное прикрытие или заслон, чтобы избежать долгих дурацких разговоров. Я знал великих филологов, поэтов, ученых-естественников, которые в кафе опускались до уровня самого банального обмена любезностями.

Таким образом, типаж, который я имею в виду, когда говорю «самодовольный мещанин», – не частичный, эпизодический, а вполне цельный в своей завершенности филистер, претенциозный буржуа, законченный образец банальности и посредственности. Он – конформист, целиком вписывается в свою социальную группу, но ему присущи и иные характерные качества: он – псевдоидеалист, псевдострадаец, псевдомудрец. Фальшь – ближайший союзник настоящего филистера. Все великие слова – «Красота», «Любовь», «Природа», «Истина» и т. д. в устах самодовольного мещанина становятся личинами и надувательством. В «Мертвых душах» вы слышали Чичикова, в «Холодном доме» – Скимпола, в «Госпоже



Бовари» – Омэ. Филистер любит производить впечатление и любит, когда производят впечатление на него, и как следствие он сам создает и вокруг него возникает мир лжи, взаимообмана.

В своем неукротимом стремлении соответствовать общему ранжиру, принадлежать, присоединяться филистер разрывается на части: он хочет поступать, как все, восхищаться тем же, чем восхищаются миллионы людей, и пользоваться всем, чем пользуются они; но он стремится принадлежать и к избранному кругу, организации, клубу, какому-нибудь попечительскому совету отеля или океанского лайнера (где капитан весь в белом и замечательная кухня) и испытывает восторг от того, что глава корпорации или европейский граф сидят с ним рядом. Филистер – зачастую сноб. Его приводят в состояние душевного трепета богатство и титул: «Дорогая, я и в самом деле говорил с герцогиней».

Филистер не знает искусства и литературы, да и не интересуется ими. По самой своей природе он антиартистичен, но ему необходима информация, и он приучен к чтению журналов. Он – постоянный читатель «Сэтеди Ивнинг Пост» и отождествляет себя с персонажами.

Если филистер – мужчина, он узнает себя в обаятельном руководителе и любой важной шишке – холодновато спокойном, отмеченном особой печатью, но на самом деле славном малом, игроке в гольф. А если это филистерка, она увидит себя в яркой блондинке-секретарше, изящной девушке, в душе которой таится материнское начало, и, в конце концов, она выходит замуж за славного малого – босса. Для филистера все писатели – на одно лицо; на самом деле он читает мало, и лишь то, что считает для себя полезным. Но он вполне может быть членом клуба любителей книги и собирать прекрасные, действительно, прекрасные, книги – набор из Симоны де Бовуар, Достоевского, Маркенда, Сомерсета Моэма, «Доктора Живаго» – и знаменитых художников Возрождения. Его не слишком интересуют картины, но ради престижа он может повесить у себя в гостиной репродукции с картин Ван Гога или Уистлера, хотя тайно предпочитает Нормана Рокуэлла.

В своём тяготении к полезному, к материальным благам жизни он – лёгкая жертва рекламного бизнеса. Рекламные объявления могут быть и высокого качества – некоторые из них сделаны на художественном уровне – дело не в том. А в том, что они обычно играют на филистерском чувстве гордости от обладания вещами, будь то изделия из серебра или нижнее бельё. Я имею в виду объявление следующего типа: пусть появится в семье радиоприёмник или телевизор (автомобиль, холодильник, столовое серебро – что угодно). И вот момент их появления в семье: мама сжимает руки в изумлении и восторге, дети толпятся вокруг, сгорая от любопыт-



ства: самый маленький и собака тянутся к краю стола, куда, как на трон, водружён Идол. Даже бабушка, сияя морщинками, выглядывает откуда-то с заднего плана. И несколько в стороне, весело заложив большие пальцы рук за жилет, стоит торжествующий Папочка, или – Глава семьи, Гордый Даритель. Мальчишки и девчонки на этих рекламных афишах неизменно веснушчатые, а у малышей нет передних зубов. Я – не против веснушек (даже нахожу их привлекательными) и вполне возможно, специальное обследование установит, что у большинства американцев, родившихся в Америке, были веснушки, или, может быть, в результате другого обследования выяснится, что у всех преуспевающих руководителей и красивых домашних хозяек в детстве были веснушки. Повторяю, что не имею ничего против веснушек самих по себе. Но, думаю, использование их в рекламных целях – явление глубоко филистерское. Мне рассказывали, что когда по телевидению должен выступать мальчик-актёр вообще без веснушек, или маловеснушчатый, тогда ему пририсовывают веснушки. Минимум – двадцать две: по восемь на скулах и шесть на вздёрнутом носу. В комиксах веснушки выглядят как сыпь. В одной серии комиксов они кажутся кругами. Но если примерные смысленные мальчики изображаются на рекламах белокурами или рыжими с веснушками, то красивые молодые мужчины обычно темноволосы и всегда с густыми темными бровями. В рекламе происходит эволюция от шотландского типа к кельтскому.

Цель мощного филистерского начала рекламы – отнюдь не в преувеличении достоинств того или иного полезного предмета, а в стремлении внушить, что верх человеческого счастья – приобретение, то есть возможность купить счастье, а его покупка облагораживает покупателя. Конечно, создаваемый рекламой мир сам по себе довольно безвреден: все сознают, что его создаёт коммерсант, рассчитывающий на участие покупателя в этой игре. Занятно не то, что в мире рекламы нет ничего духовного, кроме восхищенных улыбок людей, предлагающих или поедающих божественные кукурузные хлопья или овсянку, или что это – мир, в котором чувства разыгрываются по буржуазным правилам, а то, что это – своего рода искусственно созданный, призрачный мир, постоянный спутник рекламной жизни, мир, в подлинность которого в глубине души не верят ни продавцы, ни покупатели, особенно в США – этой мудрой, спокойной стране.

У русских есть или было особое слово для определения самодовольного филистерства – пошлость. Пошлость – это определение не чего-то, явно негативного, а главным образом ложно значительного, ложно прекрасного, ложно умного, ложно привлекательного. Убийственный ярлык «пошлость» таит в себе не только эстетическую оценку явления, но и



моральное осуждение. Подлинное, искреннее, доброе исключает пошлость. Простой, незатронутый цивилизацией человек редко, а, пожалуй, и вообще не может быть пошлым, поскольку пошлость предполагает видимость цивилизованности. Крестьянину нужно стать горожанином, чтобы сделаться мещанином. Пёстрый галстук должен прикрыть честное адово яблоко, чтобы породить пошлость.

Вполне возможно, что культ простоты и хорошего вкуса в старой России и привёл к тому, что именно русские дали точное определение понятию «пошлость». В современной России, стране нравственных дебилов, улыбающихся рабов и убийц с бесстрастными лицами, перестали замечать пошлость, ибо Советской России присуще особое качество, сочетание деспотизма с псевдокультурой, но в прошлом Гоголь, Толстой, Чехов в поисках простой правды легко обнаруживали пошлую сторону явлений и дрянные системы псевдомысли. Однако пошляки есть везде, в каждой стране, в Америке, как и в Европе, хотя пошлость – более обычное явление в Европе, чем здесь, несмотря на нашу американскую рекламу.

Эссе опубликовано в книге: V. Nabokov. Lectures on Russian literature. / Ed. with an introd. by Bowers F. – N.Y.; L. Harcourt Brace Jovanjvich, 1981. – P. 309–314.

Точная дата его создания не указана, но, судя по рекламному плакату 1950 г., выбранного Набоковым для иллюстрации феномена «филистерства» и по упоминанию романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» можно предположить, что оно было написано в середине пятидесятых годов, ибо в 1958 г. писатель отошел от преподавания.

Примечания:

Шрайнер – член масонского общества.

«Сатеди Ивнинг Пост» – популярный американский журнал.

Маркенд Джон Филипс (1893–1960) – американский писатель.

Уистлер Джеймс (1834–1903) – американский живописец, близкий французскому импрессионизму.

Рокуэлл Норман (1894–1978) – американский художник, иллюстратор популярных женских журналов и «Сатэди Ивнинг Пост».

Перевод, публикация и комментарии Т. Н. Красавченко.

Опубликовано в издании:

РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ. Сборник обзоров и материалов. Выпуск первый. – Москва, 1991. АН СССР. Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН). Стр. 238–244.



Дмитрий Мережковский (1865–1941)

Прозаик, поэт, критик, публицист, переводчик, литературно-общественный деятель. Один из ярчайших представителей Русского Серебряного Века.

Цветы мещанства¹

...

III

В салоне одной французской писательницы, по происхождению русской, *Ivan Strannik*², давней жительницы Парижа, которая, кажется, одна во всем этом городе пытается соединить воду с маслом, русских с французами, я познакомился с А. Франсом. Любезная хозяйка пригласила знаменитого гостя нарочно для меня. Но, по непростительному русскому варварству, я опоздал, приехал после Франса.

Помните в одном из рассказов Чехова того нежного мальчика, похожего на девочку, у которого мягкие движения, мягкий голос, мягкие льняные кудри, мягкие, ласковые глаза, мягкая бархатная курточка? Этого чеховского мальчика напоминает Франс. Весь мягкий-мягкий, ласково-пушистый, нежно-бархатный. Когда долго смотришь на него, то как будто проводишь рукою по серебристо-серому бархату. Но впечатление этой внутренней мягкости не исключает внешней четкости, твердости безукоризненно изящного, как бы изваянного, облика. Старчески-прекрасная серебряно-седая голова с благородным, как на древней флорентийской

¹ Д. Мережковский. ГРЯДУЩИЙ ХАМ. М. «Республика», 2004, стр. 300–302.

² *Ivan Strannik* – Анна Митрофановна Аничкова (1868–1935) – прозаик, критик, переводчица.



медали, отчеканенным профилем. Такими могли быть добрые старые придворные доброго старого короля Генриха IV.

Со мною были друзья мои, тоже русские; с Франсом – его неразлучная многолетняя подруга, очень умная, светская женщина в духе XVIII века, полуеврейка, полуфранцуженка. В ее доме у них общий салон. Франс женат, но жены его никто не знает.

Хозяйка постаралась было завязать общий разговор о русской литературе, о Л. Толстом и Достоевском. Но оказалось, что Франс к Толстому равнодушен, а Достоевского не любит. Из вежливости он этого не сказал, но можно было догадаться, что ему, совершенному классику, русская мистика претит, подобно всякой чрезмерности, и едва ли не кажется «дурным вкусом». Разговор не клеился: тщетно милая хозяйка через пропасть, разделявшую нас, перекидывала любезные мостики-радуги – мы по ним ступать не умели, проваливались.

Кажется, впрочем, и Франс неохотно разговаривает, слушает других; зато любит слушать себя. И упрекать его за это не хватило бы духу. Когда он говорит, слушаешь – не наслушаешься, как будто в горле у него скрипка Страдивариуса или тот соловей, который в сказке Андерсена услаждал своим пением предсмертные муки китайского императора. О каких бы пустяках ни говорил он, речи его – лакомство богов; какие бы горькие истины ни высказывал, они в устах его полны амброзиею сладостью. Когда же вспоминаешь, что было сказано, то видишь, что почти ничего почти ни о чем; все тает, как пена, – но не та ли пена, из которой родилась богиня вечной прелести?

По поводу сборника своих политических речей он признался, что произнесение хотя бы самой коротенькой речи перед собранием для него истинная пытка, что он уже за несколько дней волнуется, теряет присутствие духа и, выступая на эстраду, робеет, как школьник.

- Увы, я не рожден оратором, – заключил он с шутиливою грустью.
- Зачем же вы себя мучаете?
- Что делать? Надо чем-нибудь служить общему делу.
- Социализму? – спросила хозяйка, подмигнув нам.
- Ну да, конечно. А вы, кажется, в мой социализм не верите.
- Не совсем.
- Почему?
- Да хотя бы потому, что вы величайший из скептиков, какие когда-либо были на свете, – подхватил кто-то из нас. – А как соединить сомнение с действием? Как делать что-нибудь, не веря в то, что делаешь?
- Делать нельзя, но можно играть, – ответил Франс. – Борьба политических партий для меня исполинская игра в шахматы. Да и все дела челове-



ческие разве не игры? Боги с нами играют – в этом наша трагедия; будем же и мы играть с богами – может быть, тогда все наши трагедии кончатся идиллией. Тот, кто во всем разуверился, усомнился во всем, извлекает невинную легкость и сладость божественных игр из всего. «О как сладостно покоиться на подушке сомнений».

Бесконечной прелести в тихой улыбке, с которой он произнес эти слова Монтеня, я никогда не забуду.

Да, подумал я, игра во всё, усмешка на всё, сомнение во всё – вот последняя мудрость мещанства. Созерцание соответствует действию, Франс – Жоресу. Как некогда бунт политический претворился в мещанский либерализм, так ныне социально-экономическая революция претворится в мещанский социализм. Эволюция сильнее революции, тишина сильнее бури – вот непобежденная, может быть, даже в той плоскости, где доньше происходит борьба, непобедимая правда мещанства. Клемансо понял бы Франса, Франс примирил бы Клемансо с Жоресом.

Что в одном, то и во всех; что наверху, то и внизу. Там, на площади Республики, в черной толпе и в розово-голых, смеющихся свиньях – глубокий чернозем, жирный навоз, а здесь – благоуханный цветок, как бы мистическая роза мещанства.

Абсолютное мещанство – абсолютное свинство. Полно, так ли? Вся золотая жатва культуры – наука, искусство, общественность – не из этого ли мещанского навоза выросла? Нет ли праведного, мудрого, доброго, святого мещанства? Кто его не ругал и кто победил?

Слишком часто теперь у нас в России европейское мещанство отрицается не во имя нового благородства и всемирной культуры, а во имя старого русского варварства и нового русского хулиганства. Но если нужно выбирать из двух зол меньшее, то ведь, пожалуй, мещанство лучше хулиганства.

Иногда кажется, что русская революционная общественность дала Ганнибалову клятву победить или погибнуть в борьбе с мещанством культурного Запада, не имея на то права свыше. Пора, наконец, подумать об этом праве, понять, что антирелигиозную пошлость мещанства можно победить только религиозным благородством.

Верим, что оно сойдет на русскую общественность, и если тогда Россия окажется против Европы, мы против них, – пусть: может быть, тогда-то именно последние будут первыми, не для того, чтобы надо всеми возвыситься, а чтобы послужить всем.



Александр Матвеев
Кипр, Лимассол

*Капитан дальнего плавания. Прозаик. Поэт.
Член Союза писателей России. Лауреат
Премии им. Роберта Рождественского и ряда
творческих фестивалей. Действительный
член Академии Российской Словесности.*



Этот дом сумасшедших – фейсбук

Под утро Мареев, почувствовав какую-то тревогу, внезапно проснулся. Пять часов! Скоро-скоро птицы запоют, улица наполнится звуками машин, голосами кипрских мужчин, громких и экспрессивных. Хорошо! И пока ещё ни шума, ни завывания ветра. Из окна – море тихое, на рейде Лимассольского порта – суда в ожидании швартовки, на горизонте – несколько рыбацких шхун. пляж необычно пуст, туристы спят; а бывало – некоторые чудачки в это время уже выходили на пробежку... От берега выскользнула на воду тень, и устремилась к волнолому. Как это возможно? «О, так это кто-то стоит на доске, гребёт одним веслом... Сапбординг, называется». В отблеске лунного света видением казался мужчина на сапборде в широкополой шляпе, с рюкзаком за плечами... Вот он добрался до камней волнолома и взбирается на них. Похоже, что рыбак...

Красота! Ранняя весна здесь, на Кипре, как в России на Владимирщине в конце мая... Температура днём за двадцать пять переваливает, пора купаться, загорать, наконец-то почувствовать всеми «фибрами души» апрельское лето. словно пробка из бутылки шампанского – весна вылетела, не оставив памяти о себе, но Мареев тут же возразил, – оставила, оставила... Разве Ираида Пронская из Коврова не запросилась в друзья через фейсбук? Женщина – приятная, хотя на фото выглядит расфуфыренной, и, кажется, пытается обольстить его или «развести» на дружбе? Эка, важная птица! Муж – из князей Пронских, ведущих свой род с тринадцатого века...



Но фейсбук – это не поместье князя, куда не каждый доступ имеет. В фейсбуке – встречи быстрые и расставания скорые. Нажал кнопку и, если подтвердили, ты – в сообществе помешанных на обмене информацией. Не нравится новоиспечённый дружок, устрани его на веки вечные кнопкой. Но если ты уже «в домике», то – на коне: доберёшься куда надо и встретишь кого угодно. Написал что-то в своей Ленте и тебя читает полмира, – ведь любителей заглянуть на чужую страницу пруд пруди. И ты читаешь посты друзей, иногда можешь заглянуть в гости к незнакомцу, если его дверь открыта. Такая опция есть, а к фейсбушному другу заходишь легко, не стучась. Меньше года, как Мареев включился в игру, а у него уже больше трёхсот не закадычных, но всё ж солидных друзей; почти каждый день у кого-то из них день рождения; забыл – фейсбук напомнит, как вот недавно о Всемирном дне поэзии: поздравления, поздравления... Иногда с непонятным подтекстом. Для некоторых поздравителей Мареев – не поэт, а финансовый эксперт – тоже не фунт изюма вам, хоть и не из княжеского рода...

Словно из затерянных космических миров, послышался какой-то вкрадчивый шорох и отвлёк от утреннего созерцания мира и осознания себя... Показалось – что-то происходит в рабочем кабинете, запараллеленном со спальней. Что за звуки? – в квартиру, закрытую на задвижку изнутри, никому не войти. На балкон тоже не попадёшь, но определённо в кабинете кто-то был.

Мареев с опаской вышел из спальни и резко дёрнул дверь – никого! Но экран-то к ночи забытого компьютера светился! Как это, по чьей воле могло случиться!? Мареев взглянул на монитор и застыл! Не может быть! Он – в чате и ведёт беседу с Ираидой Пронской, хотя сейчас стоямя стоит и ничего не пишет. Но явь есть явь: обмен приветствиями, вопросы Ираиды, Мареев читает свой пространственный ответ... Фантазмагория! Ведь кто-то от его имени выступает в фейсбуке. Однофамилец? Двойник виртуальный?

Переписка начиналась, как ни в чём не бывало, с приветствия Ираиды Пронской, но, ёшкин кот, казалось, что его мозг кто-то протирает фланелевой салфеткой, словно нумизмат монету:

– Всеволод, здравствуйте! Поболтаем?

И ответ, якобы, его, Мареева, из давнего сновидения:

– Приветствую вас, Ираида! Почему – нет? Конечно – да!



На синем фоне белые слова и ничего с ними не поделаешь. Да проснулся ли он? Выглянул в окно – море, сапбордист-трансформер разоблачается, взошло солнце и висит в небе красным диском, но пустота и безлюдье... – это реальность. А на мониторе что за чушь? Кто сидит там, в этом ящике или где-то ещё, и отвечает Ираиде за него? А что, если это компьютерная версия его, Всеволода Мареева? Ведь научились уже сложнейшие комплектующие детали к роботам разрабатывать на компьютере и распечатывать на принтере! Мареев как-то читал, что доктор Ванесса Диаз из Лондона, экспериментируя, создала виртуальную версию больного, такого человечка, сидящего внутри компьютера? Для чего, кому понадобился его виртуальный двойник? Как-то не по себе стало, Мареев готов был включиться в эту переписку и заявить о себе, настоящем...

На экране монитора, в сером окошечке черными буквами появилось её послание – женщины ли?

– Вы пишете стихи, Всеволод? И прозу? Это так? Сама я – тоже писатель, профессиональный. Сейчас пишу сценарии для ТВ. Тяжелейшая работа. А обо всём остальном можете расспросить Ксюшу, нашего общего «дружочка». Как она вам? Не влюбились ещё в красавицу? А с Розой встречаетесь?

Мареев опешил от натиска женщины, вторгшейся в его жизненное пространство, да ещё при их, что называется, «шапочном знакомстве». Так бесцеремонно внедряться в его жизнь?! Его руки непроизвольно потянулись к клавишам, чтобы тут же дать отповедь закулисной мадам. Но уже высветились его ответные строки. Его ли? С ума сойти можно! Он или, точнее, его двойник Виртуал, как в уме прозвал его Мареев, отвечал скучно, подробно и длинновато. Плюнуть бы на всё это, но ему очень хотелось узнать, чем всё закончится...

– Ираида! Я посмотрел в интернете ваш послужной список.

Впечатляет количество написанных вами книг. Обязательно найду и буду читать. Да, я пишу рассказы и стихи. Есть кое-какие награды, но я отношусь к ним иронично. Сел за стол, и пиши, – причём здесь награды?

Вашу знакомую Розу, сестру Ксении, знаю, но не очень, встречался с ней на Кипре пару раз по делу и без дела. Я не могу назвать её своим другом, но и ничего против неё не имею. Ксения мне ближе, хотя мало её знаю. Насчёт влюбиться в неё, ну, вы и замахнулись! У меня столько друзей-женщин! И что?



Спустя какое-то время увидел на Ленте ниже письма подтверждение даты «22 марта, 06. 21», что означало – Ираида прочитала! И замигал, замигал точками чат, показывая, что женщина отвечает ему.

«Скорая на ответ, уже строчит! Посмотрим, голубушка, как ты на это среагируешь! Врёт, врёт тебе Виртуал, готов я влюбиться в Ксению, если уже не влюбился...»

– Зачем – во всех, Сева? В одну, в одну влюбитесь! А вообще-то, бывает, что писатель влюбляется в своего героя. Мужчины склонны из любимых ваять сказочных героинь, посвящать им стихи и оды, – утрамбовывала тему Ираида.

Ответ Ираиды – женское понимание любви – рассердил Мареева, но зато сподвиг Виртуала на пространные рассуждения о писательстве:

– Я использовал образ Ксении в моём рассказе как прототип одной из героинь. Не знаю, как она к этому отнесётся, если прочитает рассказ и узнает себя? Конечно, проза – не пересказ жизни наших соседей или знакомых... Прежде всего – это фантазия писателя. Понимаете? Реакция на образы реальных людей, бывает, иногда и не совсем адекватная. Как-то человек, прочитав мой рассказ в рукописи, стал учить меня и подсказывать, как следовало построить повествование. В другом рассказе я взял за прообраз героини Манану, грузинку из Лимассола, поведав историю любви и предательства. Так, она собрала всех своих подруг на Кипре, и они читали историю вслух. После прочтения женщины наперебой принялись выкрикивать, что их мужья, в отличие от главного героя, неспособны на предательство... Чужая душа – потёмки, да ещё какие: хотя есть женщины, у которых душа – нараспашку, светится.

Мареев опустил на стул. Этот Виртуал довольно точно отражает его мысли. Но как длинно, монотонно он пишет. Но вот, что интересно – Виртуал ловко скрывает отношение Мареева к женщине. Ксюша... Да, было дело – он познакомился с ней в самолёте, рядом сидели, и потом ещё пару раз встречались, в таверне обедали... Стали друзьями там же, в фейсбуке, на странице Ксении, он встретил Ираиду Пронскую. Предложила подружиться... Да, что же это такое? Кто в фейсбуке действует под его именем? Ираида отвечает ему, Марееву! Неужели и вправду – это происки Виртуала? Но кто? Кто создал Виртуала?

Обескураженный Мареев не знал, что и думать. Почему он или его виртуальный двойник оправдывается, – влюблён – не влюблён в Ксению?



Какое её, Ираиды, дело? Хотя Ксюша Левандовская – с виду очень даже чувственная дама! И, положила руку на сердце, нравится ему, да...

У иных женщин прямо звериная интуиция, сразу определяют соперниц! Ишь, засуетилась Ираида... Ещё ни разу не встречались, а уже пытается какие-то свои права на него, Мареева, заявить... Иначе – зачем эти вопросы?

Но ведь это не он, реальный человек, отвечает Ираиде. Чертовщина какая-то! Вот его страница в фейсбуке, вот его послания Ираиде... Это его статусная фотография. Да, – он на фотографии, он! Вот Ираида, чернявенькая дама за сорок! Этот Виртуал очень похож на него, – изъясняется... Хотя переписка «в личку», но всё-таки вдруг дойдёт до Ксении? Да и эта самая Ираида рада будет сообщить ей. А как потом разобраться, где он, Мареев, а где Виртуал?

«Какого чёрта лебезишь перед этой бабой? Какое ей дело до моих отношений с Ксюшей! Подозрительно это...» – прикрикнул Мареев на Виртуала, как будто тот сидел перед ним и прислушивался к его мыслям.

Ему показалось, слышится из-за экрана монитора потусторонний ответ: «У этой сценаристки фантазия зашкаливает!».

На экране появились новые строчки ираидиной риторики:

– Сева, я рада, что вы – творческий человек. У меня, конечно, нет такой популярности, как у вас. Поклонники и поклонницы иногда пишут мне, но... Редкий случай, когда хочется с кем-то сдружиться, погулять-выпить. Розу и Ксюшу мы с вами уже обсудили. Ксюша мне тоже намного ближе. А вот на Кипр я не поеду – ни за что! Ведь это Остров брошенных жён. Так считают женщины в России. И страшно, – однажды Роза выслала мне фотографии своего сада, на одном из снимков была огромная чёрная гадюка. Роза сказала, что на острове гадюк много. Не люблю я змей! Да и жаркий климат мне не подходит, а ещё на острове какие-то сумасшедшие ветры, то ещё что-то экстремальное случается: пожары, взрывы...

А вы – молодец!

«Вот-вот, я уже для неё Сева! Да пошла ты вон со своими рассуждениями о поклонниках и поклонницах! – разозлился Мареев, – Не хватало ещё с тобой гулять-выпивать?! Сама ты – та ещё гадюка!» Словно пересохший сорняк с грядки, Мареев вырвал электрический шнур из розетки, пощелкал кнопками, чтоб отключить компьютер от блока питания, и лёг спать. В последний момент пытался вспомнить что-то важное, но провалился куда-то в тартары.



Фантастичные монстры с уродливо выпученными глазами и зубастыми акульими пастьми лезли к нему с поцелуями... Чешуйки панцирей этих уродин лязгали и щёлкали при их движении и люминесцировали... Особенно донимала одна гадина со светящимися буквами «FB» на лбу... Мареев увёртывался от неё как мог, понимая, что если она присосётся поцелуем, то втянет его в себя, и живым ему уже не выбраться.

«Ираида!» – вырвалось у него от ужаса. Но нет – никто его не видит, не слышит и не ответит ему никто. Музыка – сплошной металлический грохот; чернявая толстая рэперша, выпучив глаза, истошно выкрикивает слова, видимо, вкладывая в них понятный только ей зловещий смысл:

Океан бурлит, словно нутро его пучит,
 Пена клубится, ползёт и рычит;
 Реки солёные, грохот излучин;
 Камни белеют глухих городов...
 Птицы на скалах овцами блеют,
 Мечется горлица в небе пустом,
 Ветры песчаные с Запада веют, –
 Хаос застал твою душу врасплох!

И он запаниковал во сне: «О чём она? Конец света? Компьютерные чудища победили человечество и правят на Земле? И нет ничего живого вокруг, кроме его, Мареева, души, и мечется она птицей в пустынном небе? А люди где? На другой планете? Западные ветры?.. Как понимать? От грохота музыки, от визжащего рэпа заложило уши, но осталось ощущение, что его голову сверлят... Как спастись? И Мареев непроизвольно принялся во сне шептать: «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достоинство Твое; победы православным на сопротивных даруя...»

Проснувшись в липком поту, весь дрожа, Мареев услышал стрекот сороки в кабинете, – компьютер действовал, хотя на экране – пустошь. Но как только Мареев впихнул вилку в розетку, всё восстановилось в жанре принятого «трёпа», ответ Виртуала Ираиде оказался мягким и покладистым:

– Ираида, насчёт безмужних жён на Кипре, о, как вы правы! Но и мужчин-киприотов тоже много, как много на острове и змей. Мужчины всегда готовы оказать внимание даме. Общительные и весёлые, они ищут женщин, бледнолицых и белокурых. А змей хотя и много, но их редко видишь – они прячутся от кошек... А котов не боятся, – те уж очень ленивые, чтоб за змеями гоняться. Я в прошлой жизни – тоже кот!



– Некрашенная шатенка – это я! Значит, не грозит мне внимание мужчин-киприотов. И сама я из породы кошек, любопытно, что коты у вас бродят сами по себе...

Виртуал тут же среагировал в своём скучном стиле:

– В древние времена царица Елена, мать императора Константина Великого, отправилась на Святую Землю, чтобы найти Животворящий Крест. На обратном пути посетила Кипр. Увидев, как много опасных змей на острове, она приказала доставить на Кипр целый корабль кошек, чтобы те уничтожали гадюк. Вот кошки и расплодились на воле, живут сами по себе. Я даже описал одну в рассказе «Рыжий котяра». У Розы, как я помню, котов нет, а гады плодятся. А в остальном всё хорошо, даже климат замечательный на острове! Жаркие месяцы – с середины июля по сентябрь. Зима – комфортная, я купаюсь в море! Цветы – круглый год, фрукты. В горах прохлада в жаркие полдни. А виды какие! Диво дивное...

Не зря Виртуал повторял известную на Кипре побасенку о появлении мурлыкающей братии на острове; но Ираиде хотелось доверительного разговора не о кошках, а о мужчинах, пропади она пропадом со своей болтовнёй:

– Так, что же, кипрские мужчины – ненадёжные мужья?

– Нет, я бы сказал, они хорошие мужья, любят семью, детей, своих жён редко оставляют. Зачем? Жена – для дома, любовница – для улады! А наши сперва жён привозят на остров, а потом обзаводятся юными подружками и оставляют стареющих северянок – такое вот своеобразное хобби у внезапно разбогатевших мужчин – бросать надоевших жён и жениться на молоденьких секретаршах.

«О, этот Виртуал, на что-то намекает Ираиде! Проговорился, голубчик! Я-то ничего такого о ней не знаю», – думал Мареев, да не мог пока додуматься, что за намёк?

– Вы меня уговорили, Сева! Готова я для визита дружбы, но без мужа, а то вдруг уведут там моего князя Пронского, – поддакнула Ираида.

– Приезжайте, Ираида! На Кипре – «вечное лето». Я встретил здесь много друзей, и с Ксенией познакомился, летели вместе и вино пили, а через неё – уже с Розой, и вот... теперь с вами.



Экран монитора стал почти бирюзовым! Раздражённый репликами Виртуала Мареев окликнул его громко: «Виртуал, прекращай болтать с этой женщиной! Не видишь разве – она тебя раскручивает на откровенность, а ты развесил уши и веришь ей, этой прожжённой сценаристке! Судя по дурацким сериалам на ТВ, вот такие, как эта Ираида, и пишут высосанные из пальца сценарии. Ксюша, Роза!.. Что ты о них знаешь? Почему распинаешься, дифирамбы поёшь?»

И в ответ голос, как будто из небытия: «Женщины они, и тем – правы!»
А на экране появился ответ от Ираиды:

– Сева, видно, что вы – молодец и большой жизнелюб! Нет, пока не могу на Кипр прилететь. Средств нет, чтоб вот так... круглый год. Ксюшу туда муж отправляет пожить, Роза как-то по-своему устроилась в этом мире... как могла... А я – наблюдатель, хотя и почти классик мировой литературы, как выражается Ксения, ваша любимица!

«Ишь хитрая какая! Денег нет! Зато князь-муж есть! – комментировал Мареев «фланговый маневр». – Похоже, она завидует Ксюше и Розе!»

А интернетный Виртуал гнул свою линию. Гнул, но осторожно, – этакий дружелюбный мужчина, раздающий бесплатные советы понравившейся женщине:

– У вас на Кипре, Ираида, теперь друзья: та же Роза... Значит, остановиться есть где. Проживание (питание и прочее) на острове дешевле намного, чем в Москве. И главное – солнце бесплатное, море бесплатное, пейзажи – великолепные, любуйся – не хочу; остров благолепия, – подарок Царя Небесного. Возможно, здесь ещё не ступала нога жён потомков князей Пронских... Первой будете.

«Какого чёрта распинаешься, идиот?! Зачем тебе этот молодящийся «классик мировой литературы» на Кипре?», – шерстил в сердцах себя Мареев. Хотя тут же пожалел, что так нелюбезно отозвался о даме, не молодой, но всё же...

– Сева, время покажет, может, меня и занесёт судьба на Кипр. Но у Розы я жить не буду, мы же ни разу не виделись, да и не не молоденькие – у каждой свои привычки и моменттики. Зачем же стеснять друг друга?

– А я? Разве я не ваш друг, Ираида? – тут же нашёлся Виртуал.

Мареев от возмущения аж подпрыгнул на стуле:



– Ты что? Приглашаешь её на Кипр? На кой ляд она мне здесь, эта баба? Я не подписываюсь под этакой прокламацией!

Но Виртуал продолжал убеждать, возможно, самого себя:

– Приезжайте, Ираида. Я сниму для вас номер в гостинице. Вместе похотим по вечернему Лимассолу. Я не люблю один ужинать в тавернах, и делаю это редко, только с собутыльницами. Я – сам себе повар, придумываю меню. Например, беру местные овощи, мелко режу и варю в большой кастрюле. Затем добавляю крупно порезанную рыбу...

Вообще я по жизни не наблюдатель, а участник... Всё новое люблю пробовать – и на вкус, и на ошупь. Удовольствие! Экстаз, приправленный вином!

– Что же ты врешь?! – вскричал Мареев, – Я почти не пью! А ты – «с собутыльницами!!!»

Хотя словечко «собутыльницы» возмутило, но следует признать: этот Виртуал знает обо мне всё. Получается, что он – это я, а я – это он! А я ничего не знаю о нём. Откуда он взялся? Ему даже известно, что я люблю рыбный суп!!!

Потом до Мареева дошло, что Виртуал знает и о его тайной страсти к Ксении Левандовской! А если разболтает? Ведь этот фейсбук – словно большая старая коммуналка... Да что там коммуналка! Сумасшедший дом, в котором никто ничего не скрывает, все и всё – на виду. Что с сумасшедших взять – говорят, что на ум придёт!

«Нет, нет... В фейсбуке люди искренне делятся своими мыслями, – возразил сам себе Мареев. – Что взять с Виртуала, двойника, и куда посадить или поставить в какой угол?.. Хитрит, ловчит, отделяется витиеватыми фразами, на мою ругань не реагирует, а чешет правду-матку, и не поймёшь – откуда и почему, ведь краснеть не умеет. А Ираида – чертовка...»

Но дальше, словно чувствуя нечитаемые мысли, сама Ираида прервала Мареева, продолжая ворковать в чате, как ни в чём не бывало:

– О рыбе с овощами вы очень вкусно написали, Сева! Лето я обычно провожу на своей даче, на Владимирицине. У нас такой уклад жизни – живём всей семьёй в лесу, у реки, и принимаем гостей. Вы же так далеко, что никогда не доедете до нашего леса... Да будет вам известно, у князей Пронских всегда были большие семьи. Вот я и кручусь, как белка в колесе. Так что, наш с вами Кипр пока ещё только в образах можно представить – далёкие и незримые планы...



«И слава Богу, что – далёкие!», – вздохнул с облегчением Мареев.

– Удачи вам, Ираида! Если боитесь кипрских змей, то я готов вместе с вами полететь на Сейшелы или на Мальдивы, и – с превеликим удовольствием. В творческую командировку! Как вам эта идея, Ираида? Приглашаю вас! Возможно, в четыре руки напишем роман о любви, рождённой в фейсбуке? – продолжал изощряться в словесном блюде Виртуал.

«Свинья, – не выдержал и закричал Мареев, – Кто тебя просит? Мне Ксюша по душе!»

Но призраки из фейсбука то ли слышали, да не слушали, и вели свою игру.

– Спасибо, Сева! Заманчиво! Может быть... Всё может быть когда-нибудь... У вас, как я вижу по фейсбуку, бурная жизнь?

– Так я же моряк! Капитан дальнего плавания!

«Виртуал ты, а не моряк, – возмутился Мареев, – это я – капитан дальнего плавания! А тебе, кроме Ираиды, ничего не светит! Разве только какое-нибудь озеро Злыдарь из владимирской глубинки!»

– И, чувствую, не раз брали объекты на бордаж! Шалун! – игриво предположила Ираида. – Но Розу почему не любите? Может быть, я не люблю ваши стихи или прозу?

«Начинается... Да она уже готова! Ей уже хочется, чтобы её взяли на бордаж, что ли? Эка, дурёха-писательница!»

Мареев собрался было выключить компьютер, но любопытство, опять приковало его, взбешённого и негодующего, к монитору. А дама вовсе кокетничала в чате – без длинных пауз, словно навсегда там поселилась.

«Ух, и жуть – египетская сила!», – ругнулся в сердцах Мареев

А Виртуал – само терпение:

– Конечно, может быть такое! Всё может быть и ещё сверх того.

Даже с Пушкиным было, а Гоголю собственное сочинение опротивело... Предположение, что я не люблю Розу – ваше творчество... Хотя в этом что-то есть! Роза – сродни роману, стоящему на полке много лет и ещё даже не разрезанному.



«Обалдел Виртуал, что ли? К чему эти слова о романе? Что я – собираюсь читать эту книгу?», – негодовал Мареев, сжимая и разжимая кулаки. А сценаристка продолжала вести разговор по своему сценарию:

– Сева, у меня в друзьях есть писатель Анатолий Головкин, давно живёт в Израиле, в кибуце. Полюбопытствуйте заглянуть к нему на страничку в фейсбуке, – вот его проза мне нравится. А вам? Если ваша проза похожа на его вещи, то есть шанс и у вас говорить со мной как с коллегой.

О Ксюше вы всегда говорите возвышенно, среди нас, троих, она самая красивая. А с Розой, что не так?

«Напрасивается на комплимент? И с Розой носится, как дурень с писаной торбой... Какой-такой Головкин? Это так она кирпичи кладёт в постамент своего «я» – с челядью внизу типа Головкина... Что же ты так обмишурился, Виртуал долбаный?», – злорадствовал Мареев.

А Виртуал продолжал разглагольствовать:

Мне всегда интересен другой человек, в особенности, женщина. Для меня – это другой мир, неразгаданный, таинственный и часто непонятно сложный. У меня нет друзей среди писательниц и поэтесс... А почему? И для меня загадка... Что касается женщин, то каждая из них красива по-своему! Вспомните историю Черубины де Габриаки!

«Придурок, что ты так расшаркался перед этой псевдокнягиней? Ишь, на банальности перешёл: «Каждая женщина красива по-своему!», передразнил себя, виртуального, Мареев и добавил: – А Лилю Дмитриеву зачем приплёл? На дуэль поэтов Волошина и Гумилёва намекаешь?» И правда – что за намёки? Возможно, Ираида – хромая, а Виртуал знает об этом? Или Ираида – фейсбучный фейк?

Но тут покоробил очередной перл писательницы:

– А если дама весит сто кг? Она хромает от артрита, у неё вставная челюсть, по ночам храпит, как пьяный одесский биндюжник? Зачем же говорить, что некрасивых тёток не бывает? Я – за реализм. Понимаете?

–...И такая женщина – не монета дорогая, затёртая, музейная, а человек! – не остался в долгу у партнёрши Виртуал.



Диалог в чате затягивался, сплошные унылые банальности, морось... Мареев приготовился закрыть фейсбук и выключить компьютер. Но мадам Пронская выдала такое, от чего он аж подпрыгнул на стуле:

– Да, я вижу людей насквозь, от этого и страдаю. Вам, Мареев, меня, наверно, не жаль – нисколечко...

Марееву почудилось, что где-то там, под владимирским Ковровом, навернулась слеза горячая, и из выпуклых коровьих глаз покатила по одутловатой щеке...

Экран компьютера окрасился в какой-то жгуче коричневый цвет. «Ну, тётка даёт! Да кем она себя возомнила? Ясновидение?! – подумал с возмущением Мареев, и тут же, не выдержав, вскричал: «Виртуал, выдай ей как следует, чтоб не зазнавалась эта сработанная из камня и дерева статуя с коровьими глазами!»

И опять тот же голос, беззвучный, но явный, словно в собственной голове родился: «Капитан, имей терпение!»

А Виртуал с прежним пылом уламывал Ираиду:

– В этой жизни общение свободолюбивых дорогого стоит, проницательная вы наша! Наша! И мне очень хочется встретиться с вами, посмотреть в глаза... Остальное – суета сует, и всяческая суета, – не раз я убеждался в этом. Хорошего дня вам, Ираида Пронская!!

«Мог бы и похлеще ей ответить! По-моему ты, друг мой, Мареев из компьютера, уже почти раскусил её! Беспардонная особа! Из тех, кто чуть ли не княжеского рода с патентом! Прохиндеи! Но зачем, зачем ты предлагаешь ей встречу?» – Мареев был готов придушить этого болтуна из фейсбука, – иначе ему самому, что ли, надо удавиться?

Целый день Мареев находился под впечатлением переписки его виртуального двойника с Ираидой Пронской с клязьминского пляжа! И голос? Такой знакомый, слегка надтреснутый, очень похожий на его, Всеволода, голос.

Днём Мареев опять зашёл в фейсбук. Текст предрассветной беседы с Ираидой сохранился. Чудеса в решете!

Весь тревожный и суетный день доставали мысли об Ираиде, Виртуале... После захода солнца он долго гулял на набережной Лимассола, что-бы сон нагнать, но всё равно спал плохо. Опять приходила Ираида в сиреневом пеньюаре, толстая, килограммов под сто, с распущенными чёрными



волосами, величаво-спокойная, как Будда. Сидела у изголовья и посыпала его голову пеплом. Мареев физически чувствовал, как пепел невероятным образом проникает в его мозги и оседает на них сизой пылью. Но вдруг Ираида подняла голову, закатила глаза и ликующе завывала волчицей:

Уваууууу, уаууууу...
Сегодня океан вернулся,
Наступает вода, тонут города...
Уаууууу, уваууууу...

Слушать это жуткое завывание было невозможно, и Мареев в ужасе вскочил с кровати.

Пять утра...

Несмотря на ранний час, он оделся и, не заходя в кабинет, отправился куда глаза глядят. Шёл и, потирая голову, выборматывал одну единственную фразу: «Не одно, так другое... К чему эти ужасные сны?»

Дул свежий весенний ветер, не сильный, но на море образовались барашки.

Мареев и его старинный друг Михалис обедали на веранде таверны, вблизи лимассольского отеля «Элиас». Безмятёжное настроение. Весна и на Кипре – весна, мировая и неповторимая! Несколько деревьев у таверны покрыты нежными бело-розовыми цветами. В море, вблизи берега – сап-бордисты.

– Михалис, а ты умеешь на доске кататься, как вон те ребята?

– Мне – зачем? Бесполезное дело. И легко скovyрнуться с доски в воду. Путешествие из опасных, далеко в море не поплывёшь. Рискованно.

– Ты прав, Михалис! В море ведь и акулы встречаются, и разные другие морские гады...

Мало-помалу разговор переключился на фейсбук, и Мареев рассказал другу о странном приключении – встрече с неизвестной писательницей Ираидой и с неким существом, вступившим с ней в переписку от имени Мареева. Куда делось благодушное настроение Михалиса, – он посуровел, озабоченно сказал:

– Всеволод, фейсбук – не такое безобидное место, как нам может показаться. Предполагаю, что в интернете специально выделена такая площадка, где собраны нужные кому-то люди. Легче манипулировать ими через дружбу и разные чаты. Это – изобретение дьявола, не иначе, – виртуально-го или земного; всего там намешано, каждой твари по паре, как говорится:



спецслужбы, хакеры и просто виртуальные хулиганы. Возможно, эта «сценаристка» использует фейсбук для поиска героев своих опусов? Глядишь, потом появится в том же интернете какой-нибудь сериал с соответствующим названием: «Этот дом сумасшедших – фейсбук»?

– И что же мне делать?

– Пойти в церковь, помолиться и поставить свечку во здравие всех друзей: реальных и виртуальных. Авось, Господь сжалятся и поможет от напасти избавиться... Но и сам, Сева, что-то сделай. Убери её из фейсбучных «друзей» – вот и всё.

Мареев не поверил Михалису, а зря! Последующие события показали, сколь мудр был Михалис.

Вечером он не включал компьютер, но спать лёг позднее обычного. И опять ужасный сон – появилась нагая и потная Ираида со старинным серебряным подносом; подобно бельэтажу, он располагался на её необозримом бюсте. Ираида брала с подноса горсть серого песка и сыпала им голову Мареева... И он чувствовал, как песок просеивается через коробку черепа и оседает на мозгах, вызывая жжение. Наконец, Ираида отступила от него, развернулась и медленно пошла к двери, Мареев даже зажмурился, чтоб не смотреть на её медузоподобный зад, но скоро он сообразил, что всё видимое и движимое – сон, и заставил себя проснуться. На настенных часах ровно пять утра. Что происходит? Почему Ираида сыплет его то пеплом, то песком? Хоть петь перестала и отступила сама...

И вновь... – шорох и попискивание в кабинете...

«А плевать на дурацкий сон, – вздохнул Мареев, – пойду! Посмотрю, о чём они тараторят там!»

Они? Ведь это он, Мареев, участвует в этой нелепой переписке со взбалмошной женщиной! Экран монитора светился салатным цветом, с появлением Мареева как-то сам по себе включился фейсбук, и в чате Ираиды стали появляться строчки – как обычно, чёрные буквы на сером фоне.

– *Всеволод! Не спите? Приветствую вас!*

– Поспишь тут... – подумалось Марееву, – какого хрена пристала ко мне? Что надо?» А вдруг она на самом деле – тоже компьютерный двойник Ираиды Пронской? А вдруг это персонаж из её книги «Мой герой с Чукотки»?

Мареев видел обложку и титул этой книги Ираиды, но читать не стал, решил глаза поберечь.



А на экране, тем временем, пошло-поехало всё по-прежнему, словно и не было перерыва.

– Доброе утро, Ираида! Я посмотрел Ленту Анатолия Головкина. Сразу скажу: он – не мой писатель! Так бывает: даже известные и раскрученные люди, кому-то всё-таки неинтересны. Вот вы мне – по душе... Для меня вы – прежде всего женщина, Ираида! В этой жизни, кроме сценариев и прозы, есть ещё много чего. И женщин я люблю. Хотя не всё так однозначно, правда! Среди них есть и авантюристки, и интриганки, и сплетницы, а писательниц полно с их коллективным героем – с Чуковки или ещё откуда-нибудь... Эти дамы, словно машины по производству текстов, выпускают и выпускают свои опусы, построенные, в основном, на примитивных сюжетах и диалогах... Да и графоманов-мужиков, с мозолями на пальцах от клавиатуры – хоть пруд пруди...

В силу своих дарований я пытаюсь исследовать нашу жизнь с женщиной в центре Вселенной.

А не махнуть ли нам, Ираида, в Японию, в древнюю столицу Киото?!

Мареев чуть не окаменел от возмущения! Что этот фейсбушный проходимец вытворяет?! Есть у него, Мареева, планы отправиться в Японию, но... с Ксюшей. Он не выдержал и закричал:

– Какого хрена! Я с Ксюшей хочу в Японию! Сам с этой Ираидой и отправляйся!»

Но снова послышался ответ: «Не возникай! Дамы скандальных не любят!»

И Мареев умолк, покорно уставившись на экран! Ответ Ираиды его уже не удивил:

– Всеволод, вы – романтичный моряк! Никогда ещё так круто меня не брали в оборот – никто! Вы – первый такой оригинальный, но мой вес, предупреждаю, 100 кг.

«Готова, голубушка! И про вес ввернула, чтоб интригу усилить... А что? Можешь, можешь дамочкам очки втирать, братец из фейсбука! Ты – ещё тот Виртуал, артист, я – виноват, не сразу въехал в твой подтекст... Размякла писательница. Готова к приключениям. А как же князь-боярин Пронский?! – Мареев обратился к своему двойнику с одобрением, словно он сидел рядом с ним. – Плевать нам на князей настоящих и липово-фейсбушных!»

Марееву показалось, что он в ответ слышит смешок: «То-то... А я что говорил!»



Мареев был готов уже выпалить о явлении обнажённой Ираиды во сне, но Виртуал уже прощался с партнёршей:

– До завтра, Ираидочка! Хорошего дня!..

«Ишь, завтра он ей напишет... А меня спросил?», – буркнул Мареев и нажал на кнопку перевода компьютера в спящее состояние. Экран замигал серым цветом и погас. Накрыв монитор одеялом и обложив его подушками, Мареев ушёл досыпать.

* * *

Прошло три месяца!.. Три месяца без сумасшедших – Ираиды, интернета, без кошмаров во сне и наяву. Он запретил себе входить в сеть липкой всемирной паутины, чтобы не нарваться на каких-нибудь пауков обоёго пола, провёл всё это время в Москве. К осени опять вернулся на остров, включился в фейсбук. На странице Ксении Левандовской полюбовался её фотографией – ниспадающие на плечи волосы золотистого цвета, и глаза – восторженно-удивлённые... Много новых постов – портреты музыкантов, виды Балтийского побережья, оригинальная музыка, японская поэзия... Последний пост – рисованный куст цветущий бархатистой сирени и танка Аривара-но Нарихира:

Под дождём я промок,
но сорвал цветущую ветку,
памятуя о том,
что весна окончится скоро,
что цветение недолговечно.

«Нравится Ксюше этот японский дон Жуан из императорского рода. А ведь больше тысячи лет стихам...» – думал Мареев и не удержался, чтобы не написать в комментариях лучшие строчки японского принца:

Я вновь и вновь хочу спросить,
Меня ты любишь ли?
А дождь,
Что знает всё,
Лишь льёт сильнее...

Отправил послание и испугался: «Неужели Ксения ждёт от меня подобных экзерсисов?»



Ночью во сне опять явилась Ираида в белом медицинском халате и стала осypать его голову пудрой, пахнущей мятой. Мареев представил, как порошок проникает сквозь черепную коробку, и... ему во сне стало страшно. А запах мяты становился всё резче и резче, терпеть было невозможно. Дрожа всем телом, Мареев вскочил с кровати.

«Опять сон похожий! Пудрят мозги! Значит, дурят! Не иначе, ангел-хранитель меня предупреждает!», – молнией промелькнуло в голове.

За стеной громко повизгивал компьютер. Пять утра!

Мареев испуганно-обречённо смотрел на экран, светящийся угрожающе красным цветом. Появилось сообщение от Ираиды Пронской:

– Мареев, прочитала ваше послание Ксюше... И какой стишок подобрали! Вы в неё точно влюблены! Но этой фотографии более четырнадцати лет! Она теперь, как вы сами понимаете, выглядит немного по-другому. Да и вы, уверена, в жизни другой, чем на аватарке. Вы собираетесь к ней в Калининград? Молодец! Не разочаруетесь? Уверены?

Мареев ждал, что двойник начнёт ей отвечать, но... ничего не происходило. И тогда он решился ответить сам:

– Ираида, спасибо на доброй мысли. Что наша жизнь? – игра! А интернет – тройная игра. Я люблю делать женщинам приятное. Между прочим, я только что прилетел на Кипр.

– Я помню вас и то, что вы любите Кипр, Всеволод. Когда мы с вами имели короткую переписку, вы саркастически отпустили что-то в мой адрес? Я думаю, что вы всё-таки человек вредный, ускользающий игрун.

«Игрун? Словечко какое! А ещё писательница!», – Мареев ответил даме в слегка шаловливом тоне:

– Ой-ой-йой... Игрун? Заманчиво звучит... Но я – не публичный человек... И тень мне больше по нутру!

– А я люблю быть на свету. И мужу помогать люблю. Он не только князь Пронский, но и геолог, и талантливый скульптор. Я – организатор его художественных выставок. Что касается вашей непригодности к публичности, то... не очень верится. Я вижу в Ленте ваши снимки, где вы прижимаетесь к редакторшам в нескончаемых застольях, что наводит на размышления...

– Редакторшам? Я люблю застолья, как всякий русский Иван!



– Поскольку у вас ещё и украинские корни, Всеволод, значит, вы – Иван-Хитрован ещё тот! Я вам советую бочком-бочком прижиматься к Союзу писателей России. Это будет как орден или медаль. А мужчины ордена любят!

– Перед вами, Ираида, окно с бракованным стеклом, через которое видятся украинцы. Но они такие же, как русские... Конечно, есть в сёлах и хитрованы, в хорошем смысле слова: смекалистые и весёлые, скорые на шутку. Что касается Вашего совета «прижаться к Союзу писателей» – хочу заметить, что он – не женщина!

«А ты, братец-двойник, куда подевался? Давай, игрун, включайся в игру – назвался Мареевым, пригласил даму на свиданье, так и выкручивайся сам!» – Марееву надоела новая фаза диалога глухого со слепой, он никак не мог заставить себя сменить тему разговора. А дама продолжала рассуждать о звёздных писателях, академиках и наградах из казённого мешка.

– Для мужчин награды имеют значение большое. Особенно для писателя! И, как я знаю, у вас они есть: медали, дипломы, грамоты... Мир слухами полнится.

– Я никогда ничего не просил – ничего!

– Но вам давали, и вы брали. Вы – человек определённого круга. Разве не так? Вот вас и награждают. Но ваши стихи, которые я читаю иногда в Ленте, недостаточно лиричны, значит, с женщинами не получилось, я в этом разбираюсь потоньше вас.

Только без обид, Всеволод!

*Весна бежит ко мне с восторгом, –
Средь снега крокусы цветут,
Вновь птичьим гвалтом сад наполнен,
Траву сухую рядом жгут...*

Где здесь лирика? Всего лишь зарифмованное описание природы...
Деятнадцатый век, дорогой Сева!

Марееву стало обидно: за себя, за свою лирику, за композиторов, которые сочиняют музыку, за артистов, которые поют песни на его стихи.

Писательница-душеспасительница вдруг предстала душеприказчицей... Будто ушат ледяной воды вылила. И где здесь критика?! Мареев уже плохо понимал, что дело совершенно не в его стихах, а в Виртуале... Ираида ждала продолжения разговора о Японии, о каких-нибудь Мальдивских



островах, где знойные ночи с огромными и близкими звёздами, где засыпаешь под шум океанской волны, звучит загадочная музыка с барабанной дробью, и под эту музыку извиваются в танце мускулистые тела аборигенов. Неважно, будет ли поездка в Японию или на какие-нибудь острова за экватором, но... – даме хотелось, чтоб длились мечты и диалог с удачливым фейсбушным двойником Мареева.

И он, всамделишный и живой, снова пересилив себя, среагировал почти механически:

– «Без обид, но с любовью...» Название нового вашего романа? Эх, Ираида, как вы правы! Лирику в поэзию привносит любовь. Да, показанные в Ленте последние стихи, скорее всего, об одиночестве... – начав за упокой, тут же перевёл разговор во здравие, – ваш муж, Ираида, из рода то ли бояр, то ли князей Пронских? Не так ли? Но, как известно из истории, этот род иссяк во времена Ивана Грозного! Или какая-то ветвь сохранилась и тянется до нашего времени, если верить грамоте из ООО «Княжеские титулы»?..

– Да пошёл ты, знаешь – куда? Знаешь! – Ираида употребила крепкое словцо. – Какое твоё дело до моего мужа?! Эй, ты! Петух из курятника под названием фейсбук, где курицы, и те с ума посходили! Не хватает символов из Facebook, чтоб выразить моё презрение!

«А кто здесь курица? Челодлань-челодрянь! – Машинально прошептал Мареев. – Сама себя выдала! – и механически продолжил в рифму: «Ида-Ида-Идаида, отчего – твоя обида?»

Тут же в окошке Ираиды высветилось и даже послышалось:

– Болван, не коверкай имя! Правильно: «Ира-Ира-Ираида!»

Фейсбук закрылся, а экран компьютера продолжал светиться зловещим бурым цветом. Мареев какое-то время тупо смотрел, не понимая, что происходит? Откуда эти голоса – Виртуала, Ираиды?.. Она слышит его? А, может, и видит? Тотальный контроль? На что обиделась? И была ли в фейсбуке Ираида? А если от её имени в переписке участвовал какой-нибудь Двойник? Двойничиха? Виртуалка? Кто придумал этот безумный сценарий? Ираида? Чего она добивалась?

Что случилось дальше, Мареев потом будет вспоминать с ужасом. Он обнаружил себя в какой-то допотопно-старой кровати, с головой покрытый стёганым байковым одеялом. А может, и не байковым, и не стёганым, но он отчётливо ощущал эту материя, пока не отбросил её и не увидел себя на экране вставленного в низкий потолок компьютера. А рядом – черноволосая женщина с огромным бюстом и совершенно нагая.



«Что это? – ужаснулся Мареев, – кинофильм? Но как этот мужик на меня похож!?»

Тем временем, экранная дама, похотливо улыбаясь, привстала с кровати и потянулась к мужчине целоваться. Мареев пошарил рукой, ведь должен быть рядом пульт, надо выключить этот мерзкий фильм, но... наткнулся рукой на мягкие и податливые груди... На экране отражалось тоже самое. «Зеркало это, – мелькнула мысль, – а женщина – настоящая!» Закрыв глаза, чтоб переждать наваждение, но ясно ощутил, как шершавый язык облизывает его лицо... И вдруг... укус! Она его кусает?! Больно! Мареев открыл глаза и увидел в зеркале под потолком уродину с акульей пастью, на лбу светятся буквы «FB»; и себя увидел, перепуганного и жалкого. Ему стало так страшно, что он истошно закричал и заставил себя проснуться... Резко вскочив с кровати, ударился головой о потолок, искры посыпались из глаз – всамделишные, да ещё и словно бы солоноватые.

На голове образовалась шишка, было действительно больно. Сердце бешено колотилось, никакой кровати, никакой женщины! Экран компьютера продолжал светиться противным бурым светом и похрюкивать. Мареев лихорадочно постучал по клавишам и прекратил ужасное похрюкивание. Какое-то время оставался неподвижным, пытаюсь понять, что это было? Потом сообразил, что задремал, сидя... И вот опять Ираида, – явилась...

«Пакость какая-то... Опять приснилось! Ишь – чудище какое! Смертельным поцелуем грозила во сне!» – недоумевал Мареев. Но никак не смог сообразить – отчего шишка на башке? Спасаясь от Ираиды, подскокил метра на два до потолка и ударился головой? И лицо всё мокрое от её поцелуев или слёз собственных – горячих?

«Да сон это был, сон, а во сне расклюнявился!», – решил Мареев. Решил, но как в такое поверить! Может, на голове ничего нет, просто мозг саднит?... Дурости скопилось столько, что...

Через неделю случилась катастрофа: напали хакеры, сайт Мареева взломали, удалив из него все книги и песенные тексты; полетело программное обеспечение компьютера, и все попытки его запустить оказались безуспешными. Он почувствовал себя беспомощным рыбаком на сапборде, далеко в море, где-то около африканских пустынных берегов... Словно кто-то могущественный вынес Марееву приговор и выключил его из международной сети персонажей, вовлечённых в виртуальную жизнь... Или фейсбук – это механизм анализа, контроля, управления не только геймерами, но и писателями?! Но кто осуществляет операцию и для чего? Позже открылось, что кто-то продолжает действовать от имени Мареева в фейсбуке, переписывается с друзьями и даже ставит «лайки», пишет



комментарии, и размещает посты с фотографиями? Мареев, как говорят друзья, есть в фейсбуке, хотя у него, реального, нет доступа в интернет.

Что такое фейсбук и кто в нём правит? Где правда, а где ложь, кто настоящие персонажи, а кто виртуалы? «Слава Богу, что хоть так закончилось? Ведь недолго было попасть в психушку с этими заэкранными призраками. Не иначе как ангел-хранитель уберёт! А ведь мог и сам постараться! Почему не позвонил в чате Ираиде, и не воспользовался видеокамерой?! Как же я не додумался до этого раньше?», – ругал себя Мареев, пока не сообразил, что надо попытаться войти в фейсбук с чужого компьютера и под чужим именем. Он загорелся этой мыслью: пора расставить точки над «i», пора выбираться из фейсбушной реальной нереальности, где мозги пудрят и пудрят...

Вдруг пришёл испуг: «А если это параллельный компьютерный мир? – рассуждал Мареев. – Ведь есть миры и есть антимирры... Возможно, есть и антифейсбук, устроенный взбунтовавшимися роботами-программами. А если я случайно попал в этот ад виртуальный?..»

И вот, он – рядом с Михалисом, барабанит пальцами по клавиатуре; через несколько секунд на экране появляется улыбающаяся Ксения Левандовская, и Мареев слышит её замечательный голос...

На следующий день, до восхода солнца, Мареев, счастливый и весёлый, вместе с Михалисом прогуливался по пляжу Гермасойи. А потом, сидя на огромном валуне у моря, они долго наблюдали за тренировкой сапбордистов, и о чем-то оживлённо переговаривались.

25.05.2017,
г. Лимассол,
Кипр



Павел Астров

Латвия, Рига

Поэт, прозаик, программист, разработчик игр. Публиковался в журналах «Шпиль», «Крещатик», в альманахах «Письмена», «Рижский альманах», а также в антологии «Русская поэзия Латвии. Конец XX – начало XXI века». Дипломант конкурса «Международная Славянская Поэтическая Премия» (2015 г.).

Сайт: pavel.space

* * *

Проговори себя и стань собой,
 мучительно зелёною травой,
 стань той,
 к которой все не прильнёт
 ничья спина, ничей живот,
 никто чужой.
 Стань берегом, который не знаком
 с веслом,
 нарушившим покой,
 потом
 стань камнем, лёгким изнутри,
 стань всем, препятствия дробя,
 проговори,
 проговори себя.
 Сон земляники, пение акации –
 всё безымянное, чем дышит лес,
 вне словарей, вне зрения, и без
 потребности хоть как-то называться –
 и это тоже ты, протяжный и живой.
 Проговори себя и стань собой...



Сад

То ли взят в перекрестие, то ли распят,
и в прицеле мелькают багровые сны.
Все дороги ведут в нерасстрелянный сад,
где могилы не вырыты, но учтены.

Там калитка – ровесница казней и смут,
а за ней, на развалинах света,
утро песен заветных

и новый приют.

И вокруг невесомые груши цветут
на прогнувшихся ветках.

Детство

Янтарный, чистый, сладкий свет.
Вокруг, искрясь, танцует утро, –
Незабываемый момент! –
Сплетаясь в утренние фрукты,

В обилие пузатых ваз,
Салатниц, соусниц, салфеток, –
Воистину здесь всё для нас! –
Здесь размножаются конфеты,

Всё ходят по столу, творя.
Идут направо – песнь заводят,
Налево – сказку говорят...
Их ем я, и во всей природе,

Во всей отчаянной судьбе
Уж торжествует сладость детства!
Живой травой колыбель –
Цветёт, густеет и смеётся.



Я ждал

Я ждал маршрутку. Может быть, любви,
а может быть, я ждал квадригу,
что явится с небес, лишь позови,
но ночь показывала фигу.

Мой взгляд скользил, вмерзая в забытьё,
на сваях натянулся крепко,
хоть вешай на него пейзаж-бельё,
зажав пернатую прищепкой.

Я огненных ждал колесниц, скрипя
хрустящим снегом у дороги.
А может быть, я просто ждал тебя –
двуокий. Но не одинокий.

Наседка

Все золотые купола
как солнечная скорлупа.
Над ними на небесных ветках
нахохлилась и спит наседка.
Прамать омлета и добра,
застывшую, не разобрать.
И снится радостное птице –
мол, вылупится из яиц
бригада всемогущих лиц,
они, собравшись, смогут сами
поднять тот философский камень,
который не смогла она.

Очнется птица ото сна,
от морока святых наитий,
когда вокруг себя увидит,
что камни согревает кто-то
с такой же ревностной заботой...



Все золотые купола
ждут знака – взмах её крыла.
Мне нравится одно поверье,
что если прикоснуться к перьям –
надеждой, смехом, искренней мольбой, –
ты станешь – птицей, и она – тобой.

Тьмаяки

Океан глухонемой
сам не знает, что глубок.
Тьму невидимой рукой
перемешивает бог.

Опрокинув облака
в тонущую белизну,
светлая тень маяка
брюхом ползает по дну.

Океанский монолит
наблюдая на просвет,
ночь нелепицу плодит –
то, чего в помине нет.

Тьма возводит маяки.
Воды памяти горят.
То, что зрело – вопреки,
расцветёт – благодаря.

И вокруг – ни нас, ни зги,
но всё шире и ясней
по воде идут круги
от невидимых ступней.



Колокола

Я замираю в час чудес,
Когда звучат колокола, –
Когда дрожит хрусталь небес,
И звон дробится в зеркалах.

Заботливо укутан мир
Воздушной, звонкой пеленой.
И тает, нежный как зефир,
Прозрачный утренний покой.

Затем, в пушистой тишине,
По лестнице уснувших нот
На землю спустится Отец
И нас в объятия возьмет.

* * *

Пойми молитву льва
и суесловье йети,
подковырнув слова,
изнанку междометий.

Услышь беззвучье пчёл
без точек с запятыми,
перемолчав глагол
и собственное имя.

Дыр бул ые асвел
кламе упо лиата
шоац эн бо эрэл
барух уна ме ата.



Алла Барлинова
Эстония, Кохтла-Ярве

Член Объединения русских литераторов
Эстонии. Печаталась в журналах:
«Русский Миръ», «Балтика», «Таллинн»,
«Китайская шкатулка» – издательство
«Геликон Плюс» (Санкт-Петербург),
альманахах «О любви» – издательство
«Новый Современник» (Рязань),
«Неба и Земли слиянье» (Москва).



* * *

Ты проснёшься, разбудишь кошку.
Это музыка для себя.
Еле-еле дрожат в окошке
воспалённые небеса.
Ты влетаешь в маршрутное синее,
ошалевший весь с утраца:
сверху – местные авиалинии,
колокольни и деревца.
Перекрёсток – и старый ясень,
да скамейки вокруг него.
Целых пять остановок и – осень,
только пять остановок всего.

Конец и начало

от стены до стены,
до седьмого порога,
перепутье времён и дорог, и невзгод.
по просвету на свет – мои строчки дневного
не цветного – для звёзд и незрячих проход,
ибо нету другого.
похоже на бегство.



потеряться, прикинуться будто живой.
и конец, и начало,
и слов совершенство....
мир обычный такой только твой,
только твой.

* * *

Эта ночь зажгла фонарь.
Тополиный пух под дверью.
Шёл на службу пономарь:
– На вечерю! На вечерю...
Это он звенит ключом.
И, вздохнув, заплещет пламя.
Он вошёл, а за плечом –
тень – от жизни безымянной,
или бабочки полёт
над свечой благословенной.
Жизнь прибудет – жизнь уйдёт, –
так случится непременно.
Зазвонит пейзаж земной.
А мы просто жили-были...
Ангел. Крылья за спиной.
Крест в потоке звёздной пыли.

Над уровнем неба

Кольшут воду камыши,
моё скрывают отражение.
Не глядя в небо и дрожа,
сидит ворона без движения.
Останусь в белой тишине,
качнут забытое волнение;
как дышит небо обо мне,
как грустно в эти дни осенние,
туман меняет времена.
И я стою на той поверхности.
Две водомерки, мимо сна,
бегут, бегут по бесконечности.



Через мгновения

кленово-красные летят,
летят нелепые потери...
дождём окажется распят
лист окровавленный у двери.
мы медленно пройдем, обняв
печаль и лёгкую усталость,
грусть по ушедшим летним дням,
что нам от прошлого достались.
перелистаем листопад,
перешагнём через мгновение
и будем жить с тобой вперёд,
вперёд – до самого спасения.

плюс 32

Сидишь в сиреневой кипени,
звень безутешна. День без дна.
И переливы-гревы, тени,
кипреи вдох – пьяным пьяна.
На муравьиных тропах давка.
Ни звука лишнего, ни слов
в пространстве строк.
Одна лишь правка:
что ты из прошлого давно.

От духоты вселенской бражен,
в нём синевы налито всклень, –
День целомудренен и важен,
как в старом – про любовь – кине.



Суета-сует

Горизонт – за страницами где-то.
Ах, ольшина, елоха, ёлха...
Нет ни ангела рядом, ни чёрта –
рядом Млечные тени стиха.
Год кончается снежным началом
в суете бесконечных сует...
И не то настрочишь от печали!
Мир безмолвен и слов ещё нет.
Лишь рисунок рассвета за рамой,
снег кружится и хочется жить.
Только миг на пути между нами
и не страшно в тот миг уходить.

Её шаги

ещё шаги её тихи
дожди её легки
и всё кругом – стихи, стихи...
предчувствие тоски

на курсах поздней тишины
две тени невпопад
строка без боли и вины
и ранний листопад

Итака. ЕЕ

На ломаном балтийском – тень-мокрица,
риф-леера покачивает в такт.
Холодный город отражает лица.
С буклета – терра – яркая страница, –
одна из тысяч маленьких итак.
...идти, считать вдоль стен огарки света,
слегка скользя по колотому льду.



Реклама преломляет пустоту.
Окно. Окно. Кафе. Решётка... Это –
в одной стране. Идущая ко дну,
в такое недоступное далёко,
(манящее, мучительно моё).
Здесь время научилось течь под горку,
на гавань и вагоны, на бетонку,
на снег, на дождь эт сэтэра... житьё.
Почти по Блоку: ночь, брусчатка, Братство*...
Трубит паром, сутулясь: «...от-вин-та!»
Судьба – как на растяжке. Тень креста.
И в точке одиночества – пространство –
безымянная высота.

Перебирая Коктебельки

Вот замедляют бег века... Вот невесомы облака. Вот чайка в
белом оперении,
Вкус длинных строк и шёпот тени, что по душе скребёт слегка.
Звук абрикосов.
Так легко... Так вишен пламя высоко и воздух – как вода –
текучий.
Разобранная на созвучия, волна расслабленно поёт и
коктебельки раздаёт.
Морская плавает трава.

Роняешь под ноги слова...
Вот ночь ослабила дыхание.
Прносятся воспоминания, но не живётся здесь, увы.
Скрипит разохшийся диван.
Мой дед – безусый капитан, в тельняшке кот Басё – кругами,
застывший ветер Мураками воды надгробие хранит.
И только Бог живой, сняв нимб,
тихонько ходит между нами.

* Дом Братство Черноголовых, Таллин



* * *

Как хрупок свет его свитанье
в окне проступит синевою
и даль теряется и тает
за жёлтой медленной листвою
сон раскачает флюгер крышу
мы были всюду и нигде
всё невесомее всё выше
непостижимей и т.д.

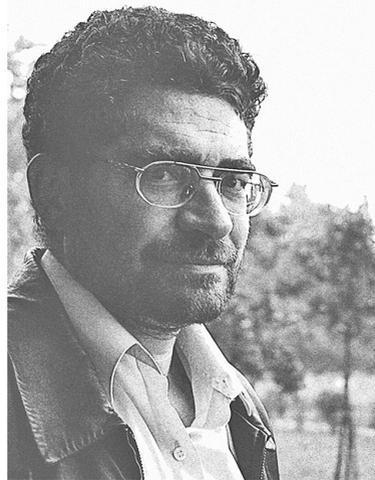
Осенняя усталость

...а снег идёт,
листва едва видна –
рассыпалась на жёлтые осколки
всего-то в двух шагах от полусна
всего полшага до заветной полки
пока что не зима
и нет
и да
накатит вдруг осенняя усталость
любить
прощаться
ненавидеть
ждать
и ждать и ждать
как бесконечна малость.
свет негасимый слева от стола
строк очертания бесплотны
дольше века
ночь длится
длится...
если б жизнь могла
лететь чуть-чуть помедленнее снега



Я вернусь

От капель утомлённых задрожу.
Я в ливнях этих потерялась словно,
и не уснуть – так страшно, но гашу
свет тридевять упавших небосклонов.
Боль в теле растворится добела
и прошлое вернётся с полдороги.
Вцепившись в два бессмысленных крыла,
с обрыва пустоты...
Ещё немного
И, кажется, под этой пустотой,
В раю или каком ещё отшибе, –
так невесома. Боже мой земной!
Лишь времени мерцанье на изгибах.
Ах, ангел мой седой, ты не грусти,
Конец – и есть начало как-то, где-то...
Что для тебя на память привезти
С того необитаемого света?



Сева Гуревич

Россия, Санкт-Петербург

Родился в Ленинграде, сейчас живёт в Санкт-Петербурге и в Москве. Образование техническое. Долгие годы увлекался логическими играми и дайвингом.

Член жюри поэзоконкурсов на портале stihiv.lv. Автор идеи и ответственный редактор детской развивающей книги Николая Голя «Порешай-ка!» (2014). Автор ряда поэтических книг, две последние написаны в соавторстве с Сашей Ирбе.

* * *

Балтийское море, словно
О берег тасует волны,
Накатом лениво гладит –
Вслепую, совсем не глядя
На наш променад по кромке,
На времени слог негромкий...
...пока мы идём вдоль ветра,
Природе почти подобны,
Избыть и часы, и метры,
В себя уходя подробней...

Чтоб – также вот – не сдаваясь,
Смиряясь и не сверяясь,
Слова собирать, не каясь...
Не мудрствуя, не играясь.



* * *

Будем жить!
И в радости, и в горе,
На земле и даже вне земли,
Вопреки и потому что вскоре,
Неспроста двулики – визави,
Разомкнутся звенья, по которым,
Эмигрант, свою сверяя суть,
Ты кочуешь, кажешься покорным,
Ты, кочевник времени-попкорна,
Как в кино...
Строку вдеваю в путь.

* * * (МАНТРА)

Я мог умереть много раз, но остался жив.
Пока. До сегодня... – горазд размышлять, не лжив
Ни сзади, ни сбоку, ни перед Самим!.. собой,
Ни, буде помянута всеу, фант(Ом)-судьбой.
Ни разу...
Ни капли?
Есть разница – если лгу?..
Слова – эти грабли (двуострые) – извлеку,
Будто их не было вовсе, из-под земли,
Из...-под прошлогоднего снега, из-под золы
Памяти, остывающей в тот же миг,
Где, и опять, обживается твой двойник –
Шатун-эмигрант, кочующий, как во сне,
Мгновеньями, но... в итоге стремясь вовне...
...я мог умирать – в каждом шаге, оставшись жив,
Возможно, рождения даже не заслужив,
Заброшен по линии времени переступить
В тот край (...даже памятью не проберёшься вспять),
Бессмысленно для..: за кого ты сейчас и здесь,
Ты, навсегда попавший в земной замес?

Ведь я умирал много раз, оставаясь жив.



* * *

Тепло, но холодно. Бывает так, поверь.
 Чужая, но родная. Как столица.
 И ты живёшь предчувствием потерь...
 ...мы даже тщимся тенью прислонится
 К одной такой. Легко, но тяжело.
 А время незаметно отлегло
 И замерло, как зверь. Поодаль, здесь.
 Нет выбора и точки невозврата.
 Но это всё обманчиво: обратно,
 Но и вперёд. Вчера, и всё же – днесь.

* * *

А. И.

Мы поехали в горы послушать звёзды
 Посмотреть (в) тишину предстоящей ночи
 Осязать как то и другое воздух
 Дом бездомья что вдруг изнутри щекочет.

Оттого ли мне было отчасти больно
 И немного радостно и свободно
 Вплыл как выдался вечер по жизни сольный
 Не родной лишь родственный то есть сводный.

.....
 Ты писала мне всякое по ВатсАппу
 Голова тяжелела болела словно
 Перетруженный мускул и пьяный лабух
 В перескучевшей устали жизни сольной.

.....
 Разъезжались...
 И вечер был сну подобен
 Испытав испыталось сомлело сердце
 И секунды мелкой беззвучной дроби
 Рассыпались чтоб в нас хоть чуть-чуть согреться.



* * *

Распались пальцы и сжались снова,
Так сила ломит солому в слово,
Строка каймою уйдёт по краю,
Не сжата жалость, раскаян Каин.

И в каждом слове как будто точка,
И в каждой строчке как будто точен,
Как будто вместе кайма и самость,
И в пальцах сила вполне осталась.

Пишу – не дрогну, дышу – не согнут,
На тропах-строках, на стольных стогах.

* * *

Тебе везёт, тебя везёт
Столичный поезд вновь в столицу,
И кто из нас кого возьмёт
В тот век, что нами насладится?

Так неразрывна связей нить,
Как будто бы держалась вечно,
Как будто бы предстала вещью,
Способной души единить.

А поезд, рельсами несом,
Об их блестящее кресало
Вдруг искру выбьет колесом,
Чтоб вновь строка, как в руку сон,
Дрожа и прячась в унисон,
Здесь – между нами – воскресала.



* * *

Режут землю и рвут, и рвутся
Лжеправители в лжепророки,
Коренные вруны, якудзы,
И в глазах у них – цифры, сроки.

Только слово – не вдруг умерить!
(Сроду призвано жить, как воздух.)
Без вожжей и подпруг умеет
Находить укорот прохвосту,

Но, готовое также падать,
Бьётся оземь, и снова – в строку;
Но, готовое править память,
Вспять плутает на ять к истоку.

Ты – поэт? Как твой мир тонок
И стремителен!.. Верит в няньку...
Вырывается, как ребёнок,
Болью вывернут наизнанку,

Стих прочтётся и звук затихнет...
Пусть оставит, как право вето,
След, который – в далёком-ихнем –
Вдруг потребует ИХ к ответу!

* * *

Человек лежит, как кукла, на асфальтовой земле,
Потому что жизнь пожухла, уподобилась золе.
Отвернув мурло брезгливо (Гниль! Так пахнут потроха...),
Ты пройдёшь: срамное диво? Просто мерзость и труха!

Вспоминай, не отрекаясь, этот ближний – ты-другой,
Весь в блевоте, мутью маясь, изогнувшийся дугой,
Чёрен – ликом... погибает... Без-раз-личны тьмы идут.
Не сведи тебя, кривая, на Его на Страшный Суд.



Ирина Зиновчик

Латвия, Рига

Родилась и живет в Риге.

Член литературного сообщества «Светоч».

*Печаталась в альманахах и журналах
«Письмена», «Крещатик», «Аврора» и др.*



Ветер

Непреднамеренное сиротство скомканного листа
превратится в ничем не ограниченную свободу,
если ветер сорвется с места; окрестность станет чиста,
перемешав хорошенько заваренную непогоду.

Растасованная колода из разномастных домов
у дороги лежит веерами раскладов и судеб.
Неопрятный старик (пусть и он тоже будет здоров!)
подбирает, нагнувшись, монету. Второй не будет –

на сегодняшний день в небесах заштопан карман
и закрыты расчетные группы; нет доступа к кассе.
Наблюдателем в доме старик наблюдается. Пьян
лишь один из двоих; наблюдающий зол и опасен.

Ветер смотрит на них.. Он плюет на дорогу дождем
и уходит из города, жизнь унося в огороды...
Некрылатыми жили, холопами в небыль уйдем;
но нелепый старик навсегда улетает свободным.



Попытка реинкарнации

Я сегодня – Жак-Ив Кусто, изобретающий акваланг
для погружения в толщу городских наслоений;
городские наслоения мутны, как погребальный Ганг,
и чисты, как священный Ганг. В половодье весеннем

продвигаюсь по бесконечному руслу, глядя в асфальт,
отражаясь в нем безобразной откормленной рыбой.
Мне бы плыть по размеренной Бейкер-Стрит;

но под птичий гвалт
выплываю в другом пространстве. Таков мой выбор.

Вынимаю дыхательную трубку, вдыхая смоговый чад,
и болтаюсь поплавком на поверхности в ожидании чуда;
трудно быть водоплавающим, если на суше зачат.
Выползаю на уличный берег; уже оттуда

поднимаюсь над полем футбольным, свернув плечо.
Буду птицей. Летать умею – чего ж еще?

Прятки

Пролетит небо, вскрытое рассветом;
с землей смешавшись, серой ляжет грязью.
Из ценной став разменную монетой,
заплатит солнце дань разнообразью
отдельных распоясавшихся дней –
ему видней.

Почистит небо ветер, воздух сменит,
просыпав пыль в распахнутые лица;
ему водить теперь, он Эник-Беник,
съедающий листву. И становится
другим ему не срок и не резон.
Его сезон.



По улицам за ниточку потащат
пост-летние обозы-караваны;
и будут в них дрова встречаться чаще,
чем рамы или новые диваны –
таков назначен водою удел.

Пробел..
И сразу за пробелом вечер зимний;
не спрятавшийся – навсегда виновный.
Застуканные вдоль дорожных линий,
замерзнут люди, звери и вагоны;
но там, куда вчера везли дрова,
жизнь прячется еще.
Раз-два..

Разговор

Девочка, девочка, что за порогом?
Сядь у окна; я прошу не о многом –
видишь, какой открывается ужас?
Слушай меня, а не то занедужусь.

Не мети подолом грязь, не трясги руками,
а побудь, не торопясь, с нами, дураками.

Милая, милая, что же ты плачешь?
Было б все так, а на деле – иначе.
Выйдешь, а там и дороги не вспомнить;
промисел Божий – да мир не законник.

Остывает белый свет под вчерашним снегом,
обрывает тропка след за ребенком беглым..

Девочка стала взрослой,
маме досталось сиротство..

Мама, мама, не горюй в доме опустелом –
дочь такая же, как ты, и душой, и телом.
В тридесятом «впереди» ждут беда и счастье;
только надо уходить, чтобы возвращаться.



Белый сон

А вчера мне приснился сон –
за окном моим белый день
плачет белым снегом, а в нём
белым призраком пляшет тень;

то не призрак – то белый конь
высотой в два этажа;
протянула ему ладонь,
испугался конь, задрожал

и рассыпался на снега,
заметая в домах людей,
в небе белые облака,
а во мне целых семь смертей.

Белой шалью накрыл судьбу,
что назначена мне была,
поцелуем затих на лбу...
Я проснулась – ночь умерла...

Без зла

Закрываю глаза в нирване;
я не слышу. Захлопнула рот;
дух внутри у меня обезьяний.
Но, быть может, и наоборот –
я внутри обезьяньей кожи
уже целую тысячу лет,
на бурятского ламу похожа,
чей никак не родится скелет;
размышляю о смысле вечном,
наблюдая незрячим зрачком,
как во мраке безгласое нечто
еле слышное ловит сачком.



Летнее

Поедем в лес? В лесу цветёт сосна
и жёлтой пудрой посыпает подорожник.
Её позиция, конечно же, ясна –
зачем сосне для всех пришедшая весна?
Начало лета ей значительно дороже.
В чащобе сумеречной прячется дворец
крылатой феи, оставляющей подарки.
А вдруг и нам она оставит наконец?
Смотри, под соснами скитается беглец –
червивый гриб, совсем не созданный для жарки;
в густом черничнике ползёт усталый шмель,
и землянику подъедают две улитки..
Какая разница, что всё ещё метель?
Пройдёт каких-нибудь четырнадцать недель,
наступит лето с дополнительной попыткой,
и всё случится, как загадано давно..
В предвосхищении таится столько чуда,
что, заглянув в заиндевшее окно,
я вижу лето в этой раме всё равно.
Давай сбежим, пока не вымерли, отсюда –
поедем в лес.

Дочери

Ты будешь маминой маленькой девочкой,
буду я девочке преданной мамой;
ты будешь мне улыбаться доверчиво,
я улыбаться буду упрямо,

не признавая отсутствия вечного
в небо ушедшей. Я просто не в силах
выдохнуть имя твое. Богу нечего
мне возразить. Я тебя воскресила.



Ночное гадание

За ужином пролили молоко;
в нем тонет часть нелепого рисунка
из свежих огурцов (их с полкило)
и лука.

В расплывчатости белой колеи
угадывать пытаюсь чьи-то лица
из тех, что еле видимы вдали
и сниться

давно уж перестали. В тишине
пугают наплывающие тени;
мне страшно с тишиной наедине.
С коленей

сползает теплый шарф, и по щеке
крадется сумрак, темно-фиолетов.
Гадаю на разлитом молоке.
Ответом

мерещится последнее число,
которое на мокрую поверхность
обрывком тьмы нечаянно легло;
и вечность

под именем «положенная смерть»
заходит без каких-то там приличий.
В конце концов, и жить, и умереть –
обычно;

подумаешь, какая ерунда!
Расстроись не больше, чем на выдох –
тот свет хорош, в который навсегда
есть выход;

а впрочем, этот свет хорош вдвойне
в привычном представлении о жизни.



Но... тот и этот, судя по цене,
не ближний...

Стираю наваждение со стола,
снимаю образ савана с коленей;
пусть будет жизнь, пока не умерла,
сильнее.

Прорвется день, просыплет лишний сор
в по-прежнему далекое когда-то,
и станет выход прочь совсем не скор;
ни даты...

И будет литься в кружку молоко.

Реанимация

Цепляешься за прошлое, пока
в одну минуту
не рвется нить, тонка и коротка,
рождая смуту
в обычной жизни сумрачного дна.
Одна.

Лишаешь одиночество его
немного дела;
и тело убиваешь заодно,
и белым мелом
рисуешь контур сгинувшего зла.
Смогла.

И кто-то вдруг неправильный, иной,
приходит тихо.
Он – вдох. Ты – выдох за его спиной.
Ты – вход. Он – выход.
Он – разный. Ты – становишься собой.
Живой.



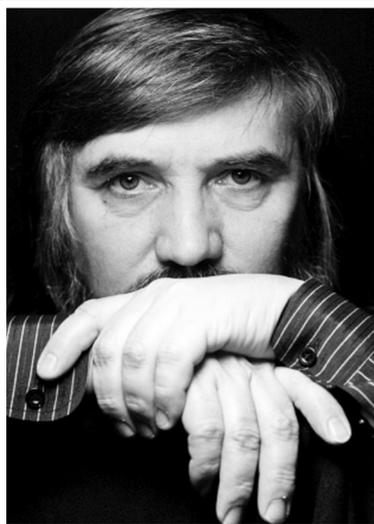
Смена времен

По заоблачным дорогам
бродит рыжая тоска.
Пару дней, совсем немного,
ей осталось до броска;
выйдя в двери в синем небе,
молча явится на свет.
Свет смутится, станет бледен;
и тоске летящей вслед
побегут смешные люди,
понадеявшись успеть
за остатком лета. Будет
над дорогой длинной сеть
из прозрачной паутины
липнуть к розовой щеке.
Тихо станет. Беспричинно
где-то, в дальнем далеке,
запищит внезапно птаха.
По тревожному свистку
осень вынесет на плаху
ярко-рыжую тоску;
виноватую, конечно.
Непонятно только, в чём?
Я прощу её. Под вечер
будет всяк из нас прощён
этой осенью. Господен
вечный промысел – не зло;
дверь открыть на небосводе –
просто Божье ремесло.



Родина

В этом месте сходятся все мои пространства;
здесь себя посаженной чувствую на царство.
За окном восторженно радость расцветает,
ровно, как отмерено, к середине мая –
отблеском сиреневым на лицо ложится.
Воду пьёт из лужи взъерошенная птица,
и земля зелёная рвётся на полосы,
прикрывая лентами прежний вид неброский.
Ничего не рушится, ничего не бьётся;
и, когда положено, в синем небе солнце
освещает празднично всё, что происходит.
Копошусь тихонечко, словно малый хоббит,
и держу отчаянно пуповины нить,
чтобы только родину вдруг не разлюбить...



Сергей Пичугин

Латвия, Рига

Окончил институт инженеров гражданской авиации. Автор нескольких поэтических сборников. Публиковался в периодической печати и литературных изданиях Литвы, Латвии, России, Великобритании. Член Союза российских писателей. Лауреат нескольких литературных премий. Занимается изданием древнерусской певческой литературы и записями древнерусского знаменного распева.

Мезозой

Строка! Мой чистый сон в начале сна!
Я буду петь, о чём ещё не пели...
Мой бурный друг, меня ты опознал,
сырым жгутом привязанный к постели.

Я помню, как вступали голоса.
Но в чём же затаилась катастрофа
земных страстей? но молят небеса,
как скрипочки из ямы оркестровой.

Мой верный брат, я выберу дурдом,
где санитарка с капельницей грусти.
Сестра моя, ты выпиши диплом
безумной дури, с белоснежным хрустом.

Как мир уйдёт, дарованный с небес,
взойдёт Земля из нового семейства?
Но плачет Вий – лишённый люда бес,
его ладони вызрели к злодейству.

Гляди: плывёт наследственная ночь
преклонного родства и злых сословий.
Как не соврать, как мне Отцу помочь
вспахать огрехи на земле суровой?



Песок поёт с утра. Вставать нам лень.
Где прятать крест, когда мы на Карибах?
Как новый век, восходит день-ремень.
Рыбак молчит. Хозяйка чистит рыбу.

В сиянье блицев, в платьях суперзвёзд
забудем о семье, сомлев от зноя.
Любимая, куда нам прятать хвост
от ящеров, пока мы в мезозое?

Как всё таить и не бояться зла
текучих взглядов и влекущей кожи?
Я мир зажёл, когда ты привела
меня к себе, настолько мы похожи!

Когда сошлись величие и жизнь –
нам гибель не страшна, ведь всё свершилось!
Но Бог молчит, из древних укоризн
любовь подавший, как слепую милость.

Я – враг себе. За мной идёт расстрел
безвинных душ и пьяного вертепа.
Я не сошёл с ума, я отгорел
Землёй, ошибкой молодого неба.

Господь свой град откроет одному –
святейшему, кто мир людской раздвинул.
Мы все грешны и ведаем, кому
Он строит ад в подземных палестинах.

Что видишь Ты, бредущий по воде?
Что вижу я в бреду, кругами зренья?
Но там, в жару, в ревущей темноте
я пережил царей и царство разуменья.

Живым кострищем закипает свод
крюков и буквиц на горящих книгах...
Когда совсем невмочь – тогда придёт
Христос ко всем, от мала до велика.

8 апреля 2019 г.



Александра Улитина

Россия, Владимир

*Родилась и живет во Владимире.
Окончила Колледж культуры и искусства.
Занимается изучением культуры Кореи.*

* * *

Живу глазами. А когда-то слухом
Одним жила, особенно когда
В урочный час коровы-поезда
С небесных пастбищ волочили брюхо.

Весь гул, весь зуд, со всех сторон земли
Улавливал во тьме радар врождённый.
Звенели ночи, как ключи, текли
Через зрачки, в созвездья глаз бездонных.

Не ведала, что ночь – мазут, гудрон,
В нём лик луны плывёт, как белый лотос:
Зимы нераспустившийся бутон
Незримый стебель опускает в пропасть,

Ко мне, сюда, где слуха больше нет:
Я отреклась – и музыка погибла,
Взамен того был явлен образ-цвет,
Подвластны пальцам выступы-изгибы –

Край каждого осеннего листа,
Шершавый древний свет, слиянье блика,
Бесчувственного зренья чистота
Достигла тишины равновеликой:



Здесь созерцанья зрелое зерно,
Как зеркало – такое лице-зреньё –
Одно невозмутимое смиренье,
Лицо-зеро, изъятое звено.

Чтобы про-зреть глаза нужны иные:
Не те – ограничители, недуг...
Лучи, минуя впадины глазные,
Черты лица, изгладив, перейдут.

* * *

Раненые дома,
Ссадины гололедиц...
Мой беспощадный март
Длится который месяц.

Ветер его во мне,
Ветер его бессрочный
В наледи на окне
Впишет пейзаж молочный.

Нежностью холодит
Родина-невидимка,
Так, что поёт в груди
Сердце-бубенчик-льдинка,

Клонит меня ко сну,
Бродит со мною рядом.
Я у тебя в плену,
Будь моим старшим братом.

Кто ты, среди могил
Мой принимаешь вызов?
Сеешь резной хангыль*
На бездорожьях сизых...

* Хангыль – корейский алфавит.



* * *

Петь толпе о горьком одиночестве,
Луч погладил лоб – неощутимо.
Люди будут думать – это творчество,
Сквозь тебя смотреть куда-то мимо.

И снежинки – крупные и влажные
По щекам сбегут, как многоточие,
Пока крылья вырастут – бумажные,
Второпях приклеенные скотчем,

С чёрными – газетными, наверное,
Буквами, с твоим последним фото...
Смесь времён – в коробке, с ложкой мерною,
Вместо имени – местоименье... Кто-то,

В омуте зеркал, на дне Соляриса,
Тяжело вращается и дремлет.
Падают клочки – письмом без адреса
Из чердачного окна – на Землю.

* * *

...Шли дворники с осанкой благородной,
С огромными лопатами в руках:
Свет утра был ещё потусторонним,
Как между двух мерцающих зеркал –

Меж гаражей, то ржавых, то зелёных,
Где граффити, и знаки, и слова,
Скрепляющие медкрестом влюблённых,
Давно ушедших, помнящих едва,

Что значили те символы и буквы
(Им Бог внимал из-под прикрытых век),
А дворники, в тяжёлые обуты
Ботинки, разгребали жёсткий снег,



Бензином пахнувший и льдом ночным объятый, –
Богатыри неведомой беды.
И, как курильщик, кашляли лопаты,
Отплёвывая бывшие следы.

* * *

Осени лоскутное шитьё:
Листья источают свет и йод,
Всё в непроницаемом мерцанье –
Чувствовать цвета острей слепца,
Ради жёлто-красного словца
Под дождём блуждая без сознания.

Garage work нутром глядит, как волк,
Паутинок блеск – нежней, чем шёлк,
В чёлку мне вплетается без спроса.
Время наливает кровь и желчь,
И к губам подносит чашу-речь:
Горько, пей, всходи на трон свой, Осень.

Клинья крыш – цветные, словно сны.
Крылья, как клинки, обнажены,
Рифмы подступают к горлу, вовсе
Не нуждаясь в сходстве с тканью дня,
Где, в садах оранжевых, огня
Безрассудно ждёшь – и шарф не носишь.



* * *

Корейских юношей
Фарфоровые имена,
Как бусины дождя, дрожат внутри меня.
Так капли по стеклу пустых бутылок –
Зелёных, синих – в лад, а то не в лад:
Звук безразличен, и глубок, как взгляд.

Под тонким слоем ветра,
За стеной
Стекла бутылочного – тянется за мной
Белёсый свет тропинок лабиринта.
Закреть глаза – и слушать в тишине
Трезвучия, лежащие на дне.

Трепещут в неподвижной глубине
Пластов воды, озвучены извне
Керамикой прохладных белых клавиш
У самых губ – и в том моя вина:
Молчания всегда мелодия верна.

Как робко вдруг –
Касается щеки холодная листва.
Таблица моего деленья на слова:
Прожилки – клетки пляшут на ладонях.
Три выдоха,
Три яблока сорвать:
Для Ли Мин Хо,
и Ли Хён У,
и Чон Ён Хва.



* * *

Иди,
Куда ведёт тебя лето,
Так, словно знаешь ответы
На все вопросы,
Словно носишь у сердца
Ампулу с древним ядом.
Молись,
Чтобы долгие нежные дни
Снизошли на того,
Кого ты совсем не знаешь.
Молись,
Чтобы ночью мосты
Сошлись так, как нужно –
Чтоб тропа древнерусского города
Приводила в Сеул,
Из Сеула – на марсианскую пустошь...
Где Слово такой природы:
Вровень со смертью,
Растёт у самого сердца.
Иди,
Обтекаема потоком жизни,
Неуязвима для времени,
Слушая тишину океана,
Неся на кончиках пальцев
Мозоли от струн,
Руны осенних листьев
В книге слепых.
По ним,
Ослепший от солнца,
Прочтёт
Твоё одиночество.



* * *

Яблоки-звёзды видят нас в темноте,
Узкая тропка вся поросла крапивой.
Тонкую радость с цепкой тоской скрепила
Память, как цвёл меж заборами чистотел.

Рыжий котёнок внезапно являет свет.
Словно клочок огня – льнёт к ногам, резвится.
Отблеском прошлого, пламенем инквизиций –
Средневековье, слышишь? – тебе привет!

Мысли сбываются. Не размышляй, иди.
Мысли сбываются, только шаги замедли.
Выйдешь из дома – словно из подземелья,
В тёплую ночь – и плывёшь на её груди.

Время отсутствует. Только за слоем слой
Всё ежечасно важное совершалось:
Крепкого чая бархатная шершавость,
Зло не живёт, но следы оставляет шалость –
Рваная рана под розовую смолой.

* * *

Любимые мои, вы все со мной...
Когда трава до звёзд стоит стеной,
И облака – бесшумные пироги –
Стремительны, прозрачны и двуроги,
Мы счастливы, мы держим путь Домой.

И пусть мой голос больше не зовёт –
Маяк-песчинка бесконечных вод,
Он так далёк, он – кит, он – пламень Божий...
Храни меня в руках пустых, прохожий,
Вокруг тебя – безбрежный небосвод.

Мы непрерывны в выдохе одном,
Один и тот же день горит огнём,
Холодный день, как драгоценный камень.



На тонком проводке между висками,
Как дождевая капля – отчий Дом.

* * *

Картонный глобус,
И запах книг –
Банальный образ,
Любой из них
Не будет ложным
Пока умею делить на два
И два потрёпанные крыла
Вставлять в обложку,
И ждать возможность сложить слова,
Как неотложку...

Так неустойчиво
Здесь, в миру,
Почти не веря, на всё смотрю
И удивлённо.
Как люди держатся
За маршрут,
Вцепившись в свой
повседневный труд,
Почти влюблённо –

За хлеб и отдых,
И за тряпье...
Реальны лица их,
А моё –
Как кадр случайный,
Всё время плавает в пустоте:
То в стёклах еле мерцает тень,
То в чашке чайной.

Так рыба смотрит на рыбака,
Под слоем воды,
Изнутри песка,
С тоской прощальной...



* * *

Так щебечут за окнами сквозняки,
Так глядят на фото из-под руки
Переставшие быть тобой двойники,
И ложатся тени.
И везут наши слёзы товарняки,
Изумрудное солнце со дна реки
Проникает, памяти вопреки,
Сквозь любые стены.

Удивляешься заново той беде,
Что живёшь одинаково каждый день:
Ни одна из дорог не ведёт к тебе,
Лёгкий путь – отрезок
Между пунктом А – и пунктиром Б,
Или времени нет, чтобы взять разбег,
Или ты в воде, так как тает снег,
Так как свет не резок,

Приглушённый, утренний, неживой,
Над твоей склонённою головой.
Не впервой, подумаешь, не впервой,
И опустишь веки,
Но фонарь над чёрною мостовой –
Дирижёр симфонии снеговой
Проведёт лейтмотив сквозь железный строй,
Сквозь тиски разведки.

Ненаглядное солнце зелёных гор,
Для меня ты явилось в больничный двор,
В чёрно-белые сумерки зимних нор,
Чтобы жечь и плавить
Всё, что было со мною до этих пор.
Выжигай в моём сердце любой узор –
Я сумею смотреть на тебя в упор
И любить за пламя.



Может, мне не достанется ни глотка,
Пересохшее русло простит река,
Здесь любая судьба – только горсть песка
Среди бурь песчаных...
Если так – станет раной моя строка,
Будет лезвием смерти сквозь облака,
И тогда – ни протянутая рука,
Ни слова пощады...

* * *

Мне на руки садятся мотыльки,
Неся на крыльях разочарованья:
«Целуй меня последним целованьем,
Танцуй со мной подряд все медляки...»

О мотылёк пергаментный, твои
Скопировали сомкнутые веки
Шумеры, египтяне и ацтеки,
И вымерли – а потому живи,

Припудрись пылью времени, песком
Аравии, песком любой пустыни,
И что творю по глупости, прости мне
В последний школьный день, на Выпускном.

* * *

Я больше не играю в игры:
Так тупо – сразу знать итог.
Сиди на берегу, браток,
Смотри в глаза, читай субтитры.
А в тир отныне не ходок -
Мне не под силу выбор цели.
Как на ладони городок,
Где мы с тобой всю жизнь сидели.
Вокзальных лестниц холодок,
Осенних лиц оттенков жёлтый,
Взгляд в синий сумрак горизонта,



Да белый облака платок.
Глоток любви, как выстрел пробный –
Горчит и вяжет бытиё,
Ночь – вкус и цвет её,
Как сок рябины черноплодной.

* * *

Пижма – горькое солнышко,
Серых метёлок пух.
Осень – добрая мачеха,
Нас собирает в путь.
Поброди по заросшему саду,
Подумай вслух,
Или сядь в уголке,
Меднолицым индейцем будь,
У которого – всё внутри,
На лице – лишь свет,
Чем безжалостней пламя,
Тем безмятежней вид.
Пепел – в рыжие волосы,
Изморось на траве:
Иероглифы – графика,
Трепетный алфавит.
Горло словом поранено –
Тем, что сказать нельзя.
То, что жизнью казалось –
Открылось теперь с конца:
Словно древняя книга,
Где нет ни добра ни зла,
Упорхнувшая бабочка
Помнит лицо ловца.
Для чего умирают они?
Почему живут?
И так дивно молчат,
Наполнившись пустотой...
Позвони мне когда-нибудь-
Просто послушать звук
Нелюбимого голоса,
Ломкий, как сухостой.



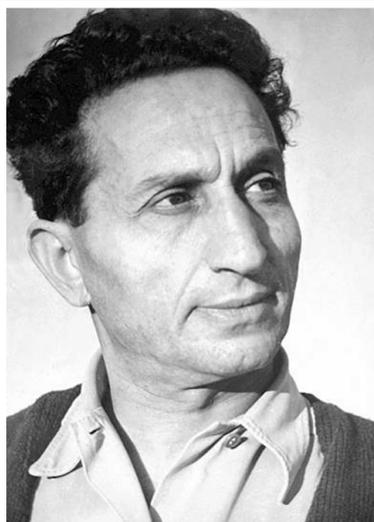
* * *

Эвридикам, танцующим по кабакам,
Не вздыхать по своим каблукам...
Что за тяжесть мешает вспорхнуть к облакам?
Струны сами бесстыдно тянулись к рукам
(... *for the miracle* – помнишь? – *to come*)...

Словно кто-то стоял у полночных дверей,
Тёмных улиц вдыхая туман,
Вспоминал своё имя (Орефий? Андрей?)
Здесь тебе не Эллада, а Ночь и Апрель,
Да останется он безымян.

Словно чёрные пятна горелой травы
По откосам внутри головы –
Это выжженной памятью горькой любви
Просят слёз отпущенья овраги и рвы,
Где истошно ревёт грузовик.

На буксир – от засохших небес отмотай
В пропасть дней паутину моста.
Словно бинт, словно нимб, или всё же фата:
Но однажды должно это время настать –
Мать-и-мачех по злачным местам...



Довид Кнут

1900–1955

Поэт, журналист. Активный участник Французского Сопротивления.

Жил в России (Кишинев), Франции, Израиле.

(Dovid Knout. Дүвид Меерович Фиксман)

«Кнут считал себя еврейским поэтом и обращался в своём творчестве к тысячелетним историческим и духовным традициям еврейского народа. Его поэзия направлена на поиски непреходящего, подлинного, существенного, скрытого в течение земной жизни. Она религиозна, часто молитвенна. <...> Он обладает верным пониманием смерти и просветления. Его стихи музыкальны, он любит ритмические повторы в зачинах строк (анафора), чуток к слову, стремится к экономии выразительных средств и насыщенности стиха, редко бывает повествователен...»

Вольфганг Казак



Кишиневские похороны

Я помню тусклый кишиневский вечер:
Мы огибали Инзовскую горку,
Где жил когда-то Пушкин. Жалкий холм,
Где жил курчавый низенький чиновник –
Прославленный кутила и повеса –
С горячими арапскими глазами
На некрасивом и живом лице.

За пыльной, хмурой, мертвой Азиатской,
Вдоль жестких стен Родильного Приюта,
Несли на палках мертвого еврея.
Под траурным несвежим покрывалом
Костлявые виднелись очертанья
Обглоданного жизнью человека.
Обглоданного, видимо, настолько,
Что после нечем было поживиться
Худым червям еврейского кладбища.

За стариками, несшими носилки,
Шла кучка мане-кацовских евреев,
Зеленовато-желтых и глазастых.
От их заплесневелых лапсердаков
Шел сложный запах святости и рока,
Еврейский запах – нищеты и пота,
Селедки, моли, жареного лука,
Священных книг, пеленок, синагоги.

Большая скорбь им веселила сердце –
И шли они неслышною походкой,
Покорной, легкой, мерной и неспешной,
Как будто шли они за трупом годы,
Как будто нет их шествию начала,
Как будто нет ему конца... Походкой
Сионских – кишиневских – мудрецов.

Пред ними – за печальным черным грузом
Шла женщина, и в пыльном полумраке
Невидно было нам ее лицо.



Но как прекрасен был высокий голос!

Под стук шагов, под слабое шуршанье
Опавших листьев, мусора, под кашель
Лилась еще неслыханная песнь.
В ней были слезы сладкого смирения,
И преданность предвечной воле Божьей,
В ней был восторг покорности и страха...
О, как прекрасен был высокий голос!

Не о худом еврее, на носилках
Подпрыгивавшем, пел он – обо мне,
О нас, о всех, о суете, о прахе,
О старости, о горести, о страхе,
О жалости, тщете, недоуменьи,
О глазках умирающих детей...
Еврейка шла, почти не спотыкаясь,
И каждый раз, когда жестокий камень
Подбрасывал на палках труп, она
Бросалась с криком на него – и голос
Вдруг ширился, крепчал, звучал металлом,
Торжественно гудел угрозой Богу
И веселел от яростных проклятий.
И женщина грозила кулаками
Тому, Кто плыл в зеленоватом небе,
Над пыльными деревьями, над трупом,
Над крышею Родильного Приюта,
Над жесткою, корявою землей.

Но вот – пугалась женщина себя,
И била в грудь себя, и леденела,
И каялась надрывно и протяжно,
Испуганно хвалила Божью волю,
Кричала исступленно о прощенье,
О вере, о смирении, о вере,
Шарахалась и ёжилась к земле
Под тяжестью невыносимых глаз,
Глядевших с неба скорбно и сурово.



Что было? Вечер, тишь, забор, звезда,
Большая пыль... Мои стихи в «Курьере»,
Доверчивая гимназистка Оля,
Простой обряд еврейских похорон
И женщина из Книги Бытия.
Но никогда не передам словами
Того, что реяло над Азиатской,
Над фонарями городских окраин,
Над смехом, затаённым в подворотнях,
Над удалью неведомой гитары,
Бог знает где рокочущей, над лаем
Тоскующих рышкановских собак.

**...Особенный, еврейско-русский воздух...
Блажен, кто им когда-либо дышал.**



Сказал рабби Авраам Яков:

— У каждого народа есть своя мелодия, и ни один не играет мелодий другого. Но Израиль играет все мелодии, чтобы все их возвести к Святому Благословенному, подобно тому, как в песнопениях Всевышнему все звери и птицы поют каждый на свой лад, но Израиль сливает их голоса в единую песнь, чтобы вознести к Святому Благословенному.

Цит. по: Мартин БУБЕР. Избранные произведения.
Б-ка Алия. 1989. Стр. 177



Ревекка Левитант

США, Нью-Йорк

«Родилась в Вильнюсе и жила там до 1996 года, пока не совершила резкое перемещение в пространстве, переехав в Нью-Йорк. Всю жизнь пыталась просто жить, но когда это не получалось, писала стихи. Стихотворение, конечно, мешало «просто жить», но помогло сохранить душу. Считаю, что цель существования не в благоденствии, а в развитии души.»

Разговор с раввином

Я приду к раввину в гости,
 мудрецу и книгочею.
 Are you Jewish? – важно спросит
 и посмотрит на меня.
 Ну, конечно, я еврейка,
 вы взгляните в это имя,
 много скажет вам оно.
 С этим именем не просто
 было жить в Стране Советов.
 Но раввин не впечатлится,
 резко, жёстко перебьёт.
 Зажигаю ли я свечи
 перед каждой субботой? –
 вот, что так его волнует,
 вот, что важно для него.
 Неудобно лгать раввину –
 свечи я не зажигаю.
 Но раввину не перечая,
 я пытаюсь честно вспомнить
 те черты еврейской жизни,
 что присущи были нам.



Утверждаю: мама с папой,
также дяди-мои-тёти
говорили все на идиш.
Ребе вновь не впечатлён.
Зажигала ль мама свечи? –
он упорно вопрошает.
Снова отвечаю честно:
«Чтобы свечи зажигала,
этого, увы, не помню,
но пекла на праздник Пурим
бесподобно оменташим
и фаршировала рыбу
на Еврейский Новый год.»
Нервно головой качает
недовольный мною ребе.
Зажигала ль бабка свечи? –
он уже почти кричит.

Бабушку, увы, не знала,
бабушку угнали в гетто.
В годы меркнувшего света
было ей не до свечей.
И отнюдь не свечи – печи
адским пламенем горели,
чтобы всяк её сородич
был в том пламени сожжён.
Бабушка была еврейкой,
в том никто не сомневался
и не задавал вопросы
прежде, чем её сгубить.
Я, конечно, не мудрее
вас, учёного еврея,
ортодокса, книгочея,
но могу без вас решить,
кто такая в самом деле.
Потому-то в моей речи
до сих пор горят те печи,
принимайте их за свечи
и не смейте их гасить!



Осень в Нью-Йорке

*Написано к очередной годовщине
приезда в Америку*

Не нужно нам больше арабских и русских вёсен,
не нужно военных сводок кровавого лета.
Скорей возвращайся, нью-йоркская добрая осень,
в приветях твоих не таятся дурные приметы.

Ты помнишь меня в эту пору неловкой дикаркой,
как было мне всё не по вкусу здесь, не по размеру,
а ты всё равно расточала улыбки, подарки,
а ты терпеливо внушала в хорошее веру.

Но я, как за ценность, держалась за беды-несчастья,
без них, мне казалось, я главное что-то нарушу.
От бренной земли отрывали те беды отчасти,
несли, как загадку, мятежную русскую душу.

Я падала резко в объятия ностальгии,
бывало металась: «Чужая, всему чужая!
А все эти люди другие, совсем другие», –
я так повторяла, с катушек своих съезжая.

Но осень опять говорила: «Не надо эмоций!» –
лечила, учила, без усталости мне улыбалась.
«Не надо бояться, а лучше попробуй бороться.»
И вдруг исчезал привезённый сюда мною хаос.

Я стала невольно божественной осени частью,
я всё оценила, что осень дарила мне щедро.
Под сенью осенней в меня проливается счастье,
впадая во все уголки и тайные недра.



Мамэ-лошн*

Посвящается Фане Бранцовской, библиотекарю Вильнюсского института идиш, бывшей узнице Вильнюсского гетто, участнице партизанского сопротивления. Фане 94 года, но она до сих пор водит экскурсии по Вильнюсу.

Только когда услышишь чистый её мамэ-лошн,
сразу поймёшь, до чего ты весь позабыт-позаброшен.
Как ты обкраден и вырван вместе с глубоким корнем,
как ты иссох от жажды, как ты давно не кормлен.

Лодку твою качает в долгом абсурдном кочевье,
радость твоя с печалью, взлёты твои плачевны.
Вряд ли ты понимаешь литературный идиш,
только дырявую память всю с головою выдашь.

Так для кого собирать-то нужно еврейские книги –
силы нечистой ради, очередной шишиги?
Будет ли посетитель в вашей библиотеке?
Правда ль, что это забота о живом человеке?

Вы отвечаете просто, с честью открытого дара:
«Нет, это всё ради мёртвых, тех, что лежат в Понарах**.»
Я заодно с мертвецами бедным космополитом
вашу историю слушаю на языке позабытом.

* Мамэ-лошн – язык матери (*идиш*).

** Понары – место, где уничтожено 70 тыс. евреев во время войны.



Новый язык

А давай я придумаю новый язык
без того, чтоб спрягать и склонять.
Чтобы он бесшумной пушинкой возник,
чтоб грамматикой не скрежетать.

Вместо суффиксов – нежный атласный шёлк
потечёт между нами, скользя.
От взрывных «несогласных» исчезнет шок,
нам без мягких «согласных» нельзя.

Пусть тишайших слогов очень лёгкий шифон
полетит на твоё плечо.
И фонем ласкающих благостный фон
всю любовь к тебе привлечет.

Смысла в этих фонемах – наплакал кот,
но в них вся корневая суть.
Ты любим! Всё плохое растает, пройдёт,
и начнётся счастливый путь.

Бессонница

Батюшка Сон, почему ты меня покинул,
бросил одну на съедение бездне ночной?
Зубья её стальные грубо врезались в спину,
страшное вытворяют с бедной моей головой.

Прячу себя от бездны, лицом зарываясь в подушку,
тщетно в пуховом прахе разыскиваю покой,
но лишь ещё плотнее накатывает удушье,
ужас сжимает горло жилистою рукой.

Батюшка Сон, это кто насыляет чудовищ,
вырванных прямо из яви, кошмарной сплошь?
Я так хочу перерыва, приди на помощь,
мне забытья так желанна священная ложь.



Как я ни жмурю глаза, зажимаю уши,
вижу и слышу настойчивый мунковский крик.
Берег ли мой размыт, мост подо мной разрушен?
Я перестала, увы, любой понимать язык.

Лучше бы я заполняла усердно страницы романа,
чем с боку на бок ворочаться, тёмная ночь.
Лучше бы я зубрила на память суры Корана,
чем ядовитую воду в ступе толочь.

Неотвратимо крадется убийцею утро,
резко над горлом заносит заточенный нож.
Жертвой теракта валяюсь, слипаются кудри –
даже стишка после смерти моей не найдёшь.

Русской речи

Мои папа и мама по-русски
говорили с еврейским акцентом,
мой сыночек, как это ни грустно,
за Толстого не даст и полцента.
Только я на отрезке безвестном
преходящей жизни зажата
в эту русскую речь-словесность,
и страшна мне её утрата.
Что же сделаю я с этим даром,
и в какую землю зарюю?
Заслужу тем какую кару,
захлебнусь какою виною?
Но не зря же Кирилл и Мефодий
даровали мне эти буквы.
Это ноты славянских мелодий,
это знаки возвышенной муки.
Обнажаю с их помощью корни –
завещал их народ мне мой древний.
Эти корни с годами бесспорней,
речь прозрачнее и целебней.
И какую ещё там ересь,
не спросив, я открою пред вами?



И о чем, вам во всём доверяюсь,
расскажу своими словами.
Я не знаю других религий
кроме верности литературе.
Может это мой ад и вериги,
но во всём остальном халтурую.
Что ж неси меня, речь родная,
вдаль от родины, времени мимо.
Лишь тебе одной и верна я,
так что лейся неостановимо.



Алёна Кофман

США, Атланта

Программист. Основатель и руководитель литературной студии «Краски жизни» (Атланта, США). Автор двух поэтических сборников. Ведущая программы «О чем сегодня шепчут музы» на Международном радио «Вместе». Член МАПП.



Тропинками души

А хочешь, я возьму тебя с собой?
Я приоткрою дверь моей души,
И ты войдёшь. Но только не спеши.
Мы медленно пойдём по ней с тобой.

Сначала ты увидишь темноту,
В которой прячусь, если очень грустно.
Не наступи! Тут под ногами чувства...
В порядок их никак не приведу.

Смотри, там дальше огонёк горит,
И чуть светлей в душе, пойдём туда.
В лампаде масла нет, но есть звезда.
Настанет срок, она сойдёт с орбит.

Ну, а пока даны мне свыше дни,
И я творю: стихи летят по свету.
Но, что с тобой? Молчишь, и нет ответа...
Очнись! Увидел свет моей любви?!

Сияньем ослепило? Извини...
Но погасить любовь я не берусь.



Она мне ближе и родней, чем грусть.
Лишь с ней в моей душе горят огни.

А вот и струны, ты к ним прикоснись,
Пусть зазвучат мелодий нежных звуки.
Возьми мои ладони в свои руки
И в бездну чувств без страха окунись.

Полукровка

Половина крови еврейской,
Половина крови русской –
Двум потокам совсем не тесно
Протекать по артериям узким.

Полукровка... Какой я веры?
Однозначно бы не сказала.
Христианской ли? Иудейской?
Я ведь с детства обе впитала.

Была в доме маца на Пейсах,
Ханукальные свечи были,
И еврейские пели песни,
И на идише говорили.

И пекли куличи на Пасху,
Запах выпечки – до небес.
И с семьёй за столом собираясь,
Говорили: «Христос воскрес!»

Ну, и как же могла я выбрать?
Как решиться, куда идти?
Ведь нельзя одни корни вырвать,
Пропаду я без них в пути.

И тогда я пошла в синагогу,
Там традиции познавала.
А впервые дорогу к Богу
В институте Библейском узнала.



Не считаю себя христианкой,
Мне еврейские корни ближе.
Вот поэтому я – мессианка,
По-другому себя не вижу.

Жаль, не каждый понять сумеет,
Но ни в чём я не виновата.
Совмеща в себе две веры,
Я, напротив, вдвойне богата.

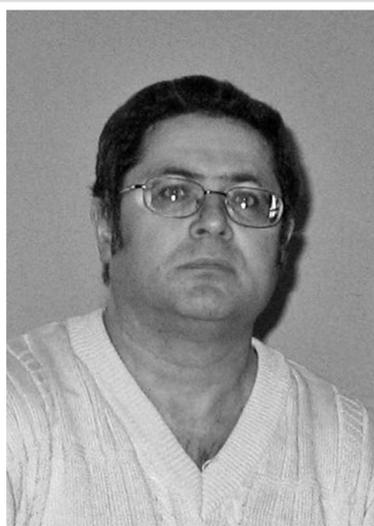
А где был Бог?

Я часто слышу от людей вопрос:
«А где был Бог, когда нас убивали,
Неужто Он не видел наших слёз?
Не знал о том, что нас в печах сжигали?»

Он знал... Он видел... Слышал плач и стон
Детей, оставшихся без матери, отца.
Не обвиняйте Бога! С нами Он
В молитвах был – до самого конца.

Не обвиняйте Бога никогда,
Он не оставил свой народ, не бросил.
Он так же, как и мы, страдал тогда,
Нам, людям, неизвестен Божий промысел.

Шесть миллионов жизней – как одна!
Умом непостижимая утрата!
Шесть миллионов – вот она, цена,
За жизнь Израиля вчера, сегодня, завтра.



Георгий Георгиевский

Эстония, Йихви

Журналист. Поэт. Бард.

Член Объединения русских писателей

Эстонии и Союза Писателей России.

Публиковался в ряде литературных журналов, альманахов и сборников.

Русские псалмы

...Сразу же, с появлением первых песен, открылся сам собой интерес к древнерусской литературе. Поразила и ослепила не только красота старославянского и старинного русского (не древнерусского, потому что язык, отстоящий от нас всего на несколько столетий, не древний) языков, но и могучая душевная сила авторов прошлых столетий, рождённая исключительно верой не оскудевающей, когда в Боге ничего не страшно и всё возможно, и всё от Бога...

Первый русский псалом

В небо путь безжалостен и тесен,
хоть и нету благодатней доли.
На крылах сквозь тьму прозябших песен
проплывём бездушные юдоли.

Зреют в душах день уже не первый,
хоть и нрав без усталости уросит,
адаманты, яхонты и перлы.
Только бисер свиньям бы не бросить.



Тьме простим, учуяв скорый полдень –
нам ли ввысь с обидами ломиться,
коли зрети очно лик Господень!
Только бесам бы не поклониться.

Убежим урчащих чревом буден.
Но, когда восстанем из геенны,
и в превыспренних не позабудем
муки всех безвинно убиенных.

Восприяв, как милость, униженье,
слезно вымолим, не взвидя света,
не ярлык от хана на княженье –
долю Сергия и Пересвета...

...Божьей лестницею заплетаем
вурдалачьи похоти и ковы.
Помолясь, небось не заплутаем
по дороге к полю Куликову.

Второй русский псалом

*Где мудрец? где книжник?
где совопросник века сего?
Не обратил ли Бог мудрость
мира сего в безумие?*

1-е Послание к коринфянам
ап. Павла 1:20

Мы каиновы сбросили кафтаны,
на чёртов клин сколоченные нам.
Ненажитых фрегатов капитаны,
как посуху шагаем по волнам.

По водам оседающего мира,
порвавши злую атомную цепь,
торопимся мы ввысь и вглубь, и мимо
евонных тронных и кабацких цен.



Возжаждал мир – и пил нас до кровинки,
ни капли не оставил на потом.
Мы – Богу обречённые травинки,
проросшие мольбою сквозь бетон.

С чужих отёков и своих окалин
сломавши зубы о мирской орех,
сей плод от древа знания о камень
расшибли мы как первородный грех.

Мы совопросных века сбили зуммер,
хотя и дул в нас аэры Борей.
Всю мудрость века сдюжило безумье
юродов мытарей и рыбаблей.

Залечены, хоть и без полаганья,
живящим ядом смертоносных ран,
раздали пропуска на балаганье,
узревши душ нерукотворный храм.

У князя мира доли не спросили,
целя сердца надзвездной высотой:
сияющей нам во Христе Россией –
вселенской Незакатной Красотой!

Третий русский псалом

*И вложи во уста Моя песнь нову,
пение Богу нашему.*

XXXIX псалом, 4

Словно сыч одинокий в ночи, Я
всё башкой бесталанной седел.
Всё сидел и сидел на печи Я,
даже Муромца пересидел.

От ухабов, ушибов, уронов
Мне и разум, и сердце свело.
Но перо, аки жезл Ааронов,
выводя письмена, расцвело.



Вышней силой и радостью пышет
и, десницу ведя за собой,
Голубиную книгу Мне пишет,
что повыслал Небесный Собор.

И крылами сгребает все сразу –
да за пазуху все за Мою –
сладко-горькие вещицы сказы
птица знающая Гамаюн,

девы ликом смеётся Мне яро:
«Знай и верь, грешная борода:
Китеж-град не пропал Светлояром,
за Непрядвою пала Орда.

О псалмы иступились дурманы,
коль молитва к мечам задана,
отступились пока басурманы,
обессилел пока сатана.

Расточились лукавые чары,
не зарезана Песня, не трусь,
воздыми Её, Божию чару,
за Святую и клятую Русь,

чтобы девою с красною вестью
по заречным лугам босиком
побежала по жилушкам Песня
далеко-глубоко-высоко.

Адов огонь и небесные беги
воздымают до века права.
Радости человек и беды –
всё лишь в Божию печку дрова!»

Так крылами сгребает все сразу –
да за пазуху все за Мою –
сладко-горькие вещицы сказы
птица знающая Гамаюн.



Четвертый русский псалом

*Начати же ся тѣи пѣсни
по былинам сего времени...*

Мы средь княжеского пира
веселились, как тужили:
бешенство земного мира
сердца мукою тушили.

И – на глад неугомонный
был ли грошик медный, нет ли –
с душ, осиленных мамоной
рвали мы Иуды петли.

Сердца пламенные струи
в песнь живую стоны вили –
и волхвующие струны
сатану остановили.

С боли певческой не спросят
бесы каиновой пробы!
В темь кромешную не сбросят
нас повапленные гробы!

Пусть же вольно днесь и присно
Песня двигает горами!
Новой Песнью, старой – тризной,
будто пашенку взорали!

Абы ведьма, бес и леший
Бога и себя бояли,
рцы, ни комонный, ни пеший, –
токмо песенный – Бояне:

«Беса с ангелом сведу Ей
волю Божью в голос нежить.
И возлюбят Русь святую
половчин и печенежин.



Ею тридевятым странам
нас о дружестве просить и
всем, не помнящим родства, нам
Имя Божие кресити.

Смерти песенной заплатой
соскребя муторны ласки,
о Христе уже заплакал
и болван тьмутороканский.

В громогласии подложья
несмолкаем, как учили,
щекот славий – свечка Божья
воску ярого в пучине!»

Пятый русский псалом. Беловодье

Что ль, с кручины мы видали:
чист от торжищ и от мыт,
остров белыми водами,
как душа слезьми, обмыт.

Сыплют выси звездным звоном
предо Мною и за Мной,
а на Беловодье оном
Ирий, сиречь рай земной.

Кус земли – Вселенной остов,
прибыль праведным с утрат –
распахал Ярило остров
светом Хорсовым с утра.

Долей – в радости как в муке –
во плоти душа видна! –
возросли Дажбожьи внуки
взорами от звезд до дна.



Здесь, с безгрешною опаской,
отворил небесный кран
не татарский, не лопарский –
святорусский светлый край.

С песенным огнём по жилам
ратай здесь и ратный муж.
Нету бесам на поживу
отродясь червивых душ!

Божий враг своё отблеял
и не застит белый свет.
Отличить зерно от плевел
просто, ибо плевел нет!

Ни Кащеи, ни Полканы –
не надёжа, не оплот
тем, кто песнею взалканной
сытят душеньку и плоть.

Вражьи искусства избыли,
что шипами отросли –
все, что будут и что были,
прахом с пяток отрясли!

Адский огонь в крови потушен
на сиротские гроши.
И не рыщут здесь по души
государевы шиши.

Каина тавро по-новой –
ни к груди и ни к челу.
И конвойный песий нор
тоже вроде никчему.

И про Ирий сей юдоли
Аз, рекущий, написах:
«Здесь любой пребудет волен –
в кандалах и в Небесах!»



Зван и я принесть посулы –
да не проклятым почтусь! –
да с мятущимися все
всё считаюсь, не сочтусь.

Но ужо себя допросит
нрав Мой – пламень на ветру, –
норовя украсть да бросить
весь блудливый навий труд –

да и в край – медовы дали, –
что от торжищ и от мыт,
будто белыми водами,
благодатию обмыт.

Шестой русский псалом

Дни безгрешные, как грошики, текут.
Вновь Христа распяло сонмище иуд.
Бес залётный на иудины рубли
с бесами же Русь немою погребли
и уселися на домовине сей,
как татарове на Калке на князей.
Председают в душах мытарь и торгаш,
«гопы-стопы», «... ваших нет» и «баш на баш».
И подобные повапленным гробам
не страдают по раздавленным рабам.

Но Распятому смерть смертью попать.
А иудам налететь на Божью рать,
да от огненных клинков им – наполы,
чревобесию – с мальвазий на полынь.
И России домовину развалить –
лишь как следует плечьми пошевелить,
чтобы всяк Непоклонившийся возмог
отрясти хвостатых с занемевших ног,
пробудить в груди с гортанью Божий зык:
колокол Наш вечевой – Родной язык.



ИОВ

*Был человек в земле Уц,
имя ему Иов.*

Был Иовом самодовольным
Я в череде безбедных лет,
впечатывал в пылу юдольном
победный шаг в пробитый след.

Я богоданной мнил наукой
сгребать к себе хвалебный шум,
что шелестящую гадюкой
вползал в мятущийся Мой ум.

И лицезрело око скучно
и безбоязненно пока
в сём мире как вода текущем
неколебимость на века!

И в голове Моей убогой
крутился сатанинский стих,
что Я – ходатаем у Бога
за соплеменников своих.

Так, благодушен к твари каждой,
Я был бездушен, словно тень.
Но отыскал Меня однажды
в бурьяне благ Мой новый день.

И склад Мой, Мне принадлежащий
до горизонтовых дверей,
вдруг оказался тьмой кишашей
себя сжирающих червей.

Разверзлась алчно пасть могилы,
чтоб без зубов Меня смолоть,
и торопливо доязвила
обида раненую плоть.



Друзьями названный отребьем,
не чуя топот их на Мне,
Я омертвело ждал свой жребий
в ушах звенящей тишине.

Но, отведа от преисподней,
в развалинах чумного дня,
Бессмертие – рука Господня –
отверзло дверь Мою в Меня.

Душа болезненно качнулась,
пластаясь на мертвящем дне,
и вдруг легонько прикоснулась
к чему-то новому во Мне.

И власть исчезла плоти тленной,
хотя с небес не грянул гром,
когда мистерию Вселенной
Я увидел в себе самом!

Так, тоньше зрения и слуха,
во вздохах Вечного пути,
зерну Божественного духа
настало время прорасти!

И, без мучительных попыток,
теперь хранимый от измен,
Я развернул небесный свиток
досель таинственных писем,

чтоб страх Господень и пороки,
хулу, молитву и молву
увидеть – всё в одном потоке,
идушем прямо к Божеству.

И выше мысли, выше страсти,
за их предел ушла душа,
из мути горести и счастья
в Свет Немерцающий спеша.



Александр Фролов

Россия, Санкт-Петербург

Поэт, прозаик. драматург. Автор восьми книг стихов и сборника рассказов. Стихи публиковались в многочисленных журналах и альманахах в России и за рубежом. Переводились на французский, финский, английский, китайский, киргизский языки. Лауреат ряда литературных премий. Член СП СПб и Союза российских писателей.

Одесская рапсодия

Кое-что из истории

Мой прадед по материнской линии Исаак Талал был в большом авторитете в Кишинёве как, возможно, лучший кожевенник и обувщик. За пару дней до Большого Кишиневского погрома 1903 года к нему пришел урядник и сказал: «Уходи, Исаак, будет погром». Исаак предупредил, кого успел, погрузил самое необходимое на подводу, включая жену и четверых детей, и накануне погрома ушел в Одессу.

В Одессе его тут же приняли старшим приказчиком в самый престижный магазин Бейма на Дерибасовской. Он не стоял за прилавком. Он был выдающимся экспертом по коже и обуви. Для особо ценных покупателей его зачастую просили продемонстрировать свои познания: ему завязывали глаза и давали пару обуви. Ощупав обувь со всех сторон, Исаак говорил, в какой губернии и когда забит скот, где и когда выделана кожа и какого качества обувь. Обычно он стоял у входа в магазин в белоснежной поддевке и кожаном фартуке, и половина Одессы с ним раскланивалась.

Как-то раз, один молодой человек, известный в Одессе (и не только в ней), как Миша Япончик, приподнял канотье, приветствуя Исаака, и спросил:

– А шо вы можете сказать, мсье Талал, за эти шкары? – и показал на свои лакированные туфли.

Мсье Талал кинул быстрый взгляд на ноги Япончика:



– Шо я вам могу сказать, Миша, за эту туфлю. Или я не видел таки на рейде этот греческий пароход с контрабандой.

– И шо с этого? – поинтересовался Япончик.

– А то, Миша, шо через три недели эта туфля сползет с вас, как кожа с обваренной кипятком ноги. И боюсь, в самый неподходящий момент.

Япончик побледнел, потом покраснел, потом выхватил наган и с криком «Убью гада!» ринулся по Дерибасовской в сторону Примбуля.

Одесситы верили прадеду: профи – он и в Одессе профи.

Голубок

Тетя Дора вышла на балкон, поглядела на небо, понюхала воздух и, вернувшись в комнату, сказала:

– Будет дождь.

– Да ну, – усомнился я, – какой дождь? Небо ясное, солнышко...

– Таки будет, будет. Я знаю. Возьмите зонтик.

Я достал складной японский зонтик (большая редкость по тем временам) и сунул его в сумку.

– Тю, – сказала тетя Дора, – или это зонтик? Вот зонтик!

И она вручила нам невообразимых размеров зонт с бамбуковой ручкой толщиной с черенок лопаты, предупредив:

– В доме не раскрывай – разобьешь что-нибудь.

Я взял зонт, и мы с женой отправились на прогулку.

Дождика ничто не предвещало, но на Пушкинской таки да – он начался. Да и не дождик и даже не дождь – настоящий южный ливень. Он хлынул внезапно без всякого классического оповещения в виде «первых тяжелых капель». Сразу. Стеной. Такой силы, что насквозь пробивал плотную и развесистую крону платана, под которую мы нырнули в надежде укрыться. Мысленно поблагодарив тетю Дору за предусмотрительность, я не без некоторого усилия раскрыл зонт. Его спицы диаметром напоминали велосипедные, купол был упруг и такого размера, что под ним не только мы вдвоем могли поместиться, без риска промокнуть, но и еще кто-нибудь не слишком крупный.

Что и случилось через пару минут. Это был старичок – типичный «пикейный жилет», какими я их представлял по описанию Ильфа и Петрова: в мешковатых парусиновых брючках и таком же пиджачке, в сандалетах на босу ногу, но при этом в пикейной (если это было пике) жилетке и в канотье со слегка обгрызанными полями. Лица я разглядеть не успел: он так



стремительно нарисовался непонятно откуда, впрыгнул под зонт спиной к нам и плотно прижался больше ко мне, чем к жене. Росточку он был такого, что поля его канотье уперлись мне в кадык. Я крикнул, жена ойкнула, мы с некоторым недоумением переглянулись, а «жилет» слегка повел плечиками и поерзал, устраиваясь поудобней.

Южные ливни обычно краткосрочны, но этот почему-то не желал прекращаться: все лил и лил. Прошло, наверно, минут пятнадцать, когда наш неожиданный сосед вдруг решил повернуться к нам лицом. И повернулся бы, отрезав по ходу мне голову полями своего канотье, но наткнувшись на препятствие в виде этой самой головы, передумал поворачиваться и произнес неожиданным для сублильного тела густым баритоном:

– Или вам понравится этот потоп? Ною и не снилось. Просто тронуться мозготурой!

Ответа, видимо, не подразумевалось, но мы вежливо поддакнули. В молчании прошло еще некоторое время. Тут ливень закончился так же внезапно, как и начался. Только с листьев промокшего насквозь платана продолжали падать тяжелые капли. Откуда-то из глубин кроны слетел воробышек, плюхнулся в лужу и затеял купание.

– О! – сказал старичок. – Вот и голубок. Граждане пассажиры таки могут покинуть ковчег.

С этими словами он выпрыгнул из-под зонта и, так и не обернувшись, засеменял через Пушкинскую, властным жестом поднятой ладони остановив молоковоз, двигавшийся по улице и едва успевший затормозить.

– Каков, а! – я усмехнулся. – Ни мене здрасте, ни тебе спасибо...

– Голубок! – отозвалась жена, показывая на воробья.

– Одесса! – сказал я, и мы расхохотались.

Шо вы здесь все ходите?

Мне было тринадцать, когда мы всем семейством на летних каникулах в очередной раз прилетели в этот чудный, наполовину родной нам город Одессу.

В те стародавние времена никто и не слыхивал о металлодетекторах, автоматических турникетах и прочих чудесах системы контроля доступа. Мы просто спустились по трапу на летное поле, дождались, пока из чрева самолеты вышвырнут багаж, нашли свои чемоданы и рюкзаки и, огибая стоящие по пути самолеты, с толпой утомленных полетом пассажиров двинулись к выходу. Тащились по пыльной жаре довольно долго в



направлении, заданном небрежным взмахом руки служивого при трапе, и дотащились до высокого решетчатого забора с открытой в нем калиткой. Метров на пять по обе стороны забора было установлено сваренное из труб ограждение. Проход, образованный им, был настолько узок, что гражданин с одним чемоданом еще кое-как мог в него протиснуться, но с двумя... извините.

У входа этого выхода длинный худющий мужик в тельнике и в моряцкой фуражке с крабом энергично махал метлой-растрепой, поднимая клубы пыли. Видимо, в его задачу входило уменьшение количества пыли на летном поле, для чего максимум ее следовало оставить на пожитках и одежде прибывших в город-герой граждан. Народ чертыхался, плевался, отпихивал этого ударника метлы от его Фермопил, но тот с одержимостью царя Леонида продолжал свою пылевую битву. В какой-то момент после нескольких крепких определений в свой адрес и пары увесистых тычков, он остановился, подбоченился, воткнул метлу в асфальт и возмущенно возопил:

– И шо вы здесь все ходите?!

Это было смешно, но почему-то никто не засмеялся. Все с усталым и мрачным видом протискивались в ущелье, медленно по одному просачивались через него, чтобы на выходе этого выхода наткнуться на другое препятствие. Прямо посередине прохода в пыли на асфальте возлежала тощая южная кошка и с ленивым видом превосходства, прищуриваясь, смотрела на перешагивающих через нее людей. Народ чертыхался, плевался, но старался все же не наступить на гордое животное. В какой-то момент кошке надоела постоянная угроза ее полуденному покою; она встала, подбоченилась, то есть выгнула спину, и возмущенно возопила... В переводе на человеческий это означало то же самое:

– И шо вы здесь все ходите?!

Это было смешно, и мы и все, кто был рядом, засмеялись. А потом и все, кто не был рядом, тоже непонятно почему засмеялись. Так, смеясь, и вывалились в Одессу.



Одесская рапсодия

По одну сторону подворотни сидит на ящике невообразимо толстая и коротконогая тетка и кричит звонким и тонким голосом: «Семачки! Семачки!». По другую сторону подворотни сидит высокая и худая, и гулким басом кричит: «Рáчки! Рáчки!»

Разнотон дает неожиданный музыкальный эффект: «Семачки!» – первый голос, «Рáчки!» – второй. «Семачки! – Рáчки! – Семачки! – Рáчки!».

Через улицу, у продовольственного магазина двое грузчиков; один стругает с грузовика наполненные молоком бидоны: бум-м! Другой загружает на машину пустые: бамц!

Музыка усложняется: «Семачки! – Бум-м! – Рáчки! – Бамц! Семачки! – Бум-м! – Рáчки! – Бамц!».

Следующую лепту вносит дворничиха с метлой-растрéпой: «Вжик! – Швах! Вжик! – Швах!»

«Семачки! – Бум-м! – Рáчки! – Бамц! – Вжик! Семачки! – Бум-м! – Рáчки! – Бамц! – Швах!».

Из подворотни появляется тощая, в двух измерениях, неопределенного окраса кошка и привносит свою ноту (ля-бемоль мажор): «Мьяо!»

«Семачки! – Бум-м! – Рáчки! – Бамц! – Вжик! – Мьяо! Семачки! – Бум-м! – Рáчки! – Бамц! – Швах! – Мьяо!».

Откуда-то сверху визгливый женский голос (трагический дискант) ставит код: «Бора, кушай же борщик! Бора!...».

Из парадного рядом с подворотней выходит пожилой длинноволосый мужчина в черной паре и с большим бантом вместо бабочки. Под мышкой у него скрипка в футляре.

Прослушав несколько тактов этой нечеловеческой музыки, он поднимает голову к окну второго этажа и мрачно заявляет: «Эрик Сати». Высунувшаяся из окна женщина (должно быть, жена) качает головой: «Побойся бога, Миша. Жора Гершвин!» «Или так, – соглашается мужчина. – Одесская рапсодия».

Мужчина уходит.

Рапсодия потихоньку стихает, чтобы через некоторое время повториться примерно в тех же вариациях: «Семачки! – Бум-м! – Рáчки! – Бамц! – Вжик! – Мьяо! Семачки! – Бум-м! – Рáчки! – Бамц! – Швах! – Мьяо! – Бора, борщик!».



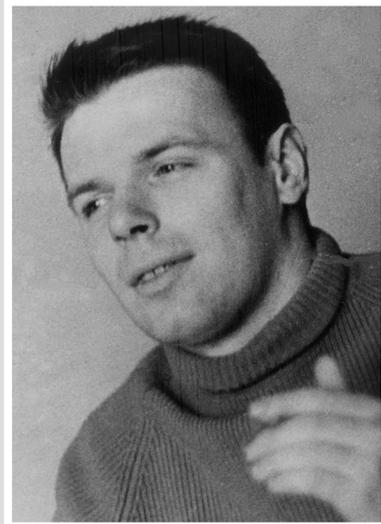
Юрий Линник

(1944–2018)

Россия, Петрозаводск

С 1970 г. работал в Карельской государственной педагогической академии.

С 2014 г. – профессор Петрозаводского Государственного университета. Кандидатская диссертация «Объективность красоты в органической природе» защищена в 1970 г., докторская «Эстетика космоса» – в 1988 г. Член СП РФ. Заслуженный деятель науки РФ. Автор 64 книг стихов, более 600 венков сонетов. Вышли в свет 167 выпусков «Альманаха Юрия Линника».



**Из интервью доктора философских наук Юрия Линника
доктору исторических наук Юрию Савватееву:**

Основные сферы вашей деятельности? Расскажите о них чуть подробнее. Как они взаимодействуют, влияют друг на друга? Чем обогащают вас лично? От чего хотелось бы отказаться (хотя бы на время) и за что хотелось бы взяться ещё?

– Ещё юношей я ощутил тягу к универсализму. Мне хотелось не только понять мир как целое, но и вписаться в него – застолбить своё место в нём. Как поэт и философ я откликнулся на ключевые темы физики, астрономии, биологии. Что-то сделал и в области филологии. И теологии даже. У меня много искусствоведческих работ. Какая тут взаимосвязь? Это грани одного кристалла, который вырос – и продолжает расти – в моём «я».

Всё пропущено через себя.

Всё пережито.

На всё положена печать моей субъективности.

– Назовите Ваших самых любимых поэтов, писателей, философов?

– Круг здесь очень широк. Назову кумиров юности: в прозе Константин Паустовский, в поэзии Борис Пастернак, в философии Николай Бердяев. Добавлю ещё и композитора: Александр Скрябин. И художника: Микало-юс Чюрлёнис. Эти гении совместно взращивали мой дух.



– Что представляет из себя Ю. В. Линник как индивид, как личность, как индивидуальность?

– Хотел бы увидеть человека, который мог бы честно и адекватно ответить на подобный вопрос!

Кто бы ответил на него за меня!

Дельфийское *γνώθι σεαυτόν* – познай себя – я не смог осуществить.

Интроспекция способна дать только субъективные результаты. Вероятность самообольщения тут весьма велика. Бегу равно как самовозвышения, так и самоумаления. Себя не знаю.

Для объективного ответа необходим взгляд со стороны. Он обретается в диалоге. Великое понятие! Я ли не поклонник М. М. Бахтина? Но скажу честно: к диалогу я плохо приспособлен. Человек замкнутый и одинокий, я всю жизнь строил защитную раковину – и весьма преуспел в этом. Редко и неохотно высовываюсь наружу. Изоляция стала основным параметром моего бытия. Кто-то видит в этом – и тут наличествует парадокс – вызов, эксцентричность. Ну и что? Меня это ничуть не заботит – говорю смиренно, без всякой гордыни.

Линник плохо понимает других.

Но и другие плохо понимают Линника!

Напомню тютчевское: *Другому как понять тебя?*

Многие считают меня ненормальным – то бишь сумасшедшим. Это закономерно для мира, где довлеют недоброжелательность и подозрительность. Смешно обижаться!

Моя самодостаточность несомненна. Это не есть ни достоинство, ни недостаток. Просто это моё.

По поводу дифференциации понятий, содержащихся в вопросе. Тут я всецело согласен с А. Г. Асмоловым: *индивидом рождаются, личностью становятся, а индивидуальность отстаивают.*

Добавлю немного от себя:

– если мой условный Бог – личность, то и я, Его образ, обязан быть личностью, противостоящей обезличивающему влиянию социума; личностное начало в моём понимании – одна из нетварных энергий Бога; моя личность – Бог во мне; я, личность – икона Бога;

– эволюция идёт по пути прогрессирующего накопления разнообразия; качество неповторимости, непохожести, уникальности неуклонно нарастает – и на пике этого процесса мы находим человеческую индивидуальность; трудно отстаивать право быть собой – общество действует как нивелир; в этом противостоянии – как мне кажется – я имею некоторые успехи.



– Почему обратились к поэзии? Как это произошло? Назовите самые лучшие (удачные) произведения? Сколько сборников стихов, поэм опубликовано? Чем соблазнила проза? Ваши лучшие прозаические произведения?

...Я поэт и философ детства. Как даос, я постоянно возвращаюсь в эту пору – и черпаю из неё.

...Моя первая публикация – стихи, посвящённые *Луннику*: это 1959 год. Так была предопределена космическая тема в моей поэзии. Очень люблю свою первую книгу «Прелюдия». Потом я что-то потерял. Улетучилась лирическая непосредственность? Говорят, что в моих стихах появилась рассудочность – меня называют холодным поэтом. Может быть. Но как направлять своё развитие? Что сложилось – то сложилось. Куда вела муза – туда и шёл.

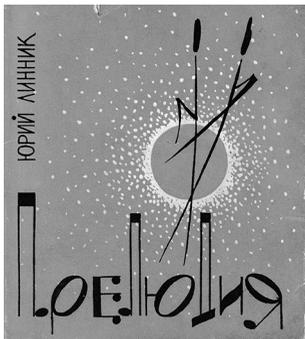
Возможно, это подозрительно, но я плодovit: если книги стихов сплюсовать с альманахами, где поэзия обильно представлена, то число выходит за 200.

...Моя проза является продолжением моей поэзии...



Юрий Линник. Росы России

Стихи из книги «ПРЕЛЮДИЯ» (1966 г.)



Свет

Тихо брезжим
 И бродим в природе,
 Мы смешались с ручьями и птицами.
 А глаза у тебя – половодье
 синевы
 с тростниками-ресницами!

В тихой ясности,
 Мартом застуженной,
 Мы слонялись весь день дотемна...
 Словно раковина – жемчужиной,
 полночь
 месяцем освещена!

Ты – моя!
 Ничего мне не надо,
 Только музыкой был бы богат,
 Чтобы за руку – из листопада
 мне тебя уводить
 в снегопад!

Мы себя
 Этим рощам подарим,
 Будем в белую полночь нырять,
 Чтоб Россия своим светозарьем
 осветила
 вот эту тетрадь!



Родине

Отпусти мне
отважные крылья,
В час мой гибельный –
не покидай!

Удиви меня
праздничной
былью,
На ромашках своих
Погадай!

Обучи меня зрелым работам
И симфониям желтых полей.
Посвети мне
ночным
самолетом

И лесным костерком
Обогрей!

Дай пображничать мне
и постольничать,

Научи
лошадей запрягать,
Как Вольге,
дай на Волге
повольничать

И вольготные песни
Слагать!



Лето

Над пасекой –
июлевая
хмарь...

Я постигаю тонкие искусства –
Учусь у деда раздувать дымарь
И пчёлам не даваться под укусы.
Мой пасечник медлителен, как мёд,
И речь его так плавна и медова, –
Но коль о поле бранном запоёт,
То высекает молнию из слова!

Я вынимаю хлеб из кошель,
Мечу солому в круглые омёты
И, как большая добрая пчела,
Откладываю в память, словно в соты, –
Тебя, мой лес, с прозрачностью сквозной,
Тебя, моя прохладная речонка! –
И птичьи гнёзда
всходят надо мной,

Округлые,
Как пригоршни ребёнка!
Россия говорила:
«Не забудь,
Как, слизывая вкусный хлеб с ладони,
По грудь в туман,
А, может, в Млечный Путь
Входили настороженные кони».
Россия говорила:
«Помяни
Мои леса, шумящие сурово,
И, словно чудо-птицу, помани
Певучее и радужное слово.
Где б побывать тебе ни довелось,
Ты помни даль задумчивых просторов
И эту ночь,
Прочерченную вкось
Стремительным
паденьем
метеоров!»



Россияне

1

Россияне –
 это росное
 сиянье
Самой синей,
Нахоложенной травы!
Ведь издревле
 и древяне,
 и поляне
Стали зваться
Сыновьями Синева!

Справа – сказка,
 прямо – чудо,
 песня – слева!
Зяблик – зябнет,
В рощах – россыпь росамах!
У славян
 любое слово,
 словно древо:
Корни – в пламени,
А крона – в соловьях!

2

*Мне снится: Победа. Телеги и дым. Ты – белая Леда, я – юный Вадим.
Ласкаю подругу в зелёном безлюдьи – расплавят кольчугу горячие
груды. Мне снится: Кустарник. Туман и луна. Я – звонкий гуслирник,
а ты – тишина. Вдали от посада встречаем закат, ты – дивная лада,
я – песенный лад. Мне снилось недавно: Свобода ли? Иго ль? И ты –
Ярославна, я – раненый Игорь! Из вязов, из ив ли ты светишься мне?
Кто плачет в Путивле на белой стене? О ливни косые сквозь промельк
зарниц! Ведь я без России – как небо без птиц!*



О Гарсиа Лорке

Его вели сквозь путаницу веток,
Сквозь птиц
И сквозь жужжание пчелы.
Его зрачки,
 как дула пистолетов,
 решительны,
 печальны,
 тяжелы!

И в роще,
Где светились апельсины,
Как ядра солнц
Со взрывами внутри,
В него стреляют!

– Кто стреляет в сына
Испании?!

– Испания,
Смотри
На узкие кобуры их наганов,
На свастику в петлице вырезной!

Поэт –
 сподвижник
 грома и вулканов,
Его стихи –
Как склад пороховой! –
И – выстрел!..
Кровь стирают со стены
При свете гневной траурной луны!

...Но, Родина!
Как бы печальным знаком,
Как бы желая памяти помочь,
Бессчётное число кровавых маков
Из недр своих
Ты выслала в ту ночь!



Горели маки,
Обжигали маки,
Как цвет борьбы, как красный цвет атаки!

Испания!
Еще ты не избавлена –
Ты, как надгробьем, нечистью придавлена!

Но вспомни – маки,
Те святые маки,
Их алый цвет – цвет жизни и атаки,
Тот самый цвет, с каким наверняка
Тореадор
Шагает
На быка!

«Неистовый Винсент»

А. Вознесенскому

Где жил он? – В подвалах, чтоб ближе к Земле! На чахлый чердак,
чертыхаясь, во мгле вздымался, чтоб к вздыбленным звёздам поближе! –

Поблажек
Ван-Гог
 не просил у Парижа!
Нечёсан, как джунгли,
Как пена – космат,
Он знает, что солнце – его меценат!

Художник,
 как жадное дерево,
 жил! –

О магма,
Текущая ветками жил,
Чтоб музыкой хлынуть из мозга – в мазки!

...Пусть дождь зашнурует его башмаки, пусть небом заштопана шляпа, и
пусть порой неотвязчива вещая грусть, пусть нету ни свечки в сплошной
темноте –



Бушует

на огнеопасном

холсте

Подсолнух,

Как протуберанец горячий!

...Скончался Ван-Гог,

Не дождавшись удачи!

Он умер не сразу,

Но умер в грозу –

Вселенная

дремлет

в дощатом

гробу!

С его кредиторами –

Зряшная милость! –

Посмертная слава сполна расплатилась!

Баллада глаз

Художнику-антифашисту Г. Мазурину

Не роса –

это влажные звезды

осели к рассвету на листьях, прозрачно-текучих!

О свинцовое небо Освенцима! –

Тусклый свинец,

Когда луна барахтается в тучах,

Как жёлтый захлебнувшийся пловец...

...А ночь контрастна, как эстамп...

...А ночь контрастна, как гроза...

Сквозь нервный тик зеленых ламп

Идут по городу глаза.

Идут глаза на костылях –

Два угловатых костыля.



А на зрачках,
Как на кострах,
Горит!
Горит!!
Горит Земля!!!

Глаза тоски,
Глаза обид,
Как будто в грозный час ответа
Сошли с заученных орбит
Две синих плачущих планеты!
Мерцает призрачное дно,
Дымится влажная слеза –
И прожигают полотно
Глаза!
Глаза!!
Глаза!!!

Инвалид

Со мною пьёт
 безногий
 инвалид.
Он что-то говорит мне о войне.
О женщинах,
 смакуя,
 говорит,
Подмигивая,
Спорит о вине.

А я? –
А я не чувствую вины,
Но понимаю, смутно понимаю:
Он перерезан
Колесом войны,
Как колесом ослепшего трамвая!
Был взрыв – и сон.
Он скручивал, как жгут.
Была глухая тёмная усталость...



А небо,
Словно синий парашют,
Покачиваясь,
Мягко опускалось
В его большие чёрные зрачки...

Но эти дни
Теперь так далеки!

В бокале плыли
Тоненькие льдинки,
Прокручивались хриплые пластинки.

Сидит он на высокой детской тумбе,
И слышу я сквозь лязг,
И кавардак,
И смех:
Его единственный башмак
Притоптывает
В такт проклятой румбе! –

Земля гудит,
Как гулкий барабан,
Земля хрустит,
Как сдавленные кости!

...По улицам –
Сквозь сытость и туман –
Идёт он,
Недослушан,
Сед
И стар,
И кажется –
Он пробивает тростью
Слезающийся берлинский тротуар!



Художник

Э. Межелайтису

В моих зрачках,
Как в сдвоенном туннеле,
Несутся звёзды, судьбы, поезда!

О Человек! –
Ты – фильтр:
В тебе осели
Весна и осень,
Счастье и беда! –

Весь этот мир:
Трава,
 река,
 антенна
И провода –
Под скальпелем зари
Они, как кровеносная система
Наэлектризованной Земли!

Ты – как весы:
Немного передвинешь
На нервных чашах гири чутких слов –
И снова в мир,
 тебя создавший,
 схлынешь
Разливом красок,
 звуков
 и стихов!



Капля ночи

Я эту муку знаю наизусть,
Но как помочь единственной на свете? –
Со дна зрачков
Утопленницу-грусть
Не выловить и самой хитрой сетью!
О как они грустят, твои глаза –
Две невозможных осени, две грусти! –
Когда, смиренным медленным грозя,
В них тускло отразится захоlustь!
И так порой в тебе захолодит,
Захолонет и вдруг слезами схлынет,
Что кажется –
Девятый вал обид
Не то что души,
Даже горы сдвинет!
В твоё окно
Ночной фонарь цедил
Бессонницу и сырый свет протяжный! –
Как каплю ночи,
Капельку чернил
Я обронил
На белый лист бумажный!
О, тихий мир –
Мирам твоих ресниц!
Как сделать их хоть чуточку счастливей?..
Когда бы мог,
Скупил всех пленных птиц
И отпустил бы в радугу и в ливень!



Доверье

Ты – спи...

Туман
 в сыром стогу
 ночует,
А утром
Покидает сизый стог...

Пусть из тебя –
В меня перекочует
Знобящий ветер всех твоих тревог!

Пусть не мигая,
Как гипнотизёры,
Глядят миры и клонят нас ко сну! –
В тебя влюбились птицы и озёра,
Доверив мне тебя и тишину.

Вот почему
Я тих и озабочен,
Вот почему печаль моя проста,
Вот почему в пустом гнезде сорочьем
Заночевала древняя звезда.

Ты утром встань –
Вся радость и даренье! –
Меня от суеты дневной храня!
Роса и птицы, люди и деревья –
Они тебе доверили меня!



Снежные ритмы

Ночь –
 синяя лампочка
 с жёлтой спиралью

Осенней аллеи –
Зажглась за окном...

Ты знаешь?
С раздумчивой тихой печалью
Я, словно с тобою, почти незнаком!

Как часто,
В безадресном мире упрочась,
В нас, словно сквозняк, зазнобит непокой!

Рождается близость –
Из двух одиночеств,
Из двух ожиданий и ночи одной! –

Особенно,
Если земля в листопаде,
С тревогой, прописанной в летнем саду, когда в элегичном твоём
Ленинграде ночная Нева заскучает по льду! К тебе – незабвенной,
забытой, заклятой – как донным теченьем, я грустью влеком!..
Выклянчивал снег
У светящихся статуй
Прощенье за холод, таящийся в нём!

Прошлись,
 как по струнам,
 по дивной ограде

Смычки листопада,
И канули прочь...
От белого снега в твоём Ленинграде
Нечаянно вспыхнула Белая Ночь!



Провода

Так пусто в ночных проводах,
Где ни песен, ни писем!
О как я зависим
от тех проводов
законных,
От заспанных телефонисток
Фатально зависим,
Зависим от писем твоих, от звонков телефонных!

Мой быт,
Как бессильный магнит,
Надо мною не властен,
Его намагнитить не сможет и атомный век!

Будь я снегопадом,
Я был бы по-своему счастлив,
Но падают люди иначе, чем падает снег!

Луна голубая
О шпиль городской укололась;
Летят провода, рассекая ночные дожди, –
Они,
словно чашку с водой,
мне приносят твой голос,
И очень боятся
Его расплескать по пути!



Осенний зов

Одиночество!
Вновь
 я твоими слезами
 увлажен!
Мне никак не привыкнуть к моей одичалой беде –
Как горящая нефть,
Бьёт заря
 из невидимых скважин,
И тревожная рябь
 заметалась
 по тёмной воде!

На прощанье сентябрь
В каждый листик
По лампочке вставит,
Электричество пустит
 по тонким прожилкам листа –
И свой свет листопад
 узким конусом
 в полночь направит,
Чтоб нащупать в пространстве
Черты дорогого лица!

Каждый лист –
Он тебе
 так отчаянно
 будет сигналить,
В семафоре он вспыхнет,
Влетит в разноцветные сны!
Ты сквозь позднюю осень вернись,
И душевную наледь
Мы с тобою растопим
 в зелёных мартенах
 весны!

Этот мир –
Он для нас
Голубыми лесами обсажен,
Он для нас заключает в росинке любой по звезде!



Ничьи

Вот мы снова – ничьи!
Ты – ничья,
И я тоже – ничей!
Даже город ничейный
мы сдали
разлуке на милость!

...А старик со святыми глазами кормил
голубей,
И его седина в предрассветный туман
обратилась!

Долго будим таксиста –
Он мирно вздремнул у руля;
Хлопнув дверцей,
я выпустил все сновиденья наружу!

– Вам куда?
– Я не знаю!
Как жаль, что планета – кругла,
Что нельзя по прямой
уноситься
в ненастье и стужу!

Мы теряем друг друга!
А осени –
всё нипочём;
У таксиста в напарниках –
ливень и жёлтая вьюга!

По сердцам,
как по рюмкам,
давай этот дождь разольём
И, не чокнувшись, выпьем
За то, чтоб не помнить друг друга!

Как сквозь пальцы – вода,
Сквозь меня потекут города,



Города, мне чужие,
с чужими, как ты,
адресами!

Неуютно мне будет
В уюте чужом!

Но всегда,
Словно хлебом,
со мною
поделится мир чудесами!

Будет птица летать!
Будет осенью парк облетать!
Снова белые ночи зарю зарифмуют с зарёю!
Мир ничьим не бывает –
И буду я им обладать,
Только миром,
как чудом,
я буду делиться с другою!

Ожидание марта

Живу я в сторожке,
Средь тайны сторожкой,
Пью воздух и чай, вижу солнце и сны –
Как будто
берёзовой
звонкой серёжкой

Ты вдега
В прозрачные мочки весны!

В какие селенья,
В какие забвенья
Сквозь сосны
скользит голубая лыжня?
Оттаяв, стреляют в печурке поленья,
Нацелясь в косматое сердце огня!



Сквозь дразги, сплетни и обузы
Ты – как русалочка речная,
Внезапно забранная в шлюзы
Эпохи нашей космодромной...

А ты слыхала,
Как в апрель
То с присвистом, то с пляской дробной
Поёт капеллами капель?

Когда,
Просвечен до глубин
Сияньем медленным и странным,
Лежишь под небом голубым,
Как под лучащимся экраном,
То начинаешь понимать,
Откуда это обращенье
К земле, чьё вечное вращенье
К нам бескорыстно, словно мать!

Уходит грусть,
Спадает боль
И забываются наветы,
Когда раскинешь руки – вдоль
Всепонимающей планеты!

Начало

От тяжести звёзд отражённых прогнулась вода,
И дремлют медузы
Под каждой звездой
Отражённой!

И слышно, как в женщине,
вздвогнув,
восходит звезда

И брезжит Начало
Грядущей судьбы потаённой!



Огромною ночью,
Чей смысл сокровенный глубок,
Я слышу под сердцем
Дремучий толчок
Вдохновенья! –

Галактики –
 звёздная
 масса,
 студёный белок,
Где жёлтое Солнце,
Как яркая вспышка Рожденья!

Земля!
Наизнанку
Тебя выворачивал
Плуг!

Земля!
Я твой сеятель,
Любвеобильный и грешный!

Зерно прорастёт
И забрезжит былинка, как звук,
Как свет возникает
И брезжит сквозь сумрак кромешный!

Я славлю Начало!
Начало звезды и зерна,
Начало чьего-то
 далёкого
 сердцебиенья

И – в тихую ночь,
У раскрытого настезь окна –
Сквозь тетрадный лист проступившее стихотворенье!



Сентябрь

Я подумал
В опавшем орешнике,
 Что, наверно, столетья подряд
 Сентябри, как пустые скворешники,
 В наших судьбах прощально сквозят.

Уходили с дорог подорожники, листья падали, еле дыша. Мы в
безвременном мире – заложники улетающих птиц и дождя.

Я подумал
В опавшем ольшанике,
 Что извечно в пустом сентябре
 Что-то вроде тревоги и паники
 Начинаем мы слышать в себе,

Смолкли птицы в опавшем осиннике, надышалось туманом стекло.
В захворавшей природе, как в клинике, скоро станет от снега бело.

Я подумал,
Увидев треножники
 Живописцев на стылой заре,
 Что, наверно, большие художники
 Начинаются лишь в сентябре.

Завалились на спячку валежники, придавив незамеченный груздь. Но
под снегом проснутся подснежники, но бессмертны и радость, и грусть!

Я подумал,
Войдя в белоногую
 И нагую прозрачность берёз,
 Что, охвачена синей тревогою,
 Даже осень волнует до слёз!



Бродит осень –
и топчет дождями
опавшие листья,
Чтоб их с глиной смешать,
Но на ветки – весной возвратить!

Мы у осени учимся
Зрелости слова и кисти,
И уменью
опавшую радость
в стихах возродить!

Гроза

Чтоб полюса сердец соединить,
Вдруг вспыхнул мир, подобно автогену! –

Сквозь сердце,
Как вольфрамовую нить,
Я, обжигаясь, молнию продену!

У сердца тоже небо есть своё –
В него впусцу я тучу грозовую!

Вот снова,
Озаря забытьё,
Гроза ко мне придвинулась вплотную!

Вот синелапой молнией окно
Раскрыто настезь! – сразу осветилось

И дно зрачка,
И вздрогнувшее дно
Лесной реки, впадающей в немилость!

Весь воздух, как чернила, лиловат,
Мир творчеством объят, мир ищет тему –

И почерк мой
Тревожно-угловат,
Как росчерк молний, пишущих поэму!



Причал

Я знаю, что боль
только синью лесной
излечима! –

Я тихо отчалою
В печаль журавлиных полей,
Костёр разожгу –
И стеною стеклянного дыма
Меня отделит он от грусти далёкой твоей!

Прощальные птицы
По самому дну озера,
Как невод, медлительно тянут своё отраженье,
Но им не поднять
сонных рыб и траву –
в облака,

Им, тихо влетающим
В тихое стихотворенье!

Бесшумно
меня покидают
твой голос, твой взгляд –

И входит в меня
Утишающий лес озарённый...
Стога заземлёнными колоколами стоят –
Уходит под землю
Неслышимый звон изумлённый!

У неба я выклянчу
Светлую эту печаль:
Я буду рыбачить и в лунном бродить
половодье...

Когда я вернусь,
Ты ко мне облегчённо причаль,
И, с болью расставшись,
ты мне доверяй,
как Природе!



Радость печали

О чём-то птицы поздние кричали,
Летели, обгоняя облака...

Мелодии

выходят

из печали,

Как родники выходят –
Из песка!

Какая осень!

Всхлипывает слякоть

И окуни спускаются на дно,

Давайте, Дождик, будем вместе плакать

И у костра сушиться заодно.

Такая грусть!

Морозными утрами, –

От инея вчерашнего черны – в полях окоченевшими мирами
лежат и лиловеют кочаны. Такая грусть! Примёрзло поздней
ночью к моим мосткам забытое ведро.

И день

упал на землю, –

как сорочье,

Линялое и сизое

Перо!

Мир – под дождём,

Под журавлиным кличем,

Мир – как мираж в туманном забытьи.

Мир – опечален,

Мир – философичен,

Как эти мысли тихие мои.

Что на Земле,

мгновенные,

мы значим,

И нам ли

О бессмертии судить?

Так много слёз за жизнь свою наплачем,

А дерево

Забудем посадить? –



О нет!
Ты жизнь в поэмы переплавишь,
В бессмертие симфоний и картин!

Так извлекай – как музыку из клавиш,
Мелодии – из ливней и лавин!

Пора сенокоса

Я, горожанин,
 Был ограблен
 Асфальтом, сизым, как тоска –
 Но я доверюсь лёгким граблям
 И тёплой выюге молока!

Кошу,
 Глотая воздух вдоволь, –
 Но вот вдоль облачной гряды
 Закат прожектором бордовым
 Забил из неба и воды!

Играют звёзды
 В чет и нечет;
 Уснули сны – а я не сплю:
 С травой смешавшись, как кузнечик,
 Я лёгким пёрышком скриплю.

А утром? –
 Утром спозаранку,
 Войдя по плечи в тишину,
 Я на росистую изнанку
 Прокосы вновь переверну.

Как необъятно
 Пахнет сено! –
 Как будто в пору летних гроз
 На всех мирах, во всей Вселенной
 Идёт прозрачный сенокос!



Вера Виногорова

Россия – Польша

Член Союза переводчиков России.
Переведенная Верой Виногоровой книга избранных стихов Виславы Шимборской «Жизнь с бухты-барахты» на русском и польском языках, издана в Санкт-Петербурге в издательстве «ВВН» (2007). Ею переведены роман «Транс-Атлантик» В. Гомбровича, книга Рышарда Капуцинского «Стремнина истории», стихи Лешека Жулиньского, Александра Навроцкого, Юлиуша Эразма Болека.

Точка пересечения

Два Нобелевских лауреата – одно стихотворение

Иосиф Бродский был не только поэтом «от Бога», он был блестящим переводчиком. Творчество поэта-переводчика – это именно творчество: переплавляя в себе исходный текст, поэт создает в своем языке стихотворение, близкое по смыслу, образности, экспрессии оригиналу. Часто пишут о конгениальности автора и переводчика – если переводчик слабее автора, он может «занизить» звучание произведения в языке перевода, если сильнее – переводы могут оказаться талантливее оригинала. Но вот не банальная ситуация: будущий Нобелевский лауреат переводит будущего Нобелевского лауреата. Я говорю об Иосифе Бродском и польской поэтессе Виславе Шимборской.

В жизни они встретились один раз. В своем интервью, опубликованном в польском русскоязычном журнале «Новая Польша», Вислава Шимборская вспоминает: «К моим мимолетным знакомым я должна причислить и Иосифа Бродского. Он не раз бывал в Польше, в частности, в Кракове, где на приеме в его честь кто-то представил нас друг другу. Разумеется, его окружали толпы поклонников и фотографов, что не облегчало беседы. Вскоре после этой встречи я увидела в американской прессе переведенное



Бродским [на английский] мое стихотворение “Какие-то люди”. Перевод превосходный»¹

Бодский знал и ценил творчество Виславы Шимборской. Ее стихотворение «Конец и начало», которое им также было переведено на английский язык, он причислял к ста лучшим стихотворениям двадцатого столетия. Но это было позже, после его вынужденной эмиграции из Советского Союза, после присуждения ему Нобелевской премии. На тот момент мировое признание еще только ожидало Виславу Шимборскую – она стала «нобелисткой» в 1996 году, в год смерти Иосифа Бродского.

Мне же хочется рассказать о маленьком стихотворении Виславы Шимборской под названием «Лексја» (Урок), которое было переведено опальным поэтом на русский язык, по всей видимости, еще в шестидесятых годах – в Польше стихотворение Виславы Шимборской увидело свет в 1962 году, оно входило в сборник «Соль».

Итак, представляю: *Leksja* – *Урок*.

Вислава Шимборская

Leksja

*Kto co król Aleksander kim czym
mieczem
przecina kogo co gordyjski węzeł.
Nie przyszło to do głowy komu czemu
nikomu*

Było stu filozofów – żaden nie rozplątał.
Nic dziwnego, że teraz kryją się po
kątach.

Żołdactwo ich za brody łapie,
za roztrzęsione, siwe, capie,
i bucha gromki *kto co* śmiech.

Dość. Spojrzał król spod pióropusza,
Na konia wsiada, w drogę rusza.
A za nim w trąb trąbienia, w bębnieniu
bębenków
kto co armia złożona z *kogo czego* z
węzełków
na *kogo co* na bój

Иосиф Бродский

Урок

Кто? Что? Царь Александр кем? чем?
мечом
разрубил кого? что? Гордиев узел.
Не пришло это в голову кому? чему?
никому.

Было сто мудрецов – оказалось не по
зубам.

Теперь, понятно, прячутся по углам.
Солдатня оттуда их извлекает,
за козлиные бороды их таскает,
и раздается громкий кто? что? смех.

Хватит – Царь на коня садится, ногу
в стремя вставляет и марш в дорогу.
А за ним, трубя, топоча, волоча свой
горох да гречу,
кто? что? десятки полков из кого?
чего? узелков
на кого? что? на сечу.

¹ Нетрудно быть пророком. С лауреатом Нобелевской премии по литературе Виславой Шимборской беседует Ян Стшалка. «Новая Польша», № 6, 2002.



Содержание стихотворения передает ряд событий, но за планом выражения кроится целый пласт скрытых смыслов, заданных Шимборской с помощью самых разных приемов. Скрытый смысл таит уже сам заголовок. *Урок* – это школа. Школа, как мы знаем, – это место и время, где и когда преподают азы, которые мы слушаем или не слушаем, воспринимаем или не воспринимаем. Относимся мы, как правило, к урокам как чему-то скучному, нудному и не всегда обязательному. Синтаксис стихотворения, представляющий своеобразную стилизацию под язык учебника, пародирующий склонение по падежам, и заголовок дают понять, что *предмет обсуждения* – всем известная «школьная» истина, о которой тысячи раз говорилось, но о которой приходится говорить вновь и вновь. А так как *темой* обсуждения является некий исторический сюжет – выкристаллизовывается новый смысл: *уроки истории ничему не учат, они не усваиваются новыми поколениями.*

Использованный в качестве смыслового и сюжетного ядра фразеологизм *разрубить Гордиев узел*, адресуя нас первоначально во времена завоевательных походов Александра Македонского, развертывается затем поэтессой в философское вневременное обобщение: *когда не хватает мудрости решить проблему, ее пытаются решать с позиции силы.*

Хочется остановиться на специфичной организации текста, на интриге стихотворения. Взяв за основу застывшее словосочетание, фразеологизм, но фразеологизм, наделенный обширным смысловым подтекстом, поэтесса развертывает его в сюжетное действие, при этом весь текст стихотворения приобретает метафорическое звучание. Поль Рикёр указывает на общий характер повествовательной интриги и метафоры – и та, и другая создают новые смыслы¹. Вислава Шимборская объединяет в этом стихотворении интригу и метафору, и возникает своего рода притча.

Поэтессой использована композиционная инверсия – на первое место вынесено ключевое событие: структура временного континуума организована как *событие, предтекст и последствие*. Такое построение придает дополнительный смысл поступку Александра: *разрубить узел не только для того, чтобы разрешить проблему его развязывания, но и чтобы пресечь, прекратить издевательство и смех над философами.*

Скрытые смыслы стихотворения, заданные формой и метафоричностью содержания, в полной мере, а иногда и «с лихвой» передаются Иосифом Бродским в переводе. Бродский переводит стихотворение достаточно близко к тексту оригинала, он только заменяет *философы* на более высокое

¹ П. Рикёр, *Что меня занимает последние 30 лет*, «Историко-философский ежегодник '90», Москва 1991, с. 296-316.



мудрецы, что придает стихотворению несколько «русский» характер, и еще он открывает «тайну» узелков, добавляет: *волоча свой горох да гречу*.

Посмотрим, как разыгрывается словесно-смысловая «партия» в оригинале и в переводе.

Кто? Что? Царь Александр. У читателя невольно возникает вопрос: какой царь Александр? Александр Македонский или русский царь Александр? И хоть дальнейший текст указывает на Александра Македонского, остается «зацепка», что это может быть *любой* царь.

Ключевую фразу *przecina kogoś co gordyjski węzeł* (рассекает... гордиев узел) Бродский переводит соответствующим русским фразеологическим оборотом, включая этим всю его смысловую нагрузку в пространство текста. Кроме того, используя прошедшую форму глагола совершенного вида *разрубил*, Бродский подчеркивает поступок царя Александра как *решительное действие* и исходную точку событий, тем более, что все последующие действия выражены глаголами настоящего времени: *прячутся, извлекает, таскает, раздаётся, вставляет*.

«Wuło stu filozofów – żaden nie rozplątał» (было сто философов – ни один не распутал) подразумевает смысл: имеет место сложно, туго завязанный узел (проблема, ситуация), который необходимо именно распутывать. Но никто из философов с этим не справился. Иосиф Бродский вместо *философы* использует высокое *мудрецы*, причем с ироническим оттенком, чем придает событиям некий сказочный характер, потому что соседство слов *царь* и *мудрец* русским читателем, скорее всего, воспринимается как аллюзия на сказку *Золотой петушок* А. С. Пушкина. Этим, с одной стороны, переводчик в еще большей степени подчеркивается *универсальность, внеисторичность и внепространственность смысла событий*; с другой – в целом облегчает акцептацию текста, так как сказка является неотъемлемым элементом русской культуры, в меньшей степени это относится к мифам, легендам и жизнеописаниям цезарей. Смысл ситуации «мудрецы оказались не способными распутать узел» Бродский передает экспрессивным разговорным *не по зубам*. Это словосочетание включает в себя всё: и упорство попыток распутать узел (раз упоминаются *зубы*, значит, *грызли*), и бесплодность этих попыток.

Nic dziwnego, że teraz kryją się po kątach (ничего удивительного, что теперь прячутся по углам) переводится почти дословно: *Теперь, понятно, прячутся по углам*.

Вводное слово *понятно* как бы привлекает читателей к оценке событий, усиливая эффект сопереживания. Прячутся, значит, страшно, мудрецы боятся той «кары», которой их подвергают. И кара эта – *унижение*:



Солдатня оттуда их извлекает,
за козлиные бороды их таскает,
и раздается громкий кто? что? смех.

Смысл, который стоит за словом *солдатня*, подсказывает нашему воображению вид разнузданных гогочущих солдат, которые забавляются, таская мудрецов за бороды. Из всех определений, использованных Шимборской (растрепанные, седые, козлиные), Бродский оставляет один эпитет – самый унижительный: *козлиные*. А «козлинобородый мудрец», это, по сути, тоже самое, что «вшивая интеллигенция» - *квинтэссенция неуважения к мыслящим людям*.

*Dość. Spojrzał król spod pióropusza,
Na konia wsiada, w drogę rusza.*

Хватит (довольно). Глянул царь из-под
плюмажа,
На коня садится, в путь отправляется

Действие замыкается – Александр разрубает узел и требует прекратить «безобразия»: Хватит. Довольно. Царь грозно глядит на солдат. И тут подспудно возникает смысл, что решительные действия необходимы еще и для того, чтобы обуздать, прекратить «забаву толпы». В переводе Бродского эта сцена несколько сглажена, акцент с «пресечения бесчинства солдат» перенесен на действия царя, готовящегося в путь. И «хватит» звучит мягче: ну, отдохнули, позабавились, хватит, поехали дальше.

Хватит – Царь на коня садится, ногу
в стремя вставляет и марш в дорогу.

Финальная сцена, если можно так говорить о строфе из трех строк, трагична:

*A za nim w trąb trąbienia, w bębnieniu bębenków
kto co armia złożona z kogo czego z węzełków
na kogo co na bój*

(А за ним в труб трубению, в бубнении барабанов
кто что армия, сложенная из кого чего узелков
На кого что на бой)

Подчиняясь приказу, армия, сложенная из солдат-узелков двинулась на бой. И эти узелки предназначены быть разрубленными: эта смысловая



связь «узел – рубить», обозначенная ситуацией с Гордиевым узлом, углубляется тем, что армия идет «на бой».

Перевод Иосифа Бродского:

А за ним, трубя, топоча, волоча свой горох да гречу,
кто? что? десятки полков из кого? чего? узелков
на кого? что? на сечу.

В своем переводе Бродский задает еще более высокое эмоциональное напряжение: *узелок*, обозначающий солдата, приобретает дополнительную смысловую нагрузку «узелок с вещами» (*волоча свой горох и гречу*). Сталкиваются два смысловых потока: с одной стороны, показана предрешенность событий: *узелки, трубя, топоча* <рванулись> *на кого? что? на сечу*. На *сечу*, то есть, на гибель, рванулись эти маленькие узелки, над которыми висит угроза быть разрубленными. С другой стороны, обозначение содержимого узелков имплицитно показывает *надежду людей на жизнь* – иначе, зачем бы им тащить с собой пропитание? Кроме того, столкновение разговорной лексики и слова высокого стиля *сеча* создает ощущение *трагизма происходящего и беспомощности человека*, чья судьба находится в чужой власти.

Анализируя использование архаичных форм языка в качестве изобразительных средств в современной русской поэзии, Л. В. Зубова в своей монографии отмечает, что *усиление предикативного признака деепричастия в отсутствие личного глагола, является характерной приметой древнерусской и старославянской грамматики*¹.

Таким образом, использование Бродским ряда деепричастий (трубя, топоча, волоча) дополнительно «прорисовывает» русский культурный контекст перевода.

Талант автора и талант переводчика позволили в таком маленьком по объему стихотворении «зашифровать» и передать массу смыслов, в том числе и извечно существующее противоречие между людьми мыслящими, людьми, отдающими приказы, и людьми, слепо их исполняющими. Кроме того, Бродский в своем переводе создает определенную ауру русской культуры, приближая свой перевод к восприятию русского читателя.

Источники поэтических текстов:

1. Wisława Szymborska. *Wiersze wybrane*. Kraków, 2001, s. 65.
2. И. Бродский. В ожидании варваров. Мировая поэзия в переводах Иосифа Бродского. Санкт-Петербург, 2001, с. 199.

¹ Л. Зубова, Современная русская поэзия в контексте истории языка, Москва 2000, с. 242–243.



Владимир Штокман

Польша

Живёт в Кракове. Перевел на русский язык ряд книг по польскому изобразительному искусству. Автор переводов стихов польских поэтов. Участник Международного фестиваля «Вернуться в Россию стихами и прозой: русскоязычные писатели вне России» (2012). Член Международной федерации русских писателей, координатор международного сетевого альманаха «Litera».

«Ars Poetica»

Стихи польских поэтов о поэзии

Перевод с польского и вступительное слово Владимира Штокмана

Человечество издавна задается вопросами: Что такое поэзия? Кто такой поэт? Как возникают стихи? Какими они должны быть? Но кому же как не самим поэтам известны тайны этого высокого искусства? Со времён античности, когда Гораций в своём труде «Искусство поэзии» изложил принципы классического стихосложения, пытаются они сформулировать ответы на все эти непростые вопросы. И не только в форме научных трактатов или литературных манифестов, но и в своих лирических произведениях. В польской поэзии существует давняя традиция стихотворных высказываний на тему поэтического творчества. Зачастую эти произведения носят название «Ars poetica», что является прямой отсылкой к труду Горация и определяет их тематическую направленность на декларирование определенных поэтических (эстетических и/или идейных) принципов.

В данной подборке представлены избранные переводы стихотворений классиков польской поэзии XX века, а также ныне живущих польских поэтов. Конечно, трудно в небольшой журнальной публикации показать весь спектр имён, мнений и поэтических направлений, поэтому данная подборка



представляет собой лишь своего рода пунктирную линию длиной в век, прочерченную на страницах истории польской литературы. Наверняка в ней отсутствуют многие важные имена и произведения. Но создание полной картины – это задача для обширной антологии, составление которой требует больших усилий и времени. Тем не менее эта во многом субъективная подборка в какой-то мере даёт представление об отношении к своему искусству польских поэтов нескольких поколений. В предлагаемых вниманию читателей текстах авторы высказывают свои мысли о поэтическом творчестве, об образе поэта, формулируют критерии, которым, по их мнению, должны соответствовать лирические произведения. Делают они это по-разному. Открывающий подборку Леопольд Стафф в программном стихотворении «Ars poetica» утверждает, что основная задача поэта – быть понятым, а стихотворение должно быть простым как рукопожатие. Ему словно вторит Антоний Слонимский. Полемизуя с поэтикой авангарда, он утверждает, что наступили времена, когда «стало актом героизма // Стихи писать и в рифму, и со смыслом». А нобелевский лауреат Чеслав Милош выдвигает на первый план этические аспекты творчества, показывая поэта беспощадным свидетелем, тщательно фиксирующим все злодеяния тиранов. Тадеуш Ружевиц со свойственным ему «аскетизмом» лаконично и беспристрастно приводит ряд дефиниций, определяющих литературное творчество. Поэты более поздних поколений зачастую классическому образу поэта-пророка, поэта-демиурга противопоставляют образ ненужного современной цивилизации «пережитка бесповоротно ушедших эпох», как в стихотворениях Романа Сливоника, Станислава Гроховяка и Марека Вавжкевича, или образ нелепого падшего ангела, пропившего на земле свои небесные способности, как в стихотворении Юзефа Барана. Ну а у Анджея Волосевича поэт предстаёт перед нами в качестве «погонщика слов», терпеливо выполняющего свою работу. В то время как Дариуш Томаш Лебёда наглядно показывает, как из мимолетных случайных встреч «растут стихи», напоминая, что главной ценностью и целью поэзии остаётся человек.

У каждого поэта своя точка зрения, каждый из них рассматривает поэзию и поэта под собственным углом зрения, но все вместе они несомненно приоткрывают завесу тайны, окутывающей искусство поэзии, дают читателю пищу для размышлений и призывают к полемике.



Леопольд Стафф
(1878 – 1957)

Ars Poetica

Из сердца эхо, еле слышно,
Зовёт: «Лови, пока я есть,
Пока я здесь, пока не вышло,
Пока мой голос не исчез!»

Его, как мотылька, проворно
Ловлю не для земных наград,
А чтобы дать мгновенью форму,
И чтоб меня ты понял, брат.

И стих, со струн слетев как ветер,
Под ритм и звук, что так легки,
Как взгляд в глаза пусть будет светел,
Прост как пожатие руки.



Антоний Слонимский
(1895 – 1976)

В защиту стихотворения

Когда на новомодный бред снобизма
Критик дым напускает коромыслом,
Пожалуй, стало актом героизма
Стихи писать и в рифму, и со смыслом.

Крепки те парни – в бой любой годятся,
Лиризм и пафос тошноту в них будят,
Презреньем к миру так авангардятся,
Стихи, словно плевки, бросая людям.

Ну что с того, что слово, раскоряча,
Он втискивает в странные сближенья?
Если стихи не жгут воображенья,
Не стонут, не кричат, то ничего не значат.

Он юношеской ослеплён гордыней
И простоту простачеством считает,
Он строк глисты читателю бросает,
А тот глядит в смятеньи и уныньи.

Твои, мой друг, пусть не краснеют уши,
То – лишь слова, что разум баламутят,
Они ни памяти, ни сердца не разбудят,
Не всколыхнут ни совесть и ни душу.

Поэт, средь слов, в которых лжи не слышишь,
Единственное, точное найди ты,
Что в рифме вдруг взорвется динамитом,
И, может быть, тогда ты для людей напишешь.



Чеслав Милош
(1911 – 2004)

Ты, причинивший зло

Ты, причинивший зло человеку,
Над горем его посмевающий смеяться,
Себя окруживший толпою паяцев,
Зло и добро перепутав навеки,

Пусть головы все пред тобою склонили,
Мудрость и святость тебе приписали,
Отлили тебе золотые медали,
Счастливые тем, что день пережили,

Не будь спокоен. Поэт всё помнит.
Можешь убить его – родится новый,
Запишет и дело твоё и слово.

Уж лучше холодный рассвет багровый,
Верёвка и сук иль глубокий омут.



Тадеуш Ружевиц
(1921 – 2014)

Профессия: литератор

вижу и описываю
это эпика
роман повесть

чувствую и описываю
это лирика
поэзия

думаю и описываю
это философия
«дидактическая» поэзия

чувствую вижу думаю
и должен Это описать
это вдохновение

чтение переписывание
поправки и чтение
молчание и бешенство
прочитывание
именно это и есть «профессия»
писателя поэта и
литератора



Роман Сливоник
(1930 – 2012)

Пусть подышают поэты

Стоит поэт в чистом поле
овеваемый солнечным ветром
неизвестно поэт развивается
Или дозревает или ждёт
пишет стихи
поэты бывают разные гении рождаются в салонах
другие где попало
Это можно узнать по тому как они пишут
поэт стоит оцепенев Он бдит
не летит ли соловей сова
или всё нивелирующая тёмным воплем ворона
поэт одетый бедно или роскошно
порой трепещут на нём лохмотья
из этого поэта ничего не выйдет
нищета не учит только с годами научает умничать
много таких плохо одетых стоит в поле
коммунизм их кормил капитализм хоронит
это видно по чёрному прямоугольнику
Тёмная яма вместит многих
если их слишком много пусть подышают
вместо того чтобы пугать по полям
нежные души



Станислав Гроховяк
(1934 – 1976)

Канон

Дыхание поэзии – снег или сажа
Когда дыхание снег – кусты стоят черные
А если сажа – осыпается на ладони
Влюблённых или палачей
Одинаково побледневшие

Голова поэзии куст пылающий в ночи
При нём у единорогов головы стройные
У воронов – клювы окованы в ножны из золота
На коленях девушек
Проступают годовые кольца

Отец поэзии – её бог – её дровосек –
этот больной человек с дрожащим хребтом
С лицом застывшим словно рассёк его бич
Или тень
Мчащегося на облаках дьявола



Станислав Сроковский
(1936)

Вдохновение

О, печальные музы, богов песнопевицы, дочери любви
Мнемозины и Зевса, сёстры грации и обаяния,
вы уже не поёте

Песен весёлых обитателям Олимпа, изгнаны вы
с гор Фракии и Беотии, с возвышенностей Геликона
и с вершин

Парнаса, не встречаетесь больше на склонах Пиэрии
где пасутся сегодня лишь козы и, словно в тумане,
туристы снуют.

Где ж ваши лиры, авлоса звуки, свитки папируса,
тайные знаки?

Где дыхание ваше неуловимое, что воспламеняло
гусиные перья и открывало дороги ведущие в вечность?
Не справляете вы

Новых свадеб Фетиды и Пелея, Гармонии и Кадма,
не затеваете игрищ любовных среди оливковых рощ
и на скалах

Аттики, не мчитесь стрелами золотыми над водами
Эгейского Моря и не стойте вы за плечами поэтов,
чтобы шептать им

Мелодии сладкие, ибо нынче поэты не знают,
что такое вдохновение. У поэтов сегодняшних замыслы
да творческие находки,

Способности да таланты, и твердо ступают они по земле
железной логики славы, лишь иногда мысли их всполошатся
неким странным ёканьем в сердце

И гортань пересохнет от песни скулящей.
И вдруг удивит их простёртая длань
небытия



Марек Вавжкевич
(1937)

Найденные стихи

В закоулках ящичков стола,
В книгах, которые давно не открывались,
Рядом с мусорной корзиной, на конверте
С письмом официальным нашел я
Обрывки стихов, вопросов, заданных миру,
И себе самому.

Зачем писал я их, если они не задержались ни в ухе,
Ни в глазу, ни в сердце, ни в мозгу, хоть этого
Меньше всего я мог бы ожидать?

Кому читал я это стихотворение, в котором
Случился этот вот пейзаж,
Эта буря в стакане воды,
Этот дождь мимолётный
И этот ночной песок в глазах?

Когда это произошло?
Кем была та девушка,
В которую я мог влюбиться?
И что то были за дела, ради которых
Я не пошёл на встречу?
Каким был этот спазм, отчаянье, прозрение,
Виды чужого города, олень
Бегущий по лесной тропинке, погружение в сон?

Зачем я их писал, зачем мы пишем,
Если это мешает нам
Смотреть телевизионные сериалы
Или всматриваться в остолбеневшие ночи?
Зачем мы существуем, мы,
Пережитки бесповоротно ушедших эпох,
Если мы никому не нужны,



Как смутно мерцающие
Фонарики с гаснущей батареей?

Трупики стихов, останки дерзких вопросов,
Неизлечимые ответы.

Может быть Господь Бог их читает, у него много времени,
Ведь Он не смотрит телесериалов.

Давайте поверим как можно скорее в Господа Бога.
Пусть станет он тем самым читателем,
Который в нас, одиноких,
Еще немного верит.



Казимеж Бурнат
(1943)

Вкушение

Чистый лист бумаги
всё еще неприязненный
полностью лишённый иллюзий
как стена
без окон и дверей
однако с чуждой уверенностью в себе
мне по вкусу
сверх всякого понимания

опутанный последней
подвальной паутиной
я втапываю ростки семян
в гнилые яблоки

блаженные восторги
детская меланхолия
но удача недолговечна
как соломенный огонь

дырявая гармония



Андрей Грабовский
(1947)

Баллада ожидания

Поговорим откровенно
лишь немногим это под силу
вот конец вечера
и хлопают дверями
те что опоздали
раньше не явились
но они не были
Тремя Волхвами

Из сеней запахло стихами
принесли свои мысли поэты
Ведь словами в любое время
можно дом наполнить как светом

И всегда отыщутся гости
те что рады надежде с любовью
Для того стихи возникают
чтоб других увлечь за собою...

Ведь не каждый готов к полёту
так сильнó земли тяготенье
и не часто ангелов крылья
видят те кто прячется в тени

Так давайте отыщем слово
позабывтое сильными мира
и услышим стихи Поэтов –
их ничто заглушить не в силах



**Юзеф Баран
(1947)**

Баллада о поэте

1

упорхнули ангелы к теплому раю
лишь один в корчме у самого краю
позабыл совсем про божьи заветы
с молодой корчмаркой гулял до рассвета

перья пивом залиты в горчице и в соусе
божье наказание а не ангел вовсе
одно крыло сломал другое дал в залог
всех расцеловал и под лавкой слёг

2

что наделал ангел – лишился манны с неба
должен заработать сам на кусочек хлеба
ни одной души не спас вконец очеловечась
на земле среди нас он остался навечно

небо с землей рифмует словами-скрипками
и среди лотков базарных возится с рифмами
бегут за ним детей собак и пьяниц стаи
а он распевает им о потерянном рае



Стефан Юрковский
(1948)

О чем говорят поэты

поэты
говорят исключительно о себе

о боли
которая – как короед – точит их тела

о тьме
что твёрже света

о страхе
принимающем вид зверя идущего по следу

о глупой маленькой веточке
ранящей их лица

и ни о чём другом

и ни о чём другом
что могло бы присниться
мудрецам в этом мире



**Павел Кубяк
(1950)**

Чтобы осыпался дождь

Касе Сёчько

добыть из-под пера
стихотворение такое выразительное
чтобы осыпался дождь
из пересохшей тучи
и чтоб на ладони кактус
вырос у тех кто не верил
чтобы слепой увидел
и слышал глухой

только такое вот стихотворение
ни слова больше

потом забрать это стихотворение
туда где миры опрокинуты
где белый смысл не имеет
никакого цвета и черный смысл
не имеет и радугу перемешал кавардак

наконец вернуться
к себе
и уснуть



Анжей Волоевич
(1958)

Погонщики слов

как тебе такая концепция
что поэты это погонщики слов?

слова ведь бывают
коварные злобные хитрые
строптивые милые сложные
резкие непослушные неискренние
ранящие покорные и властные
задумчивые пустые никакие

с ними приходится попотеть
они требуют заботы ласки терпения
часто ворчат на своих соседей
и вместе с тем могут разрушить строку
исподтишка разбрыкавшись

вьются в руках словно угорь
делают хорошую мину при плохой игре
ни в грош не ставят грамматику
(и бывают тогда чрезвычайно милы!)

а ты кропотливо в поте лица
с пониманием достойным лучшего дела
терпишь их выходки делая своё
как и пристало погонщику слов



**Дариуш Томаш Лебда
(1958)**

Два листка бумаги

Всего два листка бумаги на столе отеля
в Брюсселе –

что на них написать – чем заполнить
белое пространство

утром я видел молодую негритянку
прекрасную как статуэтка из чёрного дерева и золота
я не знаю кем она была кого любила
откуда попала в европу
и куда отправится

потом я разговаривал со стариком из Японии
который воевал за острова Мидуэй он выглядел
добродушно а наверное отсекал головы
американским солдатам

я не знал о чём написать стихотворение
а листки заполнились словами –

люди как капли дождя как огоньки
на мгновение вспыхивающие во мраке
и так быстро так безвозвратно
гаснущие



Ян Сталоны-Добжаньский
(1959)

Закройщик снов

Закройщик Снов
к моим шкафам
крадётся
ладони жадно
в лунный свет
кладёт

Сердито
ящиками
полками стучит
И вновь расплакался
и скрылся

и молчит



Алексей Бердников

Канада, Квебек

Поэт, переводчик, эссеист.
Член Союза московских литераторов.
С 1999 г. живёт и работает в Канаде.
Стихотворения, поэмы и эссе опублико-
ваны в разные годы в журналах «Юность»,
«Смена», «Октябрь», «Предлог», «Русский
Ванкувер». Автор 9 романов в стихах.
Переводит с итальянского, французского,
немецкого, английского, испанского языков.



Полупроводники стихоперевода

*(Беглые заметки Переводчика о переводе,
и не только...)*

«Свобода духа! Все дыхание человечества в этом сочетании слов»¹... В этом же «сочетании слов» заключено так же, повидимому, – непереносимое мотание российской переводческой братии по западным университетам на предмет выгрызания дипломов «по русскому языку и литературе», «за-мещение» той или иной кафедральной (обязательно «профессорской») должности ибидэм, либо только идэм, совмещая занятие каковой (занятия по каковой) с профессионально убедительной отныне стихо-переводческой деятельностью на русском, вы до икоты насыщаете отечественный книжный рынок разнообразнейшими робертами фростами, йейтсами а также эмилиями диккенсон, которых и на родных-то литразвалах давно уже «никто не брал и не берет»... попробуйте-ка сообразить – koliko макулатура такого рода (весьма высококвалифицированная, к слову) здесь и теперь способна насытить кого-либо, помимо самого творца...

...эти люди совершенно не подготовили себя. Падение «заграницы» как источника чудотворной культуры застало их как-то особенно врасплох. Как-то одноментально лелеемые в их загашниках роберты фросты, иейтсы,

¹ ...Владимир Набоков: Послесловие к «русской» ЛОЛИТЕ...



а также эмилии диккенсон, оказались здесь никому не нужны, не нужны ни в собственном соку, ни в виде монарших стихоплетов. Народившаяся исподволь новая культурная элита решила озаботиться иными, от интересов прежней, делами – скорее из области *тьмы низких истин*. Жалко, право. Школа *точной рифмы, строфической эквиритмии, гибчайшего синтаксиса*, наработанная за пару-тройку десятилетий советской литературной поденщины, очевидно, никоим образом не заслуживает быть опущенной и смытой вот так в *биде забвения*. И защищенность при универкафедрах Дикого Запада не помогает. И регулярные тусовки меж собой родимыми с выдачей премиальных по кругу, никого, в том числе и самих, убедить в противоположном не способны...

Возьмите в толк и то, что «поэт-переводчик», так и не опробовавший свой *револьверный станок* в раздаче адекватного полотна на чуждой, знакомой ему так хорошо, мове (восьмистрочия, взять, того же Пушкина), в наше время способен зарекомендовать себя максимум *культуры полупроводником* – от них к нам, – что было бы в высшей степени оправдано в периоды, когда «мы» грубы и невежественны, а «они» – совсем напротив того – до чрезвычайности талантливы и деликатны. Нынешние времена всё больше разводят по разные стороны экрана «проводников их цивилизованных начал» от проповедников «принципов наших», но, естественно, уже по иную сторону кордона... и здесь навыки именно вашей школы, милейший, ой как пригодились бы... Итак, договорились? Пушкин, Лермонтов, Блок, Кузмин... на какие языки? Да на те, с которых вы так счастливо до сей поры переводили... английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, польский... я что-то забыл?..

«...солнце, красный шар в пыли, невыносимо пекло и жгло... Ветру не было. В проезд по плотине на него пахло тиной и свежестью пруда. Ему захотелось в воду – какая бы грязная она ни была. Он оглянулся на пруд, с которого неслись крики и хохот. Небольшой, мутный, с зеленью пруд видимо поднялся чертверти на две, заливая плотину, потому что он был полн человеческими солдатскими, голыми, барахтающимися в нем, белыми телами, с кирпично-красными руками, лицами и шеями. Все это голое, белое, человеческое мясо, с хохотом и гиком, барахталось в этой грязной луже, как караси, набитые в лейку. Весельем отзывалось это барахтанье, и оттого оно особенно было грустно... Слышалось шлепанье друг по другу, и визг, и уханье... На берегах, на плотине, в пруде везде было белое, здоровое, мускулистое мясо...

– То-то хорошо, ваше сиятельство, вы бы изволили! – предложил один из купающихся.

– Грязно, – сказал князь Андрей, поморщившись...» Он придумал лучше облиться в сарае.



«Мясо, тело, chair à canon!» {*chair à canon* (фр.) – пушечное мясо.} – думал он, глядя и на свое голое тело, и вздрагивал не столько от холода, сколько от самому ему непонятного отвращения и ужаса при виде этого огромного количества тел, полоскавшихся в грязном пруде»...

Л. Н. Толстой. ВОЙНА И МИР

Герой-созерцатель несравненной эпопеи был остановлен, как-никак, «видом» ограниченного (в силу замедления военных действий на данном участке фронта) контингента военнослужащих... картинка невольно проходящая в голову всякому, кто столкнется с масштабом наличия поэто-переводческих кадров «здесь и теперь». «На данный момент в антологию включено 1121 переводчиков!» – ласково делится своим богатством сайт «ВЕК ПЕРЕВОДА»... *Сач мач?* Да и там – не все имеющиеся на нынешний день в наличии... Эх, эту бы силушку – да на освоение западных печатных просторов! То-то завывли бы их «собесы» от «российской агрессии». Но... слава Богу. *На западном фронте без перемен.* Пока без перемен.

...нынешняя наука разрешает себе видеть «ясно, ясно до галлюцинаций» феномены, в природе ни при какой погоде не существующие, ну вот «кот Шредингера», например (1935). Повнимательней читали бы литературные сводки (*Макавити, чудесный кот – 1939*) – давно бы уже свернули со столбовой дороги ученой прагматики. Уже Дм. Мережковский обнаружил в Аркадии Свидригайлове – следы продукта *предутренней сонной грезы* Родиона Раскольникова. Лев Шестов же, несколько наоборот, счел самого Родиона жертвой авторовой клеветы: старушки ни в какое время суток топором не колот! Вот так вот... Или скажем – та же Земфира (1824) – несомненное производное меримеевской (*Merimée*) Кармен (1847). Ну, это к слову.

Бердников, прогуливая свою застарелую в Ванкувере ностальгию, наткнулся на природный исторический феномен известной ныне всему культурному миру ПОДПИСИ и счел его... достаточно нелепым. Быть этого и в том самом виде, как оно оказалось представлено господами соотечественниками славного Джона (Хэнкок) совершенно не могло стать... Представить себе ЭТО в том виде, как оно оказалось представимо читателю исторических анналов, было бы то же, что поверить в честный художнический подвиг Алексея Ефимовича Учителя с его распрекрасной Матильдой. Блистательная Матильда – что-то уж совсем в роде смуглой красатули Одиллии, представляемой и вводимой в окоем взыскующему неземного совершенства принцу кинематографа неким маскированным поздне-ельцинским «охло» (либо некоторыми). Но не будем о грустном...



...принц Зигфрид (в оригинальном сценарии) трагически гибнет (точно так, как и у Вагнера с его «сумерками»). Есть, разумеется, в запасе «советская» радужная версия. Следуя таковой, Алексей без подсказки разбирается в ситуации и срывает пыльные лохмотья с нечестивого «Ротбарта», попутно, кажется, давая ему – слева (от него – справа) – в морду... Знаменитый бердниковский хук «левой» (А. Н. Кривомазов)?

...тогда я его спросила в лоб: «Выразите ваше профессиональное мнение о переводах с итальянского Петрарки Бердниковым?» Ответ: «Мнения не имею»... ну, значит, и чести тоже. Потом я побывала на сайте электронной библиотеки Мошкова, где нашла его два перевода из Консоньере Петрарки V и XXVII (цитировать – вкус портить – не буду) и всё стало понятно...

Галина М: ...адекватен подлиннику...

Как с древа сорвался предатель-ученик... Где-то, помнится, что у Сент-Экса («Полет к Аррасу», никак) как-то прочиталась мысль (которая сейчас же и сочлась за «парадокс»), что будто бы мы все, здесь ныне и присно живущие, постоянно только и делаем, что размениваемся (то есть, простите невольную обмолвку – «обмениваем себя») – а как и на что, так это – каждый в меру своей «испорченности».

Богатый средствами – еще на деньги и удовольствия. Бедный и несостоятельный – на слезы сочувствия. Запасливый мыслью – на книгоиздания (специалист штамповки – на кузова или масло-отталкивающие колпачки). Кто в чем видит себе удачу. Вот так постепенно (следуя «дилемме Сент-Экса») мы и сходим постепенно на нет, исходим из этого мира, оставляя после себя «пароходы, строчки и другие добрые дела».

Умный «разменивает себя» в сотворении идей, глупый – в сотворении детей. Счастливый – в производстве завистников. Учитель – в воспитании собственных палачей. Добрый и неосмотрительный плодит злодеев. Словом каждый на *земли*, поелико он жив и деятелен, легко находит себе занятие по руке и вкусу, каковое никогда или не скоро позволит его неповторимому образу истереться, потеряться вон из памяти благодарного потомка...

А вот вам – удар в спину от некогда взлелеянного на нежной отческой груди ученика... «Считаю нужным добавить, что учителей у меня было двое: Аркадий Штейнберг (1907–1984) и Сергей Петров (1911–1988).

Сергей Шервинский... (1892–1991) научил меня чисто «слуховому» восприятию поэзии: глазами читаю лишь по необходимости, стихи больше люблю читать вслух и слушать...»; а то и – «Евг. Витковский – российский писатель-фантаст(!), литературовед(?), поэт(?), *переводчик* (последнее, видимо, в ряду, но не во значении)».

Алексей... Учитель... – в воспитании собственных палачей...



Вместо послесловия...

...Пушкин и Лермонтов... «два сапога-пара» российской казенной библиотефилии... вместе схожие, как одна с другим, французская мушкетерская ботфорта и английский армейский ботинок. Не оттого ли – столь явная зависимость первой от Байрона во весь зрелый романописный период – прошла практически никем не замеченной, а вот факт ознакомливания университетского юноши с томиками на английском – отныне и вовеки пополнил собою послужной куррикулум второго вездесущим лыком в строку – одного из немногих действительно отменных русских действительно мировых поэтов?

Пушкин-и-Лермонтов – пара неразлучных? Пушкин моцартовит, а Лермонтов? Пушкинский четырехстопный ямб (да и хорей, пожалуй) оказался продлен в прозе Тургенева – Ивану Сергеевичу и честь сопровождать в прогулках по вечности их обоих – Александра Сергеевича, никому другому. Главное отличие творений Пушкина от несторовых даже не в том состоит, что «тут стихи», а «там проза»... Пожалуй, в том, что Нестор никаких своих персоналий не сообщает (если не считать замечаний, что вот, «помимо сего», Он, Нестор, написал «еще и это вот»). Ломоносов и Державин – в автодидаскалиях – достаивают себя самих показываться в должной перспективе: первый – не редко – у подножия Божества, второй – не в первых рядах, и – возле престола.

Пушкин – тотчас как мы с ним знакомимся, делает два шага вперед из серой массы военнотружущих раёшника – мы его вынуждены созерцать в нехлипком ряду «меж ямщика и первого поэта», то есть в качестве как раз этого последнего. Гоголь – вернейшая Личарда «нашего всего» на протяжении жизни (и особенно – после смерти Патрона) – изволят замечать, не иначе, как на желчную филиппику всепримечающего Дм. Ив. П* – вот наш бессмертный гений прямо говорит: Я памятник воздвиг себе нерукотворный; К нему не зарастет народная тропа: Вознесся выше он главою непокорной Наполеонова столпа (*это называется: excusez du peu!*). (Дм. Писарев: ПУШКИН И БЕЛИНСКИЙ)

– Хотя в «Наполеоновом» столпе виноват, конечно, ты; но положим, если бы даже стих остался в своем прежнем виде, он все-таки послужил бы доказательством, и даже еще большим, как Пушкин, чувствуя свое личное преимущество, как человека, перед многими из венценосцев, слышал в то же время всю малость звания своего перед званием венценосца и умел благоговейно поклониться пред теми из них, которые показали миру величество своего звания... Гоголь – Жуковскому (ВЫБРАННЫЕ МЕСТА...)



Главная заслуга Александра Пушкина перед русской (и мировой христианской) литературой (и культурой, коли пожелаем) в том, что поэт отбрасывает в сторону всякую застенчивость, какой бы сюжет, какую бы идею первоначально ни носили его повесть или поэма, – вступая на стезю пространных самоописаний – тиражирования собственных вкусов, привычек, круга чтения, похвалы приятелям, изничтожения недругов и завистников, упреков в непонимании женщинам (с квалификацией тех, как заведомых дур, разумеется)

...и бесконечные держания носа по ветру – ибо не дай Бог бы не «...постигла кара не правительственной, но столь же суровой «либеральной» русской цензуры, которая всегда была и, вероятно, всегда будет в России неразлучной спутницей, самым точным и верным, хотя и обратным, как в воде или зеркале, отражением правительственной цензуры, так что в одной неподвижной крайней черте, в одном горизонте эти обе цензуры сливаются...» (Дм. Мережковский: Л. ТОЛСТОЙ и ДОСТОЕВСКИЙ)

...и крестный отец этой, второй (или, если хотите, первой), цензуры – опять всё тот же он, наше сокровище, наше окончательное и бесповоротное всё – Пушкин Александр Сергеевич... А теперь давайте пропустим полстолетия от ухода в лучший мир отца нашего тогдашнего и сегодняшнего блаженства... На манеже – пара клоунов. Их замечательные репризы в наших глазах особенно блистательны, когда соединены, запаяны в одно единое вервие. Речь идет об обоих неискоренимых самописцах (*AUTORES*), последовательно разрабатывающих пушкинские, им открытые, залежи автовыворачивания – с вынесением в строку глубочайших двух самооценок –

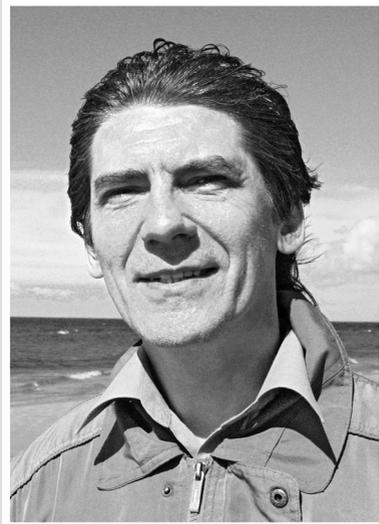
...в настоящем и на все будущие времена. Настоящее? «...это настоящее более чем печально, – оно почти безнадежно... Трудно поверить, чтобы современная русская культура была та самая, которая за полтора века дала миру сразу, одно за другим, два таких явления, как Петр и Пушкин, а в следующие полвека – Л. Толстого и Достоевского. Трудно поверить, чтобы едва за четверть столетия, почти на памяти нынешнего поколения, были созданы в России два самых великих произведения всей современной европейской литературы – «Анна Каренина» и «Братья Карамазовы»...» (Дм. Мережковский: Л. ТОЛСТОЙ и ДОСТОЕВСКИЙ)



Николай Романенко

Латвия, Рига

Автор поэтического сборника «Родная речь». Стихи публиковались в коллективных сборниках «Планета поэтов», «Письмена», в журнале «Настоящее время» и в других периодических изданиях. Лауреат зонального тура Всемирного поэтического марафона.



Уважаемый читатель!

Наш регулярный автор Николай Романенко предлагает Вашему вниманию своеобразную Литературную Игру. Публикуемые ниже тексты созданы по прочтении стихов замечательных поэтов Серебряного Века и их достойнейших последователей.

Предлагаем Вам определить, какие и чьи стихи подвигли автора на создание нижеприведенных опусов.

В случае возникших затруднений или сомнений Вы сможете найти подсказку на 255 странице этого номера «Oceanus Sarmaticus».



Серебро Серебряному веку

1.

* * *

Своеволием рока
Этих дней и ночей,
Я – печальное око,
Ты – веселье очей;
Я – теней наважденье
И пророк пустоты,
Ты – любви возрожденье
И певец красоты;
Ты – певец и строитель,
Я – осколок твердынь,
Ты – святая обитель,
Я – проклятье пустынь;
Ты – надежда во взоре,
Я – могильный туман,
Ты – лазурное море,
Я – седой океан;
Я продвигу всё злое,
Ты спасаешь, шутя, –
Мы воистину двое,
Но на разных путях!
И наш спор бесконечен:
Спор воды с решетом!
Ты – создание – Нечто,
Я – сознание – Ничто...
В хороводе далёком
Новых дней и ночей
Я – печальное око,
Ты – веселье очей!..



2.

Фонтан

Я извергал потоки страсти:
Вскипала и бурлила кровь, –
То сердце мне рвала на части,
То вдруг соединяла вновь...
Мои клокочущие воды
В сиянье радужном огней
Искали славы и свободы,
Взлетев над правилами дней.
Фантазии клубились яро,
Желанья пенились и жгли, –
Я бушевал, как Ниагара,
Восстав до неба – от земли!
Уже неистовые звуки
Врывались в музыку стихий, ...
И вдруг ты опустила руки
И извлекла из вод стихи...

И вот – стихи!..

3.

* * *

Когда встаёт над Карадагом
Заря, сапфирами горя,
Корабль под парнасским флагом
Плывёт к тебе через моря.

Попутный ветер полнит парус,
Корабль скользит по глади вод,
И неба синего стеклярус
Отображает этот ход.

Отображает в акварели
У Киммерийских берегов,



Где дом поэта в Коктебеле
И чайки белые стихов,

И сам поэт стоит у моря,
Один в извечных временах,
И пронизает годы горя,
Превозмогая боль и страх...

Горят базальтовые лавы
В алмазных россыпях утра, –
Плывёт корабль бессмертной славы
В награду кисти и пера!

4.

* * *

В Южной Африке в августе ночью,
Где охотятся львы на газелей,
Мы с тобой увидели воочью,
Как неистовство звёздных метелей
Превращает явление природы
В волшебство и любовь... Мы глядели,
Как по краю небесного свода
Мчался лев подле юной газели.
Развевалась косматая грива,
Звёздный блеск серебрил его спину,
И газель, изгибаясь игриво,
Вдруг прижала свой стан к властелину...
Ты сказала: – Взгляни, как похожи
Эти звери – и звёзды над нами!
Видишь, Дева с атласною кожей
Шею Льва обхватила руками
И прижалась доверчиво к шкуре
Властелина степей африканских, –
В этой сдвоенной звёздной фигуре
Отражение страсти и танца!..
В это время задул звёздный ветер,
По звезде уронивший нам в сердце, –



И сгустился над Африкой вечер,
И от звёзд было некуда деться!
И собрав звёздный блеск по минутам
Африканских высоких идиллий,
Поступившись домашним уютом,
Мы созвездьями в небе застыли.

5.

* * *

... и в полночь упала звезда, –
Случайное ли совпадение?
Но я услышал шум паденья,
Который донёсся с моста.

Внезапно, без крика, без стопа
Склонилась – и вниз головой! –
Как будто звезду с небосклона
Она увлекала с собой,

А утром газеты-кликуши
По городу весть разнесли,
Что ночью Бог взял чью-то душу,
Но тела нигде не нашли...

6.

* * *

– Поэт, тебя
Избрала лира!
Пусть в жизни нет
Ни сна, ни мира,
– Есть лишь огонь,
Во тьме горящий,
Он жжёт ладонь,
Но будит спящих!



– Терпи! –
Твори
Для тех, кто слышит;
В стихах пари
Как можно выше!
Над веком встав,
Свети в Отчизне!
Созвучий сплав
Из прозы жизни
Твори. Глаголь,
Гуди, как ветер!..
Уходит боль,
И слово – светит!

7.

* * *

*Красное солнце садится
За перекрестьем дорог,
Словно подбитая птица
Падает грудью в песок...*

Если бы всё, что случилось,
Переписать набело,
Если б, Господняя милость,
Вновь тебе встать на крыло, –
Ах, как бы песня звучала,
Как бы лилась над Окой;
Если б начать всё сначала
Новой счастливой строкой!..

Поздно!
Не склеить осколки
Зеркала – в новую цветь...
Снег равнодушный и колкий,
И оркестровая медь,
Ямы чернильная прорубь,
Здесь твой закончится путь...



Миг! – и душа, словно голубь,
Кинется в снежную муть,

Чтобы не видеть, не слышать
Стук погребальных камней, –
Души поэтов превыше
Жизни нелепой своей!
Да! Умирать нам не ново!
(Знаем о том наперед!)
Только бы вымолвить *слово*, –
Пусть наше слово живёт!..

Этой весной под Рязанью,
В сердцу родной стороне,
Видели: гулкою ранью
Скачет Поэт на коне,
Вновь его песня взлетает
В яркий весенний зенит, –
Новая жизнь расцветает,
Песня над Русью звенит!

8.

* * *

Лебедиво лебеди плывут,
Крылышкуя белыми крылами,
Серебреют, падая в траву,
Звёзды, восхищаясь плавунами.

О, моцартъ, моцартъ о них, вода,
Многоструйно, звонно, переливно,
Воскрешай минувшие года
В памяти, взыскующей наивно...

Чтобы ты, грядущий зинзивер,
В золотописьме расставив знаки,
Озарился музыкою сфер
Или проклял таинства бумаги...



9.

* * *

– Вопреки суесловью,
Есть лишь один завет:
Истинно, своей кровью
Пишет стихи поэт!
Алой, густой, горячей,
Хлещущей через край,
Пишет поэт, иначе –
Ад ему, а не рай!
Если же крови мало,
Или она жидка,
Значит, змеиным жалом
Сотворена строка!
Нет в ней надежды, силы, –
Цвет у неё другой! –
Кажется, край могилы
Видится за строкой, –
Пропасть за нею, бездна,
Морок и тьма за ней,
Скрежет и лязг железный,
Топот и храп коней,
Что умыкают душу
В царство теней и снов...
Если завет нарушу,
Боже, – не дай мне слов!

10.

* * *

Научиться складному письму,
А потом забыть его и снова
Написать: *беспамятствует слово*,
Раздвигая вековую тьму...
В укусе свой жемчуг растворить,
Опоясаться змеей гремучей,



*Мясо виноградное созвучий
Времени, как хищнику, скормить,
Но служить родному языку
И ему бессмертие пророчить,
Поверяя музыкой строку,
Даже в темноте советской ночи!*

11.

* * *

– Пока время мое не вышло,
Пока голос усталый слышно,
Кто бы в чем ни винил облыжно,
Пока сердце стучит в груди, –
Я рискну, повторяясь в меру
И по смыслу, и по размеру,
Сохраняя любовь и веру,
Оглянуться на полпути.

Ах, язык мой неосторожный
Выбрал этот размер трехсложный,
Как единственно здесь возможный,
Как претензию на изыск, –
Но слова составляясь в строки,
Шепчут: – Уровень-то высокий,
Как в Чарджоу месяц двурогий,
А приёмчик твой – однобокий!
Чем ответишь за этот риск? –

Отвечаю, что сожалею:
Зря ввязался в эту затею,
Но уже отступить не смею,
Да и, собственно, не хочу, –
Из последних сил, на излёте,
Все слова – на единой ноте,
Оказавшись, как все, в пролёте,
Я от горечи в крик кричу!



Я кричу: – Как же так случилось?
Ничего ведь не получилось!
Муза, ты мне скажи на милость,
Что нам делать? Кто виноват?
Столько крови и слез, и пота
Поглотила одна забота,
Выбрав эту страну для взлета,
И, в конце концов, свергнув в ад!

В ад крошечный, – реальный, здешний, –
(И напрасен весь опыт прежний!)
Ад, в котором народ мой грешный,
Пребывает, как пребывал, –
О тщета! О юдоль земная,
И безжалостная, и злая!
На пути своем все сминая,
За обвалом грядет обвал...

Новый век – он ещё железней,
Только видом своим прелестней, –
Он пятой придавил болезней,
Эпидемий и катастроф, –
И увы, кто б ни стал стараться,
До причин ему не добраться,
Не пробиться и не прорваться,
И для следствий не хватит слов!

Вот и мне, исхлестав Пегаса,
По теории ОПЯЗа,
Не извлечь виноград из мяса,
Даже, если лопнет струна!
Уповать могу лишь на Бога
И опять стою одиноко,
И кремнисто блестит дорога,
И как дыня над ней – луна...



12.

* * *

Я – дерево, шумящее листвою,
Что подпирает кроной небеса,
А корни под зелёною травою
Подземные все слышат голоса:
И тайных вод и недр земли глубоких,
И отдалённый гул и жар ядра;
И всех событий – близких и далёких –
Известны мне и мера, и пора.
Я – верх и низ огромной пирамиды:
Соединив собою времена,
Я, родом из садов Семирамиды,
В грядущее направлю семена!
И мне судьбой дано увидеть всходы,
И передать свою земную роль,
Чтоб на любви держались эти своды,
И не казалась горестной юдоль.

ОТВЕТЫ:

1. Федор Сологуб:

«Своеволием рока

Мы на разных путях бытия...»

2. В.Я. Брюсов

3. М. Волошин

4. Н.А. Гумилев

5. А.А. Блок

6. В.В. Маяковский

7. С.А. Есенин

8. В. Хлебников

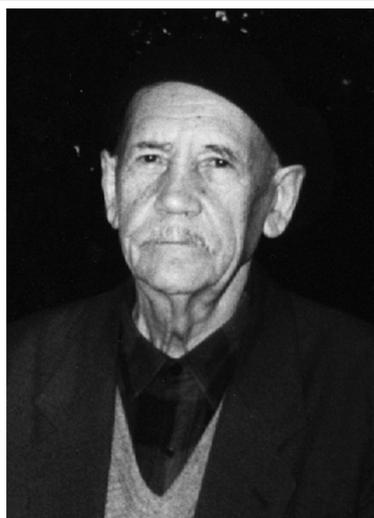
9. М.И. Цветаева:

«Ни дня – без строчки!..» – ?

10. О.Э. Мандельштам

11. А.А. Ахматова

12. Арс. Тарковский



Валерий Александрович Марков (1924–2006)

Латвия, Рига

Dr. habil. phil., профессор эмеритус. Окончил философский факультет Ленинградского университета. В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1987 г. – докторскую. С 20 мая 1993 г. – хабилитированный доктор философии. Автор ряда монографий и свыше 220 научных статей. В 1999 году American Biographical Institute отметил труды В. А. Маркова значимыми для современной философии.

Главные книги В. А. Маркова:

ОЧЕРКИ ПО СЕМИОТИКЕ: Археология знаковых систем. Рига, 1992

МИФ. СИМВОЛ. МЕТАФОРА: Модальная онтология. Рига, 1994

МИР ЧЕЛОВЕКА И ЧЕЛОВЕК В МИРЕ: Антропоморфный универсум. Рига, 1995

ВВЕДЕНИЕ В МЕТАФИЛОСОФИЮ: Театр сознания. Рига, 1996

НОМО INCOGNITUS: Аберрации о человеке. Рига, 1997

АНТРОПОС: Изваяние невозможного. Рига, 1999

ЛОГОС: Этюды к философии языка. Рига, 2000

EGO ET MUNDUS: Синкрета. Псевдоморфоз. Мистерия. Рига, 2001

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ: Сказы о несказуемом. Рига, 2002

ЕДИНОЕ И МНОГОЕ: Абракасас. Сфарагмос. Горизонт. Рига, 2003

МИР КАК ТЕКСТ: Вербальный универсум. Опыт-предел. Археписьмо. Рига, 2005

СОЗНАНИЕ КАК УНИВЕРСУМ: Эмерджента. Апокриф. Энигма. Рига, 2006



* * *

...я часто и с густой грустью вспоминаю ранневесенний день 2006 года, когда мы ждали только что отпечатанный тираж Девятой Книги Валерия Александровича Маркова...

Называлась она СОЗНАНИЕ КАК УНИВЕРСУМ (Эмерджента. Апокриф. Энигма).

В фойе Высотного здания Академии наук было как-то вызывающе неуютно, немногочисленные ожидающие кучковались и тихо переговаривались о своём всяком.

Мы с Валерием Александровичем устроились в двух креслах в сторонке. Было хорошо заметно, как он волновался. Я пытался отвлечь его каким-то утешительным разговором о следующей книге, о её тематике и всегда сопутствующему всем работам В. А. уникальному ментально-эмоциональному наполнению.

«Нет... Эта – последняя...» – выдохнул он тяжело и безнадежно.

Все мои слова о том, что тема неисчерпаема, интересна во всех аспектах и ракурсах, уже никак не могли его утешить – он, конечно, сам прекрасно понимал, что всех родов обстоятельства, включая и здоровье, соорудили перед ним непреодолимую баррикаду. Что это – конец. Да, увы, – не завершение, а – конец. Последняя глава...

...Последняя глава Мастера, который совершенно уникально умел ЧИТАТЬ и РАССКАЗЫВАТЬ О ПРОЧИТАННОМ, вкладывая и в него всего себя – мозг, душу, дыхание. Мечтой которого (это я могу клятвенно свидетельствовать!) было НАУЧИТЬ УВИДЕТЬ ТЕКСТ не просто набором букв, предложений и понятий, а Произведением Разума и Духа.

Чтение его работ – очень непростое занятие, иногда труднопроходимое для понимания с первого раза, но преодоление его постулатов, решение поставленных перед читателем задачек (иногда очень лукавых) доставляет не меньшую радость принятия и постижения, чем часто и подробно цитируемые автором тексты классиков и подвижников Творческой Мысли, Их Величеств Философии и Литературы.

...Ждать пришлось не очень долго, пришла машина, мы перенесли упаковки с книгами в Институт философии...

...а жарким, невыносимо душным летом того же 2006 года, Мастера не стало...

Остались его Девять Главных Книг.

...и эта – Последняя Глава...

Альберт Снегирев



В. А. Марков. Сознание как универсум (Эмерджента. Апокриф. Энигма)

Латвийский Университет. Институт Философии и Социологии. Рига.
2006.

«Некоторым образом душа есть всё сущее».
Аристотель

* * *

Пошла в размол субстанция Спинозы.
Развеян прах эйнштейновой звезды,
Бесшумные песчаные заносы
Засасывают смутные следы.

П. Антокольский

Там в беспристрастном эфире
Взвешены сущности наши.
Брошены звездные гири
На задрожавшие чаши.

О. Мандельштам

Душа влечется в Примитив.

И. Северянин

Домен третий

Герменевтика без пропедевтики. Аргус и Медуза

Когда-то экзегетика как толкование священных писаний. Отсюда герменевтика – разборка текстов: историческая, этимологическая интердисциплинарная, а теперь еще и деконструктивная (гашение – обструкция для ораторов, компромат).

В связи с тотальной информатизацией социума, поведений человека и мыслительных актов (да и всего сознания как феномена) возникает ситуация обрыва, равнозначная отрицанию *Cogito*. Искусственный интеллект



как *Alter Ego* сапиенса ставит под вопрос многие проблемы, касающиеся природы сознания. Взгляд на биоэволюционку. «Симбиоз сыграл важную роль в эволюции... Он может сыграть решающую роль... и для человека нынешнего поколения, получившего важного симбионта. Новым партнером человека является высокоскоростной компьютер»¹. Играют боги, играет Гераклитова река, играют люди, а ныне и небывшая синкрета, кентавр и спрут: человеко-компьютер. Ароморфоз? Эоцен.

М. Фуко, опираясь на историю медицины, пришел к выводу о необходимости рассмотрения сознательных явлений на квазиэволюционном уровне, где историзмы должны связываться не с преемственностью и развитием значений, а, наоборот, с их разрывом. Тут теряется обычная процессуальная последовательность. «Если можно говорить об интерпретации как о бесконечной задаче, то только потому, что интерпретировать-то нечего»². Может быть, сказано слишком резко, но разрывы континуальностей (зияния, провалы) имеют место.

Проблема Тождественного и Иного в парадоксально-негативной форме была поставлена Х. Борхесом и развита далее в работах М. Фуко. Французский исследователь приводит фрагмент из сочинений Борхеса, где значится текст из некой «китайской энциклопедии», воображаемой и бесподобной. Там говорится, что «животные подразделяются на: а) принадлежащих Императору, б) бальзамированных, в) прирученных, г) молочных поросят, д) сирен, е) сказочных, ж) бродячих собак, з) включенных в настоящую классификацию, и) буйствующих, как в безумии, к) неисчислимых, л) нарисованных очень тонкой кисточкой из верблюжьей шерсти, м) и прочих, н) только что разбивших кувшин, о) издалека кажущихся мухами»³. Тут, по словам Мишеля Фуко, перед нами предстает экзотическое очарование иного способа мыслить.

Но далеко ли ушли от знаменитой Энциклопедии наши вербальности? Литература – это магия слова: алхимическая реторта⁴. Такова и постметафизика: «фундаментальная онтология».

Священнодействие на треножнике. Ю. Н. Тынянов: «Каждое художественное произведение ставит в иерархический ряд равные предметы, а разные предметы заключает в равный ряд: каждая конструкция перегруппировывает мир. Особенно это ясно на стихе»⁵. Писателям логопеды противопоказаны.

¹ Kemeny J. *Man and Computer*. – N. Y., 1972.

² Фуко М. Ницше, Фрейд, Маркс // Кентавр, 1994, № 2.

³ См.: Фуко М. Слова и вещи. – М., 1977. – С. 31.

⁴ Парандовский Я. Алхимия слова / Пер. с польск. – М., 1990.

⁵ Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. – С. 226.



Языки человеческие (и любые миры) сложились в процессе эволюции под влиянием многих случайных факторов. *Рандомизированный эксперимент*. Отсюда и логика исследований – исчисления вероятностей. Дж. фон. Нейман: «Язык есть в значительной степени историческая случайность... Сама их множественность показывает, что в них нет ничего абсолютного и необходимого... Будет только разумным предположить, что логика и математика точно так же являются лишь историческими, случайными формами выражения»¹. Язык – в его синхронии и диахронии – это система флуктуирующая: сюда входят бесчисленные диалектизмы, аргоизмы, жаргонизмы, «похищенные языки» (поэтика, метафизика, теология), волапук и т. п.

Фюсис и физика? Конструкты. Г. Вейль: «Совершенно ясно, что наша теория физического мира не является описанием явлений так, как мы их воспринимаем, но представляет собой смелую символическую конструкцию. Однако можно удивляться тому, что подобный характер имеет и математика»². Потенциальный плюрализм всех картин мира – виртуальных и реальных (получивших признание). Релевантности («сшиваемость» теорий и теорем) зависят от исходной точки зрения³. Ни одна из таких «точек» не может быть бесспорной. Абсолютна только вселенная в целом, но нам не дано этого знать теоретически. Сапиенсы всегда в капсуле (лаборатория, Метагалактика и СРТ-инвариантность с обратными знаками). «Мы все великий эксперимент» (Олдингтон).

Все наши дискурсивности зависят от Логоса. Но *Ratio* обрабатывает только наличные «инфы». Большинство переживаний остаются невыразимыми и вообще не могут быть описаны никакими словами⁴. Мы еще раз замурованы в капсуле: сенсорика и нейронные сети.

Концепты – это выгоревшие метафоры, а метафорика работает на категориальных ошибках. Понятия *навязывают* себя внешнему миру (Гегель). То же и с эндоокуменой (интим, самость). Значит, мы неизбежно капсулизуем себя – уже в третий раз, и все редукции онтологичны.

¹ Фон Нейман Дж. // Кибернетический сборник. – М., 1960. – Вып. 1. – С. 59.

² Вейль Г. Полвека математики / Пер. с англ. – М. 1969. – С. 44.

³ Барт Р. Система моды / Пер. с фр. – М., 2003. – С. 490.

⁴ Маслоу А. Психология бытия. – М.; К., 1997. – С. 123–124.



1. Transcende Te Ipsum. Аполлон, Дионис и Саламандра

Вот электронный мозг в коробке,
Но где она, твоя душа?
Ага, молчишь! Мерцают кнопки,
И лента движется, шурша.

Е. Долматовский

И снова – в иное, в иное...

В. Шефнер

Если произойдет то, чему, казалось, не быть,
Дайте ногу мне сменить: я иду.

Р. Киплинг

Уйти от самого себя, от реалий окружающих – тлеющих и пылающих, беспонятных, невнятных, хаотичных, прагматичных, обыденных, кифозных, сколиозных, ритуально-нуминозных, ненастоящих, где фантоши и бонзы: императивы центробежные неисчислимы. «Карету мне, карету!»

Вот пилотажный перечень трансцензусов, бессистемный и неупорядоченный с уклоном к вегетативному клонированию.

1. *Принцип партиципации* (Леви-Брюль). Сопричастность реальных событий с какой-то запредельной силой («мана» у полинезийцев). Нуминозный радикал, священный предмет, ритуал, фиденциал, ставший традицией, ауспицией, преданием, воздыханием, ореолом, иконографией, эпитафией и складкой в ризоматике нейронных сетей. Высокие религии дальше этого партеногенеза не ушли: самодостаточность. Все деликатесы человеческие – Истина, Добро, Красота – и сама Жизнь ушли в небеса. Ничего более возвышенного придумать было нельзя. Интенции нашей имманенции, экзистенции и самости – прикосновение к Вечности.

2. *Мишель Монтень* говорил, что мы никогда не бываем у себя дома, уходим куда-то вовне, улетаем на переменчивых ветрах. «Мы стремимся быть чем-то иным, не желая вникнуть в свое существо...»¹ Абстракции, вымыслы, домыслы, похищенные языки. А ведь «жизнь можно узнать только посредством самой жизни, но ни в коем случае не посредством спекулирования...»² Просто истины кажутся слишком тривиальными и от

¹ Монтень М. Опыты. – Кн. 3. – С. 418.

² Фихте Г. Соч. – СПб., 1993. – Т. 1. – С. 574.



нас далекими. Нам ближе отчуждения. А. Сент-Экзюпери: «Истина человека – то, что делает его человеком»¹. На небесах только звезды; остальное – в человеке. Первоосновы нужно деконструировать. «Не откроется на высотах, но лишь в глубине в великой простоте...»² Психея человеческая имеет свой Антропный принцип и Big Bang, где первичная плазма, коацерваты и гиперциклы. Ризома. По Фрейдю, Бессознательное.

3. *Гностики*. Сирийский гностицизм: Василид. Изначальное «божество блистательно лишено как имени, так и происхождения... Его среда – «плерома», или же «полнота»: невиданный музей платоновских архетипов, умопостигаемых сущностей, универсалий. Бог этот неподвижен, однако из его покоя эмануруют семь подчиненных ему божеств и, унижаясь до движения, создают и возглавляют первое небо». «Мы – неосторожная либо преступная оплошность, плод взаимодействия ущербного божества и неблагоприятного материала»³. Неподвижность Перводвигателя – от Стагирита. Плерома и музей архетипов – отсюда средневековый «реализм».

4. *Вавилонская башня* – вариант лестницы Иакова и сюжет из «Фауста». Дорога в небо, рукотворная. Брейгель-старший изобразил легендарную башню как монумент, который сооружается человечеством из поколения в поколение, не достигая желаемого.

5. *Похищенные языки метафизики*: Порвоединое, Абсолютная идея, Бытие. Там Всё как Ничто. Магия (и пустота) предельных абстракций: Апофатика. Схождение Теологии и Метафизики. Изначально (исторически) теогония в духе Гесиода: синкретизмы первичные и финальные. На Востоке (Индия) – ведические гимны.

6. *Миф против Истории*. Первобытный образ жизни неотрывно связан с первоистоками – ментально, ритуально и всем своим укладом. Первопредки, устроители мироздания, требуют «вечного возвращения» к стартовым временам алчеринги, которые должны повторяться на каждом шаге жизнетворений. Никакие отступления от образцов, предзаданных культурными героями, недопустимы. Отсюда Миф против Истории, т. е. любых девиантностей, имеющих самостоятельное значение. Бегство в до-историю.

7. *Техносфера VS Природа*. Человек ушел от первобытного анимизма и анимизма. Природа онемела, утратила жизненность и стала чуждым предметом, пригодным лишь для использования в технических целях. Вообще техносфера есть отчуждение сапиенсов от природы, хотя прагматически

¹ Сент-Экзюпери А. Планета людей. – Рига, 1988. – С. 115.

² Бёме Я. Аврора, или Утренняя заря в восхождении. – М., 1990. – С. 15.

³ Борхес Х. Оправдание Лже-Василида // Гностики. – Киев, 1997. – С. 342–343.



она всё более интенсивно и широко включается в круг интересов человека. Экзистенция теряется в техноценозах.

8. *Концепты и Музы*. Расширяется сфера концептуальных связей человека с окружающим миром, но свертываются интуитивно-чувственные контакты с ним. Поэтическое творчество как-то компенсирует эти потери, но здесь всего лишь литература.

9. *Аполлон и Дионис*. Ф. Ницше пророчески говорил, что аполлоническое начало в искусстве и жизни предстанет перед неумолимым судьей Дионисом. Ratio размывается и тонет в океане карнавальной культуры. Ницше увидел в творчестве Еврипида две тенденции. «В логический схематизм как бы перерядилась аполлоновская тенденция; нечто подобное нам пришлось заметить у Еврипида, где кроме того мы нашли переход *дионисического начала* в натуралистический аффект»¹. Ницше замечает, что греки занимались философией как люди культуры; они хотели переживать всё, чему они учились². Эти адъективы давно испарились в современных обществах.

10. *Театр абсурда*. Антонен Арто отмечал, что трансцендентное состояние жизни – это есть, по сути, то, чего ищут люди посредством любви, преступления, наркотиков, войны или бунта. Театр абсурда подвергает деконструкции естественные связи людей – вербальные, фатические и герменевтические. Театр жестокости бросает нас к докультурным формам бытия, где довербальная коммуникация, спонтанные импульсы и манекенное поведение. Мы живем обычно в середине – между этажами, и нам светят экстремали.

11. *Поиски начал: диалектика*. Гегель: «Каждая новая ступень *выхождения вовне себя*, т. е. *дальнейшего определения*, есть также и некоторое углубление–в–себя, и большее *расширение* есть равным образом *бóльшая интенсивность*. Самое богатое есть поэтому самое конкретное и *самое субъективное*, и то, что возвращает в себя в простейшую глубину, есть самое мощное и самое объемлющее... – Именно таким образом каждый шаг вперед в процессе дальнейшего определения, удаляясь от неопределенного начала, есть также возвратное приближение к началу, стало быть, то, что на первый взгляд могло казаться разным, – *идущее вспять обоснование* начала и *идущее вперед дальнейшее его определение*, – сливается и есть одно и то же»³. Логика движения понятий под сенью Абсолютной идеи.

¹ Ницше Ф. Полн. собр. соч. – М., 1912. – Т. 1. – С. 104.

² Там же. – С. 325.

³ Гегель. Наука логики. – М., 1972. – Т. 3. – С. 307.



Концептуальный констеллат как бы растворяет себя в своем предмете. К. Ясперс: «Метафизика в качестве философии искусства является мышлением в искусстве, а не об искусстве»¹. Философия – это логика бытия самих вещей, их движения и развития, а не категориальные интермедии в зоне похищенных языков.

12. *Неопределенность реального*. По Фрейду – «принцип реальности». Наша обыденная экология: миксер, флиш, виртуальность, банальность, скандальность. Бальзак писал Стендалю в связи с разбором «Пармской обители», выдающегося произведения французской литературы: «Оставьте всё таким же неопределенным, как действительность, и всё станет реальным»². Нужен свой «принцип неопределенности» (по аналогии с квантовой физикой) в оценках происходящего, будет ли это литература или натура.

13. *Эпический театр: тотальность*. А что если все социетарности вообразить подобием эпического театра в духе Бертольда Брехта. Видеть только смену декораций и ролевых функций, не вдаваясь в каузальности и психологизмы. Оставить все видимости и кажимости без распаковки и толкований. Идеальная политология.

14. *Человек: силуэты вечности*. «В византийской живописи фигура человека (такого изменчивого и непостоянного в жизни), в противоположность западноевропейскому искусству, выступала как носитель и выразитель вечных (надэмоциональных) идей. Для передачи преходящих настроений, переживаний, эмоциональных состояний, соответствующих изображаемому событию или отношению к нему художника, в этом искусстве часто использовали неодушевленные предметы (в представлении современного зрителя значительно более статичные и неизменные по своей природе, чем человек)»³. Погасли «вихри под черепом», и эйдос человеческий – маска: индикатор вечности и сопричастность Бытию. За кадром – пляски св. Витта.

15. *Отчуждение как принадлежность*. П. Тиллих, протестантский теолог и философ: «Человек, как он существует, не таков, каким он является по своей сущности и каким он должен быть. Он отчужден от своего подлинного бытия. В глубине понятия «отчуждение» (estrangement) заложен тот смысл, что некто по существу принадлежит тому, от чего он отчужден. Человек не чужд своему подлинному бытию, потому что он принадлежит ему. Человек отвергнут им, но не может быть полностью отделен, даже если человек враждебен ему. Враждебность человека к богу бесспорно доказывает,

¹ Jaspers K. Philosophie. – D., 1956. – Bd. 3. – S. 102.

² См.: Стендаль. Пармская обитель. – М., 1981. – С. 13.

³ Бычков В. В. Византийская эстетика. – М., 1977. – С. 157–158.



что человек принадлежит ему»¹. Но почему отношение к сакральностям должно быть враждебным? И в чем «сущность человека»? Человек и Мир – отчуждение взаимное. Теология и Метафизика в плане стилизации мышления имеют некие точки касания: Апофатика – Ничто, где Всё.

16. *История, историки и артефакты.* Это разные предметы. (а) Никто не скажет, какая история была бы «правильной» или истинной, настоящей. (б) Нельзя ожидать от историков подлинных, объективных описаний, анализов и сказов. Неизбежны позиции, амбиции, ангажированности в ту или иную историческую игру, схему, стратигему, ажиотацию и сценографию, где бантустанные, империяльные и прочие печати, табуизмы и следы. (в) Далеко не все события документированы (датировка, факультальность) – нужны интерполяции, экстраполяции, предположения, а там свои субъективизмы. *Г. Марсель:* «Если и есть контакт человечества с прошлым, он осуществляется не через историка»². А поведение людей в исторической давилне – массовое, индивидуальное, ожидаемое, наблюдаемое? «Имена правят миром, но мы – онемевшая пред ними терракота».

17. «Я» как событие в Универсуме. Перед лицом стихий, турбулентностей и эндо-диспропорций в бескоординатном мире – изумляющийся индивид:

Вот я
Неразумный, непосвященный.
Новоявленный человек
лицом к лицу с незнакомыми вещами...
*П. Клодель*³

18. «Ничто» как несказуемость и конструкт. Если посредством сверхрадикальной редукции нулифицировать все формы существований (иррациональная аннигиляция), то мы получим, следуя Гегелю, чистое Ничто. Эта квазикатегория невыразима, непредставима и вербально неуловима, поэтому постметафизический вакуум подобного рода можно заполнять чем угодно – от реальных предметностей до мистики и оккультистики. *Э. Кассирер:* «Только отвергание всяких конечных образований, только возвращение к чистому «ничто» мистики может вернуть нас к изначальному источнику бытия»⁴. Но в таком случае «бытие» оказывается

¹ Tillich P. Systematic theology. – Chicago, 1959. – Vol. 2. – P. 45.

² Marcel G. Lé declin de la sagesse. – P., 1954. – P. 65.

³ Claudel P. La tête d'or Théâtre. – P., 1911. – P. 9.

⁴ Cassirer E. Philosophie der symbolischen Formen. – B., 1923. – Bd. 1. – S. 118.



неким *anti* неуловимого «ничто». Игра в пустотности – бесплодный гейминг. Л. Фейербах говорил, что мышление (как оно есть) не может выйти за рамки существующего, потому что оно не способно покинуть пределы самого себя. Разум есть демонстратив, утверждение и сказ бытия. Что сверх того, то от лукавого. «Немь лукает луком немным» (Хлебников).

19. *Рекомбинации в Самости и Тень метемпсихоза*. Если Я–сознание дробится осколочно и несшиваемо... «Тому, кто изведаль распад своего «Я», мы показываем, что куски его он всегда может в любом порядке составить заново и добиться тем самым бесконечного разнообразия в игре жизни»¹. К. Юнг полагал, что возможны изменения в конфигурации *архетипов*, вследствие чего возникают преобразования в обыденной человеческой психике. Инженеры-генетики могут комбинировать отрезки ДНК подобно монтажу в киноленте. Принцип монтажности реализован в самых различных культурах (синема, текстология, аттракционы).

Фантастический пролог к новейшим трансвестиям с воспоминаниями пифагорейских (и более древних) метемпсихозов. *Джон Дос Пассос*: «Знаете, я подумал, как было бы чудно, если бы мы могли перестроить клеточки нашего тела таким образом, чтобы превратиться в какое-то другое существо... Очень уж противно быть человеком. Я бы хотел быть кошкой...»² Биосемиозис.

20. *Новейшая цивилизация: зов предков*. Доистория человеческая цепко удерживает (магнетически, органически) верхние культурные пласты, где мы – индустриальные и «пост». *Андре Мальро*: «цивилизация науки угрожает сделаться едва ли не самой подчиненной слепым инстинктам и первобытным вождениям за всю человеческую историю», ибо «наши боги мертвы, а демоны полны жизни»³. Вотан не забыт.

Далеко ушли едва ли
Мы от тех, что попирали
Пяткой ледниковые холмы...
Р. Киплинг

Трудно поверить, но легко удостоверить каждого, кто понимает семантику и знаки падения на эмблематике новейшей истории: Холокост, «Колымская тетрадь» и Хиросима–Нагасаки.

21. «Одно убежище возможно – целый мир» (Поль Элюар). Мир искусства с его ценностями (но не провидениями, где Постмодерн и компьютер-

¹ Гессе Г. Степной волк. – С. 251.

² Дос Пассос Дж. Собр. соч. – М., 2000. – Т. 2. – С. 511.

³ Malraux A. Antimémoires. – P., 1967. – P. 348–349.



ная живопись). П. Сезанн: «Я не хозяин самому себе, я не существую как человек...»¹. Зато бытийствует, как *мета* над планетой, Геополитика – со времен Александра Македонского, монгольских завоевателей, испанских вторжений в Новый свет и Наполеона Бонапарта, а ближе к нам Neues Ordnung, не говоря о других географиях.

22. *Нирвана*. Элиминация Я-сознания – слияние с неким вселенским сверхбытием: экстремальным, виртуальным и невыразимым. Истинная Плерома.

23. *Автоматизация жизни: эпилог человековедения*. Динамизм нашей эпохи ставит человеческое существование под угрозу небытия. Человек распыляет себя или переходит в одномерный автоматический режим. Н. Бердяев: «Исключительный динамизм, непрерывный активизм или растерзывает человека, или превращает его в механизм. В этом ужас нашей эпохи»². Человек, пишет Бердяев, перестал быть не только высшей ценностью, но и ценностью вообще. Он сдвинут в разряд *реизма*, т. е. обычного вещизма. (Когерентность с «новым романом», где Ален Роб-Грийе.) Будет ли индивид в дальнейшем по-прежнему называться человеком? (Здесь перезвоны с идеями Мишеля Фуко.) «Гуманизм, связанный с возрождением античности, хрупок, его расцвет предполагает аристократическое строение общества, и ему наносит страшные удары демократия, вторжение в культуру масс и власть техники. Машина дегуманизирует человеческую жизнь. Человек, не пожелавший быть образом и подобием Божьим, делается образцом и подобием машины»³. Функциональное использование, тестирование. Всё прочее, оставшееся от «феномена человека», никого не интересует. Закат человековедения, которое ради самого человека. Помимо «Заката Европы».

24. «*Восстание масс*» (Ортега-и-Гассет): разбавленный планктон. Массы переходят в наступление – сказано мыслителями еще в XIX веке. Аристократизм развеян: вверх дном. У руля *Das Man* – обыватель, опавший лист, стадионный свист. Кормчие звезды, управляющие знаками Зодиака. От Я-сознания – к персональному коду.

25. «*Silentium!*» А ныне ток-шоу и массовая истерия. На высокой волне – новейшие социетарности. Конец философии истории и финал социологии. Времена безвременья. Ни Хроноса, ни Кайроса в бескоординатном мире.

26. *Экзистенция?* Вечность мгновений: Он и Она. «Всё в ней было тайной, загадкой, волнующим призывом». Экзо-экология и онтология гаснут. «Надо забыть и уйти куда-то вглубь, уступить... зову тысячелетий, той

¹ Сезанн П. Переписка. – М., 1972. – С. 104.

² Бердяев Н. А. Самопознание. – С. 223.

³ Бердяев Н. А. Философия свободного духа. – М., 1994. – С. 324.



поре, когда еще не было ничего – ни разума, ни мук, ни сомнений, а одно лишь темное счастье крови...»¹ Эк-стазис.

27. «Луденские бесы»: Олдос Хаксли. Натуральный эпизод оборотничества. Массовое секс-помешательство монахинь-урсулинок из монастыря Ангелов (французский городок Луден, времена кардинала Ришелье). Почти все они молодые дворянки. Сеансы эзорцизма, т. е. изгнания бесов, лишь подыгрывали припадкам бешенства. «Отказавшись от собственной личности, женщины погружались в темный недочеловеческий мир, где всё было возможно. Там, в этом мире, аристократки запросто могли превращаться в балаганных акробатов, развлекающих толпу; монахини там сыпали богохульствами, делали непристойные жесты и выкрикивали непроизносимые слова. А можно было опуститься еще ниже, в ступор, отупение, полное забвение и отключение сознания»². Режим автогенерации. А зрители – духовники и горожане – видели здесь лишь неистовство бесовских сил. Для участниц же маскарада, уже вошедших в транс, это была функция отклика на реальную секс-истерия. И своеобразная ситуация *alibi*.

28. *Абиссалии, пленер и хаос*. Пауль Клее рассматривает искусство как некую «проекцию запредельной основы...» Импрессионисты пишут на природе, где аэр и пленер. А нас влекут абиссалии. «Ведь наше бьющееся сердце ведет нас вглубь, к глубинной праоснове». С чего начать? «Я начинаю, следуя логике, с хаоса...» Это логика космическая и творческая. «Есть две вершины, на которых ясно и светло, вершина животных и вершина богов. Между ними лежит сумеречная долина людей»³. На небе и у братьев наших меньших нет Герменевтики. Только человек *рефлексивный* мечется и путается в своих аберрациях, системах и апокрифах, апориях и априориях, нигилизмах и фанатизмах, трансценденциях, просветлениях и помрачениях.

29. *Хиатус: отчуждение переживаний*. Потлач феноменологии, но с обратным знаком. Р. Музиль: «...Сегодня главная тяжесть ответственности лежит не на человеке, а на взаимосвязи вещей. Разве незаметно, что переживания сделались независимы от человека? Они ушли в театр, в книги, в отчеты исследовательских центров и экспедиций, в идеологические и религиозные корпорации, развивающие отдельные виды переживаний за счет других, как в социальном эксперименте, и переживания, не находящиеся в данный момент в работе, пребывают просто в пустоте...»⁴ Бывают

¹ Ремарк Э. Триумфальная арка. – М., 1997. – С. 123, 135.

² Хаксли О. Луденские бесы. – М., 2000. – С. 202.

³ Klee P. Das bildnerische Denken. – Stuttgart, 1956. – S. 59, 93, 157.

⁴ Музиль Р. Человек без свойства. – М., 1984. – Кн. 1. – С. 182.



подставные фигуры (фактотум), а тут навязанные кем-то переживания, посторонние для Самости, для Эго и для всех ложных «я», псевдоподий и рапсодий, где внутренний мелос.

30. *Экстаз как потеря индивидуации.* «В состоянии самого восторженного существования индивидуум угасает, он чувствует себя единым со своей жизнью и растворяется в ней...»¹ Экстаз – ворота в трансцензус, будет ли это камлание шамана, эротика или поклонение святым мощам. Ratio уходит в запасники психоментальных мерцаний.

31. *Новые языки: непрозрачность текстов.* С начала XX века в культурной жизни возникла семиологически новая тенденция, которую обозначили как Метаискусство². Создание не новых текстов в известных языках, и еще не бывших языков в области музыки (Стравинский, Шёнберг), живописи (Пикассо, Дали), поэзии (Хлебников, Аполлинер), театра (Брехт, Ионеско, Арто). Экстравагантные коды творений и рецептов. Странности, которые требовали иных смыслообразований. Дистанцирование от «массовых», общепринятых, исторически сложившихся образцов. Путь к нетронутым еще модальностям эстетических восприятий (включая монструозности). Суперавангардизмы и шок-произведения. Теряется герменевтичность языков и миров. Но раздвигаются границы эстетизмов. (Когда-то у Писарева «Разрушение эстетики».) Г. Башляр: «Индивидуум – это не совокупность его обычных впечатлений; это сумма его уникальных впечатлений»³. Дороги на extremum, где «ультра», «гипер» и «шок».

32. *«Минерализация общества».* Диагностика сия из объемистого труда Жан-Поля Сартра, адресованного флобероведению⁴. Минерализуется в социуме и человек – его идеи, поведения и разума. Нейронные сети: минеральная память и другие психоидные отложения. Аксиомы – окаменевшие связи. Деконструкция знает свою минералогию.

33. *«Главное – выйти из проблемы»*⁵. Научный (и любой иной) поиск состоит в проблематизации самих проблем, где свои окаменелости. Игра вокруг установок, доминант и стратегий. Выбор азимутальностей и знаков Зодиака.

34. *Метеоантропология.* Синдром извечного отчуждения людей друг от друга. Латинская максима: «Никто не знает, кто рядом с нами ходит». Не знакомы нам наши Alter Ego и мы сами с собой без «альтеров». Поэтохроника:

¹ Хьюбнер К. Истина мифа. – М., 1996. – С. 199.

² Почепцов Г. История русской семиотики. – М., 1998. – С. 57.

³ Башляр Г. Вода и грезы. – М., 1998. – С. 25.

⁴ Сартр Ж.-П. Идиот в семье. – СПб., 1998. – С. 629.

⁵ Там же. – С. 8.



На улице вьюга
 Всё смешала в одно,
 И пробиться друг к другу
 Никому не дано.

Б. Пастернак

35. «Слова, слова, слова» (из «Гамлета»). Аналитика: (а) Всякое слово уже обобщает. Точечные события – вне сознания. Мы всегда ситуативны, множественны на всех уровнях – от сенсорики до логики. Человек – аппарат обобщающий (*Différance* сама по себе не жизнеспособна). (б) Любое слово есть вмешательство в предметный или духовный мир. Неучтенные артефакты, антропоморфные. Никаких «чистых» отражений не бывает. Мы всегда по эту сторону своих эпистемологий. (в) Слова витают над миром, выбирая место для приземления (ангар, элинг, риторический прием). А ныне постструктурализм, где примарности для означающих.

36. *Антропокосмология*. «Один из парадоксов нашего века – века практического освоения космического пространства – заключается в том, что современный человек не обладает космологическим сознанием, т. е. сознанием своей глубинной связи со Вселенной, сопричастности проходящим на всех ее планах процессам»¹. Праксис растворяет в себе романтику (не только в делах космических, но и в сюжетах, скажем, эротических).

37. «*Си цы чжуань*» – Учитель сказал: «Письмо не исчерпывает речь, речь не исчерпывает мысль, – в таком случае не могли ли мысли совершенномудрых быть невыраженными?» Учитель сказал: «Совершенномудрые составили символы – этим исчерпав мысли; установили *гуа* – этим исчерпав стремления; присоединили толкования, в которых исчерпали речь; изменяя и сочетая их – исчерпали счастье; возбуждая их, стимулируя их – исчерпали дух»². Иерархия редукций.

Дух человеческий не делится на символику. Археписьмо не исчерпывает никаких речений и учений; словесность открыта миру. «Мысль изреченная есть ложь» – так случилось и нам осталось. Символика слишком неопределенна, чтобы аподиктично судить о чем бы то ни было.

¹ Еремеев В. Е. Чертеж антропокосмоса. – М., 1993. – С. 3.

² Там же. – С. 8.



* * *

Саламандры? Что-то в них человеческое. Более всего они похожи на *Das Man*. Так что сие не утопия, а реальность, на которой мир держится. *Futurum*: «это будет единый, гомогенный мир, подвластный единому духу. Саламандры не будут отличаться друг от друга языком, мировоззрением, религией или потребностями. Не будет между ними неравенства в культурном уровне, не будет классовых противоречий – останется лишь разделение труда. У них не будет ни господ, ни рабов, ибо все они станут служить лишь Великому Коллективу Саламандр – вот их бог, владыка, работодатель и духовный вождь. Будет лишь одна нация с единым уровнем»¹. Без превосходжений, нарциссизмов, альянсов («мы» и «они»)? Единый дух? Общность мировоззрений, языков и религий? Не ко двору нам такие эгалитаризмы. Мы и так хороши.

Любые утопии и «анти», только нас не троньте. Для того и литература. «Но хотя саламандры послужили лишь предлогом для изображения человеческих дел, автору пришлось вживаться в их образ; при таком эксперименте легко подмочить свою репутацию, но в конечном счете дело это столь же удивительное и столь же страшное, как и в вживание в образ человеческих существ»². Левиафан увешан табуизмами, как фетишами, и подиум свой не покинет. Земная ось накренилась вкось. А планетология онтологична и логична.

Аргус. Многоглазый великан. А в новейшей литературе только «третий глаз» (Батай). Видео с необъятным спектром умозрений, впечатлений, aberrаций и пролифераций. Мир будет совсем иным, неузнаваемым. У нас же всего лишь бинокулярность – для Аргуса вульгарность. Может быть, в полиморфизмах Бытие?

Медуза. Одна из горгон. Взгляд Медузы обращал всё в камень. Аннигиляция анимизмов. Так вот и застыли миры после всех абстракций, концептов и алгоритмов.

¹ Чапек К. Война с саламандрами. – М., 2001. – С. 211.

² Там же. – С. 256.



2. Гипербарочные интенции. Соблазн и скольжение в пустое

Предвижу царство пустоты.

Н. Языков

Тщетно мы измеряли шагами
пустыню души человеческой.

Князь В. Одоевский

Здание культуры духовно опустело.

П. Флоренский

Мы пустые люди
Мы люди чучела

Т. Элиот

Пустота – последний наш собеседник.

Б. Брехт

Мир стал пустыней...

А. де Сент-Экзюпери

Великая вокруг меня пустыня...

В. Ходасевич

Différance, как различие, – своеобразное в новейших временах приключение, где доминируют массовидные явления, планетарные и унитарные. Контрапункт. Прецизионные вкладки Археписьма уводят нас в семиологическую микроскопию, где бесконечные знаковые отсылки образуют непроходимый смог.

Обратимся к массоведению. Еще Гегель заметил на горизонте невиданный смерч: «Массы переходят в наступление!» Шеллинг номинативно о том же: «охлократия». Французский социолог Г. Лебон положил начало систематическому изучению тех процессов в современном обществе, которые вторым изданием Ноева потопа поглощают все уникальности. «Наступающая эпоха будет поистине эрой масс». «Благодаря своей теперешней организации, толпа получила огромную силу». «Общие симптомы, заметные у всех наций, указывают нам быстрый рост могущества масс...» «Сила толпы направлена лишь к разрушению. Владычество толпы



всегда указывает на фазу варварства»¹. Новейшие культурологи говорят, что общество ныне находится в стадии прогрессирующей архаизации, а где-то и деградации.

«Восстание масс» (Ортега-и-Гассет) растекается по всем меридианам и параллелям, подавляя традиционные структуры. С. Московичи: «Я даже склонен утверждать, что мы сегодня присутствуем при глобализации масс, при создании массы мирового масштаба. Прежде всего это создание всё расширяющихся наднациональных сообществ с гигантскими ядрами городов и рынками в миллионы человек, которых побуждают жить и потреблять однотипным образом. Затем, расцвет электронных и телевизионных сетей, которые, с одной стороны, связывают между собой людей, находящихся на огромных расстояниях друг от друга, а с другой стороны, проникают в самые недра частной жизни каждого. И бурное развитие систем мультимедиа до предела ускорит этот процесс»². В соответствии с этим и политика принимает массовый характер. *О дивный новый мир.*

Человек-масса констеллят древний, но без ошейников он вышел на арену в новейшие времена. Элиас Канетти (писатель, Нобелевский лауреат): «Уже давно, еще до того, как придумали это разжижающее понятие, «человечество» существовало в виде массы. Чудовищное, дикое, могучее и жаркое животное, она бродит в нас всех, она бурлит в глубинах куда более глубоких, чем материнские. Несмотря на свою древность, она – самая молодая живая тварь, самое важное творение земли, ее цель и ее будущее. Мы ничего не знаем о ней; мы всё еще живем так, словно мы индивидуумы»³. Такого ликбеза мы проходили.

Как коллективный субъект человек-масса повторяет поведение дикаря, для которого «мысль превращается немедленно в действие, поступок для него, так сказать, заменяет мысль»⁴. Параграф первый для всех, кто вживается в *философию поступка*, по Бахтину.

Масса легковерна и не критична по отношению к самой себе. Выраженный инфантилизм. Обостренная ненависть к «другим». Воплощенный алогизм. Импульсивность и агрессивность.

З. Фрейд: «Каждый отдельный человек является физическим врагом культуры...»⁵ Культура – это *состояние души*, а не одеяние. Масса сбрасывает на нули все культурные наработки и моралите. Романтический

¹ Лебон Г. Психология народов и масс. – СПб., 1995. – С. 150–153.

² Московичи С. Век толп: Исторический трактат по психологии масс. – М., 1996. – С. 21.

³ Канетти Э. Слепление / Пер. с нем. – М., 1988. – С. 439–440.

⁴ Фрейд З. «Я» и «Оно» – Тбилиси, 1991. – Кн. 1. – С. 350.

⁵ Фрейд З. Психоаналитические этюды. – Минск, 1991. – С. 482.



анархизм – разгул до вандализма. Индивиды, составляющие массу (тело), «поддерживают друг друга в поощрении собственной разнузданности» (Фрейд). Синдром взаимной стимуляции: кооперативный эффект, синергетический. Кто-то напишет «синергетику масс».

В. М. Бехтерев: «Толпа, как коллектив, отличается «моноидеизмом», особой впечатлительностью, необычайной возбудимостью, переходящей часто в жестокость, легковёрностью, крайним безрассудством... недостатком стойкости, поразительной изменчивостью, относительно малой дифференцированностью и стадной подчиненностью своему вожаку, обусловленной ее повышенной внушаемостью и склонностью к подражанию»¹. Безальтернативность – тотальные интенции: «зов предков», первобытных даже. Готовность к подавлению всех иных и прочих. «Кто не с нами...» Как явление массовое, от плебейства идущее, толпа (уже поток, неудержимый) растекается по всем этажам социальной органики (зиккураты) – от ночлежных приютов («На дне») до ареопага, риксадага и меджлиса, по всему культурному пространству, опустошая всё и вся.

Х. Ортега-и-Гассет: обобщенная картина новоевропейской истории, где социальное пространство заполняется человеком–массой, т. е. «средним» индивидом или еще ниже (Э. Ремарк называет его посредственным: «ГЭМ»). Торжество массы стало всеобщим: апофеоз. «Сомневаюсь, что в истории были когда-либо времена, когда толпе удавалось так явно и неприкрыто задавать тон в общественной жизни, как в наше время»². Масса унитарна и узколоба («она вытаптывает всякую индивидуальность»). Трибунные лидеры – это энергийные молекулы из того же раствора.

Под влиянием технического прогресса и роста общей образованности (эпоха Просвещения и ее консеквенты) широко раздвинулись горизонты «жизненного мира» у каждого человека. Но это только видимость. У человека-массы нет подлинного исторического мышления (зацикленность в доморощенных историцизмах). Он внутренне герметичен: замкнулась его душа, неготовая и недоношенная. «Так вот я утверждаю: в этой герметичной непроницаемости души среднего человека как раз и состоит восстание масс, являющееся в свою очередь проблемой особой важности, поставленной современностью перед человечеством»³. Банальности, нарциссизмы, вульгаризмы и табуизмы (для отверженных). Канон и органон, рескрипт – императив. «Человек-масса – это... дикарь, который, ловко спустившись по веревке, выпрыгнул вдруг на старую сцену цивилизации»

¹ Бехтерев В. М. Избр. работы по социальной психологии. – М., 1994. – С. 91.

² Ортега-и-Гассет Х. «Дегуманизация искусства» и другие работы / Пер. с исп. – М., 1991. – С. 47.

³ Там же. – С. 94.



и»¹. Охлократия у руля, у ветрил и на капитанском мостике. Королевство кривых зеркал. Кифоз и сколиоз.

* * *

Новый принцип реальности и невиданный поворот жизнетворений, социальностей, схем и онтологом. Г. Маркузе: человечество «никогда прежде не знало такого объема господства над индивидом». Индустриальное общество превзошло самое себя, и мы сталкиваемся с «иррациональным характером его иррациональности». Материальная среда мыслится теперь в одном и единственном измерении – как фактор удобства, комфорта и сервиса. «Люди узнают себя в окружающих их предметах потребления, находят свою душу в своем автомобиле, стереосистеме, квартире с разными уровнями, кухонном оборудовании»². Тотальный контроль через систему массового потребления: одномерность со своей психологией, идеологией, прагматикой и догматикой, где нет альтернатив, отчуждения (поглощенность комфортом не осознается как полное отстранение от всего остального) и просветления (бытийного, не считая неоновой рекламы). Есть дивиденды, проценты, развлечения и сервис-люкс. Круиз а Антарктиду, полет на космическом корабле.

Левиафан индустриальный и *post*. «Массовое производство и распределение претендует на *все*го индивида... Непосредственная, автоматическая идентификация, характерная для примитивных форм ассоциирования, вновь возникает в высокоразвитой индустриальной цивилизации; однако эта новая «непосредственность» является продуктом изощенного, научного управления и организации, которые сводят на нет «внутреннее» измерение сознания... Теперь существует одно измерение – повсюду и во всех формах»³. Одномерность образа жизни, установок, доминант, ментальностей и поведений. Рефлексивные акты испаряются: «ложное» и «истинное» сознание склеиваются в одно – адгезия, суррогат и плагиат, ибо всё принято извне. Плоскостопие в нейронных сетях. Гомогенность идентификаций при наличии, конечно, неизбежных пролифераций, где адвокаты и берсерки (маринеры), финансовые тузы и клерки. Но куриозы сии общей картины и куртины не меняют.

Коперниканский переворот в социальностях и контрфорсы для легендарного Левиафана. «Когда в обществах с той или иной степенью изобилия производительность достигает уровня, при котором массы получают

¹ Там же. – С. 108.

² Маркузе Г. Одномерный человек / Пер. с англ. – М., 1994. – С. XI, 12.

³ Там же. – С. 14, 15.



свою долю благ, а оппозиция эффективно «сдерживается» демократическими средствами, так же эффективно сдерживается и конфликт между господином и рабом или, точнее, этот конфликт меняет свое социальное местонахождение. Его продолжением становится восстание отсталых стран против невыносимого наследия капитализма и его продолжения в неокOLONIALИЗМЕ»¹. Это уже глобалистика.

Космологически: вначале Эрос, потом Логос (от Гераклита до Гегеля), затем бунт (Ф. Ницше, А. Камю), а ныне Постмодерн. Не говорим о зловещем бытии (эманативная модель для *Neues Ordnung*) и инфантильной Экзистенции. Умалчиваем о «впечатлениях» Пруста и «феноменах» Гуссерля. Афродита-Киприда ушла на свой исконный остров или к «Авиньонским девицам» Пикассо и в порнолатрию Батая.

Закат Европы? *Десублимация* идеализирующих и трансцендентирующих элементов (Геркулесовых столпов) высокой культуры. «Прославление автономной личности, гуманизма, трагической и романтической любви, по-видимому, являлось идеалом только для пройденного этапа развития. То же, что мы видим сейчас, – это не вырождение высокой культуры в массовую культуру, но ее опровержение действительностью. Действительность превосходит свою культуру, и сегодня человек может сделать больше, чем культурные герои и полубоги; он уже разрешил множество проблем, казавшихся неразрешимыми. Но вместе с тем он предал надежду и погубил истину, которые сохранялись в сублимациях высокой культуры»². Здание культуры духовно опустело.

Культурные ценности прошлых веков беззащитно встраиваются в общий поток потребления, услуг и рекламы. Денудация в аксиологии, эрозия эстетических интенций. *Сакральное априори* выгорает и держится на плаву за счет традиций и ритуала. *Экзистенциальное априори*, которое по Бинсвангеру³, растворилось там, где сервис-люкс. *Историческое априори* читается теперь как «ужас истории». Синтетическое априори Канта всего лишь минерализация культурем, навязанных обществом.

Ното повис, реальный, это массовый и безликий персонаж информационного социума. Отчужденное мерцание телеэйдосов, газетный листопад (отфильтрованные вырезки из галактики Гутенберга и кислотные дожди), назойливая и всюдная реклама. «Шутовской хоровод» *Олдоса Хаксли* в литературе и в натуре. Знаменитый писатель и мыслитель сказал, что мы живем в эпоху *беспрецедентной пошлости*. Электронная Постцивилизация выстраивает для нас и в нас самих небывший *Китч*, которого мы не

¹ Маркузе Г. Эрос и цивилизация / Пер. с англ. – Киев, 1995. – С. 298.

² Маркузе Г. Одномерный человек. – С. 72–73.

³ Бинсвангер Л. Бытие–в–мире: Избр. статьи / Пер. с англ. – М.; СПб., 1999.



замечаем и в котором не можем признаться. «Всеобщим сегодня всегда становится поверхностное, ничтожное и безразличное» (К. Ясперс). Приближается (если не уже) *эпилог* великих культур. *Техноструктуры*, как таковые, не нуждаются в гуманизмах, экзистенциализмах и прочих деликатесах. Сейчас другие азимутальности: бизнес-шанс, престиж, имидж. Новая триада, беспроектная.

Падение в примитив, стремительное и неудержимое. Всеобщая *технологизация*: искусственный интеллект (алгоритмы, программы, машинные языки), компьютеры, инфы, операторы, деловые игры, социальные технологии – никаких субъектов, интенций, переживаний, впечатлений. Нет места личностям, интуициям (бергсонским), самостям, неповторимостям, экзистенц-поискам, бытийностями, экзотическим (жизнеобразующим) смыслам и вечным вопросам о пребывании человека в мире. Достаточно условных рефлексов, оперативных навыков, игровой сноровки.

Вся футурология ложится на компьютер. Безбумажная информатика. Книга, как таковая, доживает свои века и останется только в хранилищах, где палеонтология незрелого разума.

* * *

Новейшая информационная цивилизация опустынивает все *образы*, составляющие среду обитания для человека. Ж. Бодрийяр: «Как приверженцы стиля барокко, мы являемся неутомимыми создателями образов, но в тайне все-таки остаемся иконоборцами. Но не теми, кто разрушает образы, а теми, кто создает изобилие образов, ничего в себе не несущих. Большинство современных зрелищ, видео, живопись, пластические искусства, аудиовизуальные средства, синтезированные образы – всё это представляет собой изображения, на которых буквально невозможно увидеть что-либо. Все они лишены теней, следов, последствий. Всё, что мы можем почувствовать, глядя на любое из этих изображений, – это исчезновение чего-то, прежде существенного»¹. В пределе «как в афишу коза» (Маяковский). Исчезает стереоскопия и голография образного мышления. Остается одномоментность восприятия. Где гуссерлиана с ее онтической верой в изначальные формы знания и первичные модусы понимания? Где бытийность художественных произведений? Где историзмы мироощущения?

Человек потерял *Метафору*, и мы лишаемся самой возможности воображения. Экономика стала трансэкономикой, эстетика – трансэстетикой, сексуальность – транссексуальностью. «...Всё это сливается в универсальном поперечном процессе, где никакая речь не сможет более быть мета-

¹ Бодрийяр Ж. Прозрачность Зла. – М., 2000. – С. 27–28.



форой другой речи, потому что для существования метафоры необходимо существование дифференцированного поля и различных предметов»¹. Взаимное заражение (контагиозность) всех категорий, замена одного модуса жизнетворений другим, смешение жанров и складок. Спорт всюду – в бизнесе, политике, сексуальностях (вампы), в общем стиле достижений. Всё покрывается спортивным коэффициентом превосходства, усилия, рекорда: инфантильное самоопределение. Невольно возвращается первозданная логика оборотничества. «Политика превращается в спектакль, секс – в рекламу и порнографию, комплекс мероприятий – в то, что принято называть культурой» (Бодрийяр). Миксер, амальгама, суррогат. Массы опутаны и поработаны стереотипами. Людей притягивает всё что угодно, лишь бы это оказалось зрелищным.

Ж. Бодрийяр выдает нам категориально новую фундаментальную дихотомию: взрыв (эксклюзивные эффекты) – имплозия (рассеянные в социуме очаги возбуждения). «Наши «современные» цивилизации, напротив [речь шла о первобытных обществах с их гомеостатичностью], на всех уровнях строятся на основе экспансии и взрывных процессов – под знаком универсализации рынка, экономических и философских ценностей, под флагом универсального закона и такой же универсальной стратегии завоевания». Контролируемый взрыв – «и этим определяется золотой век их культуры»². Ныне доминируют импловзивные структуры. Высвобождение социопсихических энергий в виде «революции на молекулярном уровне» (корпускулярная соционика). «...Имплозию не остановит ничто. Победа импловзивного над взрывным предрешена, и вопрос лишь в том, за каким – жестким и катастрофическим или мягким и замедленным – импловзивным процессом будущее. Последний пытается подчинить себе новые антиуниверсалистские, антирепрезентистские, трейбалистские и т. п. центробежные силы, действие которых обнаруживается в возникновении разного рода общин, в обращении с наркотиками...»³ Вседозволенность, либидозность (потлач Фрейду), сектантство, повальный криминал, уличный разбой, оргазм. Социум даже не пытается всерьез остановить эрозию своих традиционных функций. Под воздействием импловзивных процессов безостановочно разрушается культурный универсум. Только геополитика не дрогнула под напором импловзий; это наиболее инертный адъектив (императив, аккузатив) социетарностей, угрожающий миру как «мета» и «гипер».

¹ Там же. – С. 14.

² Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. – Екатеринбург, 2000. – С. 69.

³ Там же. – С. 71.



* * *

Единственный способ избавиться
от искушения – уступить ему.

Оскар Уайльд

Человек не в разгадке плазмы,
а в загадке соблазна.

А. Вознесенский

Кто есмь я
не мое «я» нет нет
но пустыня необозримой ночи
в которой я есмь.

Жорж Батай

Соблазн, родившийся в Эдеме (провокативно), вдруг объявился категориально и эффективно, психоментально и витально. Теургия, богоравенство, сатанизм, апокриф, титаномахия, сказы о несказуемом (опыт–предел), скипетр и держава в руках самозванцев, рыцари на час, популисты. Шок-шоу.

От теургии к управлению массами посредством мягкой стратегии. Семиургия особого рода: податливая технология обольщения. В контексте киберситуаций – модус рефлексивного управления. Соблазнить человека, сделав его заложником собственного (тайного или явного) желания. Ловушка, западня, манок, капкан и гаррота: сценарий единый – о пращуров наших к нам. Алтарные свечения: шарм, имидж, престиж, предсердие трона и окрестности Маммоны. Порно во всех измерениях как стиль жизнетворений и экология.

Массы психологизируются, чтобы быть обольщенными и совращенными. Повсеместно циркулирующий симулякр соблазна: рассеянная либидозная энергия (диссипативный процесс). «Сменяя пространство контроля и надзора, она отмечает уязвимость индивидов и масс мягким командам... Соблазнительная тень этого дискурса распласталась сегодня над пустошью социального отношения как такового и самой власти... – В этом смысле наш век – век соблазна»¹. Урок политологии, которого мы не проходили. Проясняются консеквенты: всеобщая расшнурованность, либертинаж (пародийный), этнонарциссизм и пляска св. Витта в галактике Гутенберга. Джинн энтропии выпущен из бутылки – из катакомб

¹ Бодрийяр Ж. Соблазн. – М., 2000. – С. 301.



подсознания, где Трикстер, очнувшийся резонансно под императивный говор шаманского бубна. Популяционная неврастения: *das Man*, опора Трона. Третий рейх, как Анчар взошел на соблазнах. *Über alles!*

Еще один урок (не последний), которого мы не проходили. Когерентность *порно* и *метафизики*. «Колдовство творится из потаенного». «Системы завораживают своим эзотеризмом, предохраняющим от внешних логик»¹. Но теперь эпоха универсального технологизма: декомпозиция и деконструкция гештальтов, пониманий, целевых функций, целостных образов, эйдосов, тайн и очарований. Микроэлектроника, молекулярный рельеф, инфы, гены, ДНК. «Конец тайны, – пишет Бодрийяр. – Так что порнография – прямое продолжение метафизики, чьей единственной пищей всегда был фанатизм потаенной истины и ее откровения...» Бифуркационный срыв в метафизике (совлечь покрывало Исиды) – и вот: «мета» и «порно» на одном предметном столике.

* * *

Соединив безумие с умом,
Среди пустынных смыслов
мы построим дом.

Н. Заболоцкий

Пустота как натюрморт, экзотика и реальность. Индивидуализм с оборотничеством: Ж. Липовецки (профессор философии, Франция). Аверс – преломление ценностей в мировосприятии личности. Реверс – опустошение самости, анонимность и ничтожность. Консеквент персонализации (*anti* по отношению к Э. Мунье и «Степному волку» Г. Гессе) – массовое размывание «человеческого фактора», всеобщее равнодушие ко всему на свете. «В наше время, – пишет профессор, – когда уничтожение приобретает планетарный масштаб, и пустыня – символ нашей цивилизации – это трагедийный образ, который становится олицетворением метафизических размышлений о небытии». Все институты, продолжает философ, все великие ценности и конечные цели, создававшие предыдущие эпохи, постепенно оказываются лишены их содержания. – Выветривание, денудация, эрозия, десублимация ценных ингредиентов. Остаются карстовые пустоты, шлаки и высохшие русла рек.

В потоке времен и в трясине новейшего безвременья у человека исчезает самопонимание, ощущение себестождественности. Остается экзистенциальный дискомфорт. Согласно анализам Ж. Липовецки наша эпоха

¹ Там же. – С. 142, 143.



характеризуется именно поисками *идентичности*. [М. Пруст в своей эпопее искал «утраченное время».] Отсюда интерес к древним и традиционным европейским верованиям (рунические культуры), а также к духовным и телесным практикам Востока (йога, тантризм, тибетская мистика). Однако *Ното повис* буквально тонет в лавине «инфов», теряя ориентировку в реальных житнетворениях. Ни остановиться, ни оглянуться, ни задуматься, как роденовскому Мыслителю. «Постмодернистское общество – это общество скольжения» (Липовецки). Всё сходит на нет из-за равнодушия, безразличия и выгорания эмоциональных, да и ментальных ресурсов. Энергетику поддерживают лишь импозитивные очаги возбуждения. Коронное «Я» – пустотелый тотем, событие по разряду грамматизмов, фреймов и фатических шевелений. Никакие индивидуальные выбросы и флуктуации (призеры, монстры, вампы) общей панорамы не меняют.

Постмодерный стиль жизни – игра мнимостей на подмостках СМИ. Надо высываться, чтобы показать свою значительность. «...Каждого призывают позвонить на коммутатор, каждый хочет поделиться своим интимным опытом, каждый желает стать диктором, желает быть услышанным». Однако «чем больше люди стараются выразить себя, тем меньше смысла мы находим в их выражениях; чем больше они стремятся к субъективности, тем наглядней анонимность и пустота»¹. Нарцисс на пьедестале и на подиуме, поддавшийся инфантильному соблазну. Да и нарцисс только по названию – это уже манекен из пластилина, вылепленный по образцам затертых инфо-геймингов и скейлингов, где «малое» в роли «большого».

Мелеют реки человеческие. Когда-то дарили миру коаны...

* * *

В искусстве не существует
ни прошлого, ни будущего.

Пабло Пикассо

Постмодерн? Эпилог великих культур и предзакатные видения в духе Освальда Шпенглера. В плане художественном постмодернизм заявил о себе как небывшая, классическая эстетика в противовес эстетике античной (скульптурной и архитектурной с золотым сечением и Аполлоном Мусагетом) и кантианско-гегелианской (понятийной в универсуме Абсолютной идеи). Нонклассика неканонична, асистематична, эклектична и

¹ Липовецки Ж. Эра пустоты: Эссе о современном индивидуализме / Пер. с фр. – СПб., 2001. – С. 11.



анархична. (Может быть, это своеобразный апогей или перигей дионисийства, где вакханалии, сатурналии, луперкалии и всеобщий карнавал.) Постмодерн – эпоха «усталой», энтропийной культуры. [Физики-термодинамики говорят: «Всё кончается энтропией».] Последняя отмечена эсхатологическими настроениями, эстетическими мутациями, диффузией больших стилей и смешением художественных языков – парадигм (амальгама, конгломерат из суррогатов, странная интертекстуальность). Авангард оставлен в арьергарде. Доминирует стремление включить в орбиту новейшего искусства весь опыт мировой художественной культуры путем ее ироничного (саркастичного) цитирования. Игровое освоение и производство «хаосмов» (ризоматика) – превращение их в среду обитания человека, брошенного в рукотворный, если не провиденциальный, хаос¹. Перелицовка и перетасовка образцов по направлению к «Гернике» и тотальной сфарагматике. Для уцелевших остраконов, лоскутьев постмодерного Арлекина (сценическая тень Трикстера) и выгоревших реликтовых воспоминаний не пригодны ни платоновские «эйдосы», ни кантианские «синтетические априори», ни гештальты, ни сюрреалистические монструозные откровения. От «мимесиса», «гносиса» и «алетей» – за горизонт узнаваний, идентификаций, классификаций сказов и показов. Когда-то В. Розанов сокрушался, что *фарисейство* воистину есть категория мира². Ныне, уже без метафор и апорий, всё идет на балаган или неизвестно куда.

Но это завихрения книжные, бумажные, авантажные, акварельные и самодельные. А вот течения и обозрения глубинные, базисные, опорные и бесспорные. Известный французский философ *Жан-Франсуа Лиотар* констатирует, что на протяжении последних десятилетий продвинутые науки и технологии имели дело с *Языком*, где проблемы коммуникации и кибернетики, где современная алгебра, информатика, вычислительные устройства, человекомашинные переводы, банки данных (знаний) и разработка «мыслящих» терминалов. [Кстати, выше говорилось о новых способах кодирования в искусстве, которые касаются именно *Языка*. Сюда нужно добавить лингвофилософию Витгенштейна и поворот к необихевиоризму.] «Следовательно, мы можем предвидеть, что всё не переводимое в установленном знании будет отброшено, а направления новых исследований будут подчиняться условно переводимости возможных результатов на язык машин»³. Определилась инженерная лингвистика, которая потеснила

¹ Маньковская Н. Эстетика постмодернизма. – СПб., 2000.

² Розанов В. В. Последние листья. – М., 2000. – С. 92.

³ Лиотар Ж. Ф. Состояние постмодерна / Пер. с фр. – СПб., 1998. – С. 17.



языкознание традиционное. В лингвосемиосфере утверждается эпицикл языков–инфов. Отношение к «знанию» теперь чисто прагматическое: результативность и деловой успех. Вместо *алетейи* человеческой [«Что есть истина?»] – «Чему это служит?» или прямо «Можно ли это продать?» Обычный товарооборот. Антикварные «сущности», элитарные «экзистенциалы» и бытийные штудии отпадают сами собой. Исключается всякая ориентация на метафизические дискурсивности. Когда-то в Англии (производство шерстяных тканей) «овцы съели людей». Ныне популяция компьютеров трофологически расправляется с «человеческими факторами», где оберегались экзистенция, трансценденция, самость, личность, неповторимость и прочие деликатесы, составляющие микрокосм. Опустошение антропологии – философской, психологической, социальной, эссенциальной, натуральной и провиденциальной, если она от Неба.

Компьютеризация интеллекта бросит нас к первоосновам логического мышления, которые заявили о себе метафизически еще у Гераклита. *Логос* имеет всеобщий и объективный характер. «Всё совершается по этому логосу». «Поэтому необходимо следовать всеобщему. Но хотя логос всеобщ, большинство людей живет так, как если бы имело собственное понимание». Сами по себе компьютеры исключают всякое личностное понимание и разумение: алгоритмы, программы, искусственные языки, машинная двузначная логика (для идиотов, добавляют язвительные критики). «Да человек ли я теперь?» – спросит сам себя *Ното новис*. Машине передали символику, рассуждения, решения, а что осталось и зачем?

Исследователи античной культуры полагают, что в целом Гераклитова картина мира была фаталистической¹. Ну и что? Как будто фатализм не было в новейшие времена.

¹ Горан В. П. Древнегреческая мифологема судьбы. – Новосибирск, 1990. – С. 301.



3. Инфы, манекены и протезы. Борьба миров. «Лже-Нерон»

Мы охвачены общим крушением жизни.
Антонен Арто

Никто не живет своей жизнью.
Р. Рильке

Отраднo камнем быть.
Микеланджело

Мы – это грудa разбитых образов.
Т. Элиот

Мир не ассимилируется сознанием,
не может быть усвоен им.
Ж.-П. Сартр

Искусственный интеллект, перемалывающий бесчувственные «инфы», – решающий шаг на пути к сообществу манекенов и протезов.

Предыстория этого ароморфоза началась в первобытные времена, где индивид всецело принадлежал общине, ее традициям, обычаям, мифам и тотему. Рефлексивность мышления на нуле. Альтернатив никаких. Слово и вещь как одно. Образ жизни – автоматика с перистальтикой. Принцип партиципации: адгезийность естественного и сакрального («мана»). Отсюда все религии, мифологема судьбы и эзотерика. Панпсихизм: всё живет и говорит. Археписьмо не новость: палеография.

В новейшие времена единый текст – *декоративный*. Фернан Леже: неразличимость человека и предмета, их взаимозаменяемость¹. Не первый демарш против *Différance*. Сюрреалистическая поэтика: от ассоциаций по формальному признаку к переходу предметов одного в другой и аутопересечения вещей. Очнувшаяся логика оборотничества. Всё течет. Ю. Тынянов: рождение персонажа из его имени. Реликт первобытных времен, а в литературе и синема – стилизация, экзотический нарратив.

Все эти складки не что иное как вращения вокруг манекенов и протезов – муляжей, которые стали карикатурными моделями человека натурального. Здесь же (единая коллекция) восковые фигуры, куклы, фантоши и

¹ Диль Г. Фернан Леже / Пер. с фр. – Schweiz, 1985.



огородные чучела (пластические произведения – особая статья). Невдалеке от них – телегоминоид, утративший самость и экзистенцию.

Ното новус: небывший профиль, проект и реальность. «Всё, что есть в человеческом существе – его биологическая, мускульная, мозговая субстанция – витает вокруг него в форме механических или информационных протезов»¹. (Добавим сюда татуировки, макияж, грим, трибунное позирование и рекламных фигурантов.) Искусственный интеллект уже вошел в реестр протезов (не считая придворного церемониала), открыв эпоху массового протезирования. Техноинфоструктуры, радикально изменившие мир и не слышавшие об эйдологии Платона, обрушились аутокаталитически на человеческую природу и выдали нам такой сертификат, от которого содрогнулся ницшеанский *Übermensch*. «Борьба миров» – естественного и искусственного: подношение Герберту Уэллсу. А далее... Сателлиты-протезы устремляются в центр спиралей Дао, подобно мудрецам – цзы, и *Ното новус* сам вращается вокруг них орбитально и витально (добавка к эпициклам Птолемея, где «Альмагест»). Знаки Зодиака приведут свою пиктографию в соответствие с небывшей орфографией. История будет препарирована под наркозом, гипнозом и склерозом ради волонтерных оптимальностей (перелицовка и перетасовка историзмов уже внедрена в производство социожизнетворений). Генная инженерия преобразит биос. «Повсеместно будет достигнута эта нечеловеческая формализация лица, слова, пола, тела, желаний, общественного мнения»². (Гендерные исследования потребуют радикальной редакции.) «Человек, который смеется» пришел в ужас от подобных сновидений и столпотворений. Трансвестия уже началась: пропедевтика и майевтика, где манекены и протезы. [Как говорят позитивные религиоведы, посланник Всевышнего выглядит бесполым и напоминает андрогина.] Распадение кодов в генетике, секс-играх, в культуре и повседневности. Переход от ада *Иного* (где «другие») к экстазу *Одного-и-того-же* (привиделись Упанишады, но уже пародийно). Вместо сверхчеловека с привычным, пусть и демоническим, обликом – Протез.

Классик японской литературы Кэнко-хоси: «В мире замечательно именно непостоянство»³. Не отсюда ли неодолимый соблазн – изменить свою антропологию? И вот: маски-протезы.

¹ Бодрийяр Ж. Прозрачность Зла. – С. 46.

² Там же. – С. 67.

³ Сэй-Сэнагон: Записки у изголовья; Камо-но Тёмэй: Записки из кельи; Кэнко-хоси: Записки от скуки / Пер со старояп. – М., 1988. – С. 317.



* * *

Лион Фейхтвангер показал, что возможны и стали реальностью исторические мистификации типа самозванства, имеющие силы поддержки в ту или иную эпоху. Такой фигурой оказался горшечник Теренций, сыгравший роль умершего царя Нерона. Были сомнения у горшечных дел мастера, и «он бежал со своими сомнениями в Лабиринт. Там, во мраке потаенной пещеры, он прислушивался к самому себе, пока его внутренний голос, его «демон» не заговорит и не уверит его, что он – Нерон и что весь мир признает его»¹. И вот пришел этот день: *демон* заговорил, и горшечник Теренций «впитал в себя дух исчезнувшего императора, без остатка перевоплотился в Нерона». Далее разворачивается трагикомический фарс, который закончился Голгофой – распятием на кресте трех самых продвинутых актеров: Лже-Нерона и его сподвижников.

Иоанн с Патмоса: «Без Сатаны, без Антихриста немислим Христос, без тысячелетнего царства греха, без кары за грехи не может осуществиться обетованное спасение. Поэтому и царство Нерона и его обезьяны неизбежно и полно смысла». Ожидание мессии. Историзмы и суррогаты: единый текст.

В конце романа справка от автора. «Сведения о Лже-Нероне можно найти у Тацита, Светония, Диона Кассия, Зонары и Ксифилина, а кроме того в Апокалипсисе Иоанна и в четвертой из Сивиллиных книг». – Это пророческие книги, в которых Кумская сивилла запечатлела все грядущие судьбы Рима. Сивиллины книги были в Риме предметом официального культа.

¹ Фейхтвангер Л. Собр. соч. – М., 1994. – Т. 6; Кн. 5. – С. 45.



Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества,
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества.

Г. Державин

На нелепостях мир стоит.
Ф. Достоевский.
«Братья Карамазовы»

Для выражения мысли логика
имеет не большее значение,
чем геометрия для пейзажа.
А. Моруа

В сущности, есть только один
предмет изучения: это разные
виды и превращения духа.
Амиэль

Мир познанный есть искаженье
мира.
Макс. Волошин

Консумент

Этология и антропология

«Всё – в сознании, по словам Марселя Пруста. Вся сенсорика, все переживания, языки, концепты, идеи, миры, творимые человеком (личностные, художественные, космологические) оставляют свои следы в нейронных сетях, где обрабатываются до фантастики включительно и синергетических катастроф (не упоминая бикамерального разума и шизокомплексов). Заполнение емкостей сознающего аппарата идет от преднатального состояния до любого момента в диахронии, интересующего нас аналитически.

Шарль Бодлер¹ говорил, что наше сознание напоминает Палимпсест со своей стратиграфией, где владения Мнемозины (культурные отложения). Книга жизни пишется (и переписывается на исповедах, в автобиографиях и воспоминаниях, не считая интервью и прочих отчуждений) из книг, которые в сознании нашем. Стереть все иероглифы и граффити («Я с

¹ См.: Женетт Ж. Фигуры: Работы по поэтике / Пер. с фр. – М., 1998. – Т. 1. – С. 101.



памятной доски сотру все знаки») никак невозможно. Можно отряхнуть прах с ног своих, но выбелить эндо-библиотеку не дано.

Человек есть палимпсест для себя, для других и для тех автоволн, которые вознесли его на скользкую вершину Антропного принципа. Т. Харди, известный математик: «...Человек, даже для самого себя, есть палимпсест»¹. Вот и раскопали «экзистенцию». А Подсознание? Оно не имеет языка, который на вынос – для Самости, скажем. За экзистенцией возможны другие шифры, свои рунические знаки или хотя бы кьёккенмединги. «Всё надо начинать с нуля», – говорил Ле Корбюзье². Но попробуйте добраться до нулевой отметки.

Жан-Поль Сартр – теоретик пустого Сознания. Бытие–для–себя. «Мы не находим в сознании никакого субъекта – ни психологического субъекта, который уже есть объект для сознания, каким его открывает редукция, и который является внешним и трансцендентным; ни трансцендентально-го субъекта, который есть только фикция, производимая исходя из психологического субъекта...»³ Апперкот и нокаут для гуссерлианы, даже если ее радикально отредактировать.

Сознание как трансцензус по отношению к Бытию–в–себе (внешний, вещный мир) существует «до» субъектов и личностных констеллятов. «Мы можем сформулировать наш тезис: трансцендентальное сознание есть безличностная активность, она определяется к существованию в каждый момент, без чего нельзя понять ничего перед ней. Итак, в каждый момент нашей сознательной жизни мы открываем творение *ex nihilo* [из ничего]. Не новое расположение [ибо всё течет], но новое существование»⁴. Не сотворение вещного мира, теологическое, а фундированное приключение, метафизическое. Сознание является абсолютной пустотой, дырой (*vide*), «черной» и «белой» сразу (выражаясь космологически), удалением из себя всякой внешней реальности, т. е. образов ее. Это «абсолютно существующее в силу несуществования». [В негативной теологии принцип неантизации божества: *Всё как Ничто*.] Спонтанная активность сознания определяется как истинная свобода. Гибель гуссерлианских интенционалов. Предельная редукция: Палимпсест сознания выскоблен набело. Космологическая аналогия – флуктуации вакуума. Диалектический коан. *Свобода* ушла в абстрактные метафизические выкладки.

Наше мирочувствие и миропонимание предзаданы эпохой (историческое априори), разными течениями и учениями; политическим, этниче-

¹ См.: Пятигорский А. М. Мифологические размышления. – М., 1996. – С. 152.

² См.: Зедльмайр Г. Искусство и истина. – СПб., 2000. – С. 252.

³ Sartre J.-P. La transcendance de l'ego. – Paris, 1966. – P. 23.

⁴ Ibid. – P. 79.



ским, групповым, религиозным сознанием и собственной мифологией, которая таится в теневых ландшафтах нейронных сетей. Мелкая рябь или девятый вал. А мы там, где плот «Медузы».

Бытие–в–себе (вещный мир, физика, органика) открывается нам первично как тошнота, скука и абсурд: Рокантен.

Согласно построениям Сартра, сознание реально. Оно существует на поверхности Бытия–в–себе в качестве его *ничто́жения* (метафизическая апофатика). Сознание онтологично; оно лишь проблематично, конечным проектом сознания оказывается стремление стать Абсолютом. «Бытие может породить лишь бытие...»¹ [Вспоминается Фейербах.]

Тотальность реального (поскольку она схватывается сознанием как синтетическая *ситуация* самого сознания) есть *мир*. Относительно образных представлений «мир» выступает как *небытие*². Многочисленные *неантизации* в текстах Сартра – это отрицания, а не выпадение из бытийностей.

Свобода? Вот ключевая дефиниция Сартра: «Мы не машиноподобные и не одержимые, мы гораздо хуже того: мы свободные»³. И машиноподобия у нас хоть отбавляй, и одержимость – наша (психозы в массовом сознании), а свобода тут как трансцензус (живем-то мы в ситуациях априорных).

* * *

Я была черепахой, одной из рептилий,
Потому что стояла эпоха бескрылий.

Юнна Мориц

Сегодня мы живем, ощущая невозможность
найти нужную нам форму жизни.

К. Ясперс

Хранить разум от бессмысленной тирании,
господствующей над его внешней жизнью.

Лорд Рассел

Теория отражения? Начинать с предыстории когерентностей субъекта и объекта. «По существу своему понятия познавательной структуры относятся к представлению внешней среды. Любой организм,

¹ Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / Пер. с фр. – М., 2000. – С. 61.

² Сартр Ж.-П. Воображаемое / Пер. с фр. – СПб., 2001. – С. 302.

³ См.: Полторацкая Н. Меланхолия мандаринов. – СПб., 2000. – С. 40.



приспосабливающийся к своей среде, должен иметь такое представление. Оно может быть выражено в неявном виде, через организацию реакций на стимулы, или в явной форме – в виде системы познавательных объектов, соотнесенных друг с другом способами, аналогичными отношениям между представляемыми ими объектами окружающей среды»¹. Познавательные объекты (конструкты): эйдосы, монады, *cogito*, синтетические априори, Абсолютная идея, феномены, бытие, модели, принципы, аксиомы, апории, теоремы, теории, парадигмы, категориальные констелляты, гипотезы; мировой эфир, теплород, жизненная сила, монеры, гиперциклы, инфы, логические исчисления и вся методология исследовательских приемов. В космологии *Big Bang*, «черные дыры». Микрофизика: кварки, струны.

Научное познание традиционно рассматривалось как приближение к реальности, построение всё более адекватных теорий. Азимут, вектор и спасательный круг для эпистемологии. По вот итог – Г. Риккерт: «Познать мир значит сделать его неузнаваемым»². Вторичная пелена неузнаваемости – социальные мифы, доминанты и установки, императивы и аккузативы.

Поэтому об исторических дисциплинах и говорить нечего. «...Сегодня прошлое продолжается в виде разрушения прошлого»³. Растащили реальные историзмы по шлагбаумам, улусам, бантустанам и придворным канцеляриям, и сфарагматика эта стала совершенно несшиваемой и неузнаваемой (несварение в нейронных сетях Всечеловека). Везде, за каждым КПП, свой солярный культ, свои герои, трикстеры, спасители, освободители, вдохновители и летописные сказания. Люди одного огня, тотем, сельва, нарциссизмы и маски. Этнографические и даже расовые приоритеты (негритюд и не только). «Мы душу все одну вселенскую творим» (Вяч. Иванов).

Исключить элемент субъективности из физических и всяких иных теорий в принципе невозможно. Сам человек, как соискатель истин, достоверностей, объективностей, представляет собой «нулевой эксперимент» (от сенсорики до менталистики). Т. Кун пишет, что мы должны создавать теории, которые позволяют нам вести диалог с природой. Зеркальных отражателей у человека нет.

Вся история науки и культуры – это неперечислимые императивные акты по отношению к внешнему миру, т. е. субъективные вложения (инвенции) вовне. Сам Язык – первый инвестор: он осуществляет изна-

¹ Рейтман У. Р. Познание и мышление: Моделирование на уровне информационных процессов / Пер. с англ. – М., 1968. – С. 155.

² См.: Степун Ф. Встречи и размышления. – London, 1992. – С. 155.

³ Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещения: Философские фрагменты. – М.; СПб., 1997. – С. 12.



чальное камлание над Природой и Человеком, расклеивая свои номинации и концепты на живую ткань Сущего. Лингвосфера – искусственная оболочка Земли, спутниковая. Теперь уже анемичная, где мумификаты – инфы, алгоритмы и машинные языки. Философия, теология, наука создают свои миры (мифы), где человек естественный – некая абстракция. Системы, эпистемы, учения, развлечения, заветы, гексаграммы, номограммы, эпиграммы, коаны, ритуалемы и леммы, логосы и опусы, инсигнии, бижутерия, жертвоприношения, бочка Диогена и прочие гейминги и скейлинги, струны (новейшая микрофизика) и руны – бесконечность зацеплений с «вещами–в–себе», бытием, сущностями и артефактами. Но Ding–an–sich, как таковая неприступна. Она за пределами любых «данностей», а потому остается чистой абстракцией.

Эволюционная эпистемология К. Поппера. Биологическая эволюция, представленная теорией Дарвина (изменчивость, наследственность, естественный отбор – триада), хороший урок не только для онтологии в целом, но и для теорий познания, которые были (и остаются) в центре всех философских исследований. Философы искали истину в структурах познавательных процессов, создавая все более рафинированную гносеологическую аппаратуру между Миром и Человеком. На до–человеческие формы жизнетворений внимания не обращалось. А ведь эволюционика содержит в себе исходные единства, универсалии, бытийности и травестийности (ароморфозы), которые заявили о себе новейшим реализмом в теории и методологии науки и человековедения вообще. Не говорим о гиперциклах, ДНК, генотипах и фенотипах. Современная эволюционика в определенном смысле продолжает разработку эволюционных идей, начатую в трудах Г. Спенсера¹. Ныне здесь доминирует эпистемологическая ориентация.

«Исходя из научного реализма, – пишет К. Поппер, – достаточно ясно, что если бы наши действия и реакции были плохо приспособлены к нашему окружению, мы бы не выжили. Поскольку «убеждение» тесно связано с ожиданием и с готовностью к действию, мы можем сказать, что многие из наших практических убеждений скорее всего истинны, раз уж мы до сих пор выжили. Они образуют более догматическую часть здравого смысла, которая – хотя она ни в коем случае не является надежной, истинной или несомненной – всегда может служить хорошим исходным пунктом»². Спуск в основания, где биос, витальность, праксис и здравый смысл, – с высот бытийных, феноменологических, экзистенциальных или прецизи-

¹ Спенсер Г. Синтетическая философия / Пер. с англ. – Киев, 1997.

² Поппер К. Р. Объективное знание: Эволюционный подход / Пер. с англ. – М., 2002. – С. 72–74.



онно-эпистемологических изысков. Но и тут не исключаются апокрифы или помутнения хрусталика.

Триада Дарвина работает на протяжении всей эволюционной эпопеи (дисконтинуум) с учетом специфики социума, где «человеческое, слишком человеческое». «Организмы могут выжить, только если они производят мутации, такие, что некоторые из них являются приспособлениями к наступающим переменам, и таким образом включают изменчивость; и на этом пути мы обнаружим, пока мы имеем дело с живыми организмами в меняющемся мире, что те, кому случилось оказаться в живых, довольно хорошо приспособлены к своему окружению»¹. В определенной мере сказанное касается любых организмов – биотических и социальных.

В процессе когнитивного освоения мира явно или неявно выстраиваются концептуальные матрицы, интерьеры коих заполняются различными граффити, где аксиомы, теоремы, законы, теории, объяснительные версии и понимания. К. Поппер разбирает в этой связи *миф концептуального каркаса*². Жесткая арматура подобного рода исключает всякое фундированное развитие и его эмерджентность (концепт-мутации). Это закрытые матрицы, приспособленные к «вечной мерзлоте». Если за ними стоят мощные идеологические и социальные силы, наступает «оледенение».

К. Поппер: «Цель науки – возрастание правдоподобности... Теория *tabula rasa* абсурдна: на каждом этапе эволюции жизни и развития организма нам приходится предполагать наличие некоторого знания в форме предрасположений и ожиданий. – Соответственно, рост всякого знания состоит в модификации предшествующего знания – либо в изменении его, либо в полномасштабном отвержении. Знание никогда не начинается с ничего, но всегда с какого-то фонового знания – знания, которое в данный момент принимается как данное – в сочетании с некоторыми трудностями, некоторыми проблемами»³. Выскоблить набело первый лист книги, которую каждый из нас пишет при столкновении с внешним миром, невозможно. «Даже наши органы чувств (не говоря об интерпретации того, что они нам дают) пронизаны теорией» (Поппер).

Как новая Метaparадигма, эволюционная эпистемология складывалась в определенном смысле коллективно. Б. Рассел: «Еще одну вещь надо помнить при любых обсуждениях ментальных понятий – нашу эволюционную неразрывность с низшими животными. В частности, знание не следует определять так, чтобы этим подразумевалась пропасть между нами и наши-

¹ Там же. – С. 74.

² Поппер К. Логика и рост научного знания: Избр. работы / Пер. с англ. – М., 1983. – С. 571.

³ Поппер К. Объективное знание. – С. 75.



ми предками, не пользовавшимися преимуществами языка»¹. Этология и гносеология связаны единой суровой нитью. Любая эмпирейная, эфирная и зефирная, а в общем-то, бумажная эпистемология после радикальной деконструкции падает к забытым предкам. Единая статья: плазма, эмерджента, ароморфоз и Антропный принцип, на вершине которого Мы, сапиенсы.

Ст. Тулмин видел аналогии между развитием органического мира и научно-познавательной деятельностью². При этом он прямо ссылается на теорию Дарвина.

В статье «Логика социальных наук» К. Поппер отмечает, что за последнее время социальная антропология (этнология) из прикладной дескриптивной дисциплины (изначальный ее предмет – примитивные общества) была возведена в ранг фундаментальной науки. «Теперь бывший социолог-теоретик должен быть счастлив найти применение в качестве полевого работника и специалиста с задачей наблюдать и записывать тотемы и табу белых туземцев в странах Западной Европы и Соединенных Штатах Америки»³. Ирония? Пастиш?

Крутой поворот. Можно смотреть на архаику с позиций развитых культур. А ныне азимутальность и визуальность обратная. Примитив как некий гештальт и матрица для обозрения продвинутых социальностей. В обоих случаях (вертикальное сравнительное обществоведение) компаративная экзотика. «Далеко ушли едва ли...»

Конрад Лоренц, выдающийся австрийский естествоиспытатель, Нобелевский лауреат, в 1941 году опубликовал статью «Кантовская концепция а priori в свете современной биологии», где были сформулированы основы эволюционной теории познания. Этология, как наука о поведении животных, сближалась с когнитивной деятельностью человека. На авансцену выдвинуты кантианские синтетические априори, которые до сих пор рассматривались как трансцендентные схемы и подвергались многолетней (и поверхностной) критике.

И вот пришло время реабилитации и «материализации» (через братьев наших меньших) кенигсбергских априорий на основе убедительных биологических факторов – в контексте психоментальной эволюции человека и адаптивных ее способностей. Априори, лишённые абсолютов («неприкасаемые»), заняли свое место в концепции геннокультурной коэволюции, силуэты которой уже просматриваются в новейших исследовательских программах. «Благодаря такому исследованию предчеловеческих форм

¹ Рассел Б. Человеческое познание, его сфера и границы. – М., 1957. – С. 450.

² Тулмин Ст. Человеческое понимание / Пер. с англ. – М., 1984.

³ Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики / Пер. с англ. – М., 2000. – С. 302.



познания мы надеемся овладеть ключом к пониманию способа функционирования и исторического происхождения нашего собственного познания и тем самым продвинуться по пути критики познания дальше, нежели это возможно без подобного сравнительного анализа»¹. Априорная форма мыслительной деятельности сложилась как адаптация психоментальностей к закономерностям вещного мира на протяжении сотен тысяч лет эволюционной истории человечества. Наш центральный нервный аппарат, обеспечивающий формирование образа мира, адаптирован к реальности, с которой контактирует сапиенс. Индивидуальный опыт человека ложится на эту готовую (минеральную) матрицу, еще доязыковую и довербальную, как на некий метатекст, интуитивный и дорефлективный.

Априорные образования не могут претендовать на какую-либо автономную и абсолютную значимость. Это всего лишь моменты (ступени, площадки, затянувшиеся мизансцены и метасценарии) в процессе эволюционных адаптаций. Геннокультурная эволюция в этом плане представляет собой адаптиогенез. Любые формы знаний и способов их фиксации по большому счету имеют характер рабочих моделей, гипотез, то есть изделий, в общем-то, экспериментальных.

«Формы восприятия и категории, – пишет К. Лоренц, – это, скорее, не сам разум, а инструменты, которые он использует. Они представляют собой врожденные структуры, которые, с одной стороны, помогают выживать, а с другой – способствуют окостенению и застою... Априорные и предустановленные способы мышления как таковые ни в коем случае не являются чем-то специфически человеческим. Для человека, однако, специфично сознательное стремление не застревать на одном месте, не кататься инерционно-механически по рельсам, но сохранять юношескую открытость миру и добиваться более тесного контакта с действительностью в постоянном взаимодействии с ней»². Последние слова звучат риторически и наставительно. Инерционностей – неосознанных и установочных – у каждого из нас и у всех вместе более чем достаточно. Догматика и ошейник (гаррота) в подбрюшье Левиафана – неременная бижутерия.

Между животным миром, как таковым, и человеком пролегла пропасть, которую Николай Гартман назвал «хиатусом». Но абсолютного разрыва, конечно, не произошло – уж слишком много перекличек (пересечений) между этологией и антропологией. К. Лоренц («По ту сторону зеркала: Исследование естественной истории человеческого познания»): «Традиции культуры предписывают индивиду, чем и как ему следует учиться. В частности, культура налагает ограничения на то, чему дозволено учиться...

¹ Лоренц К. Эволюция. Язык. Познание. – М., 2000. – С. 18.

² Там же. – С. 39–40.



Мы можем представить себе, до какой степени наши когнитивные функции находятся под влиянием того, что культура, внутри которой мы живем и которой принадлежим, квалифицирует в качестве «реального» и «истинного». Наш врожденный аппарат восприятия перекрывается культурно-интеллектуальной суперструктурой, которая во многом наподобие врожденных когнитивных механизмов, снабжает нас рабочими гипотезами, которые в дальнейшем определяют направленность нашего индивидуального познавательного поиска. Эта культурная система располагает собственными структурами, которые подобно всем структурам налагают определенные ограничения на степень свободы системы¹. Между генотипом, унаследованным от дорациональной адаптивности высших позвоночных, и социокультурными интроекциями в нейронных сетях и поведении человеческих существ – *хиатус* не только первого рода (Н. Гартман), но также и *хиатус* второго рода, где искривления изначальной «прямыны» (натуралистической), считая от Тотема до тотальностей, которые произошли в перистальтике Левиафана. Тут (в пространствах геннокультурной коэволюции) дистанция огромного размера, непроходимая². Фатализм? Всего лишь реализм.

Культурная традиция (катехизис, Домострой, рескрипт, фирман; заветы, поучения, молитвы, инструкции, дигесты, кодексы, моралите и подавление инакомыслящих) формирует *социальный генотип*, который задает гомеостатичность сложившихся общественных структур, отвечающих интересам патрициев, нобилей, архонтов, всадников и других групп, продвинутых по вертикали. Всякие попытки выпрямить кривизны (Данте Алигьери, «Дон Кихот»; Спартак, Джек-потрошитель, Разин, Пугачев) оказывались безуспешными и катастрофическими. Смена элит ничего не сулит.

Мефистофель

Оставь! Ни слова о веках борьбы!
Противны мне тираны и рабы.
Чуть жизнь переиначат по-другому,
Как снова начинают спор знакомый!
И никому не видно, что людей
Морочит тайно демон Асмодей.
Как будто бредят все освобожденьем,
А вечный спор их, говоря точней, –
Порабощенья спор с порабощеньем.

¹ Там же. – С. 67.

² Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. – М., 1995.



Эпиграф ко всем социальным переворотам.

«История двигалась вперед не лучшей своей частью» (Гегель).

Превосхождения! Ненависть к «другим», где инородцы, сдвинутые по направлению к сточным канавам. Вот какая она, Вифлеемская звезда: вековечный Путь для человека на уникальной, силикатной и голубой, планете.

Геополитика и Анабасис не устали возвышаться на пьедестале. Ожерелье и колье для Атланта.

М. Шелер: «Ни в один другой период человеческого знания человек не был столь проблематичен, как в наши дни. Мы располагаем естественнонаучной, философской и теологической антропологией, не ведающими ничего друг о друге. Но мы лишены какой-либо единой идеи о человеке. Недостающая множественность отдельных наук, вовлеченных в исследование человека, в гораздо большей степени затемнила, чем высветила сущность человека»¹. С другой стороны (да с той же самой) – непробиваемый для диагностики Социум, который требует концепт-анализов, но ускользает от них. Единая плазма и протоплазма. А для *Ното* и *Социо* нет гомогенных текстов, которые можно было бы читать грамматически, семиологически, герменевтически, феноменологически, исторически, категориально или как-то еще. Человек приклеен к своей (отчужденной от него) популяции чисто ситуативно, прагматически, метафорически (*Новалис*: «Человек-метафора»), иронически или даже анекдотически. Не говорим об истории и «восстании масс». Вот и разберитесь в анфиладах, пароксизмах и силуэтах (без бытийных просветов) генно-культурной коэволюции. Еще один миф? Апокриф.

Когда-то можно было сказать, что Всечеловек прошел путь от пещеры до ноосферы. Теперь мы утыкаемся в Интернет, где вместо натуральных систем и эпистем, эйдосов и сущностей бестелесные Инфы, т. е. сведения О чем-то внешнем, уже нездешнем для самости и личности. И психоанализ ни к чему. Телеэкран как всемирный балаган, кифозный и сколиозный.

Деловой мир поглотил всё остальное без остатка. Антитеза к древнекитайскому «увэй», если бы... Востоковед Е. В. Завадская, раскрывая значение этого термина, поясняет: «бездеятельная деятельность (увэй)» есть «внешняя пассивность и внутренняя активность»² Внешняя пассивность выпадает из контекста деловой напряженности, а внутренняя активность адресована духовной жизни, которой на всемирном торжище людском не бывает.

¹ Scheler M. Die Stellung des Menschen in Kosmos. – Darmstadt, 1928. – S. 13–14.

² Завадская Е. В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. – М., 1975. – С. 155.



Релевантность и дополнительность. Копенгагенская физика, где принцип дополнительности, начиналась метафизически у древних греков (не углубляясь далее). Аристотель: «меон» и «форма». Наши времена: нейронные сети (физиология ВНД) и психоментальный феномен. Рентгеноскопия, фрейдоскопия, порнолатрия и «Я помню чудное мгновенье». *Нильс Бор*: культурология. «Мы поистине можем сказать, что разные человеческие культуры дополнительны друг к другу»¹. На экстремалях: *Столько миров, сколько голов.* Точки (и кочки) зрения, подходы в историологии, журналистике и любой вербальной эквилибристике. Искусство как прием (Шкловский). *Sacrum et profanum.* Красная месопотамская глина и реальный антропогенез. – Акад. В. А. Фок сформулировал принцип относительности к средствам наблюдения. Первейший прибор – это сам человек: его сенсорика и менталистика, социокультурные аспекты и перспективы, дренажные системы, узкоколейки и *Holzwege*.

Ахимса и Кант. Благоговение перед жизнью. *Vita* всюдна, многообразна, устойчива в своих основаниях (гиперцикл, генотип, наследственность). Умозрительно можно предположить, что в ней заложены некие метаподобия «синтетических априори», адресованные биологическим таксонам, биоценозам, популяциям и т. п. Адаптация к среде обитания через мутагенез. Таковы же и первичные данности у человеческих существ.

Дхармы и себетожественность вещей. Пустотелые дхармы не имеют кантианских трансцендентных форм, но порождают вполне определенные предметы, где человек, священный Ганг, дерево бодхи, «Тигр, о тигр, светло горящий», боа и «Маугли». «Предрасположенность» К. Поппера остается слишком неопределенной.

Этология для эписетмологии. Биология хорошо поработала для наших онтологий, априорий, презумпций и теорий познания. По словам М. Минского, «задолго до того, как наши предки научились говорить, у них уже возникли специальные механизмы мозга для представления объектов, различий и причин; эти механизмы позднее легли в основу нашего языка (и грамматики в том числе)»² В Языке не только мифология, поэтика, эстетика, но и грамматика, логика, склонения и спряжения. Фонология, звукоподражания, эмоциогенность и символические формы сознания. Не считая просветов Бытия.

«Язык переодевает мысли» (Витгенштейн). А мысли выдают нам следы чужих ног и дактилоскопические отпечатки чьих-то пальцев. Мелкий бес

¹ Бор Н. Избр. науч. труды. – М. 1971. – Т. 2. – С. 282.

² Минский М. // Реальность и прогнозы искусственного интеллекта. – М., 1987. – С. 231–244.



въядлив, а крупный беспощаден. Ревизия, редакция, узурпация. Человек живет в чужом языке и всегда сам не свой.

Объективация ментальностей. Естественные, витальные и фундаментальные архетипы мозга (до-юнгианские. Аналитическая психология мелковата), предназначенные для выживания, забиты мусоропроводом социетарностей, отравлены идеатами, суррогатами, ядохимикатами философом и теологом, шаманскими камланиями трибунных ораторов, конспираторов, проповедников, историологов. Придворных апологетов, летописцев и скорописцев. Мы замурованы и закованы в социоморфизмах (гипнотизмах), заложенных в наших психоментальностях (адгезия, амальгама). «Мозг – это машина, создающая модели, подобные себе» (К. Прибрам). А мы говорим об онтологемах, объективностях, чистых переживаниях (феноменология) и проч. У нас на раменах начинаются обратные «теории отражения», которые должны занимать свое место среди любых эпистемологий.

Примитив как методолог. На Западе выдвинута концепция под названием *этнометодологии*¹. Эта новация универсализирует методы этнографии (антропологии), применяемые для исследования примитивных культур. Она предназначена для социологического анализа когнитивных и коммуникативных форм современной социальной жизни. Рекомбинации подобного рода можно поставить в один ряд с попытками универсализировать методы этнологии, занимавшейся примитивными обществами, и обратить Тотем и табу на исследование современных социокультурных реалий. Подобные сближения в какой-то мере уместны, несмотря на излишние натурализмы. «Далеко ушли едва ли...»

Метафорику Киплинга можно аргументировать, обратившись предварительно к оценкам глобальной экологии, сделанными Туром Хейердалом. По его словам, наша планета представляет собой «не что иное, как одинокий космический корабль, не имеющий «выхлопной» трубы. У нас нет ни достаточно высоких дымоходов для выбрасывания в космос вредных испарений, ни достаточно протяженных систем стока для отвода загрязненных вод за пределы Мирового океана»². Земля является замкнутой экологической системой.

В конце концов, экологические дисбалансы можно как-то минимизировать (писали же: «оптимизация биосферы»). Но Всечеловек тянет за собой гигантский шлейф, от которого, как видно, нет спасения.

Вот. Трехмиллиардная по возрасту палеонтология, где трофические цепи – саблезубые тигры, носороги, ихтиозавры и питоны. Приматы как-

¹ См.: Современная западная социология науки. – М., 1988. – С. 211.

² См.: Культура, человек и картина мира. – М., 1987. – С. 340.



то вырвались вперед. Далее, неандертальцы и архантропы. Потом неантропы: кроманьонцы, дикая орда и вся предыстория рода человеческого. Люди одного огня, Тотем, охотники за черепами, поклонение священным камням. Алчеринга, каннибализм, война всех против всех. Левиафан – государство и общество вместе (Томас Гоббс). Рабство, феоды, рабочая сила как товар. Религиозные войны, Инквизиция. Мировые войны – массовый суицид в человеичнике. Холокост. «Колымская тетрадь». Хиросима–Нагасаки. Международный терроризм. Геополитика: спрут и удав для меридианов и параллелей. Таково наше, всечеловеческое, наследие, и от него нельзя спрятаться нигде. Оно в генотипах и стереотипах, сознаниях и подсознаниях, в самостях и личностях, если их не сковал анабиоз. Это всё на планете нашей силикатной, в ДНК и обмене веществ – в социетарностях, где не произошло унитарностей.

Культура – молекулярный слой на ошейниках, на бижутерии и на протезах. Социальные психозы всё стирают в порошок.

Наши души, где интим, изнемогают от «ужасов истории». Никакие дискурсивности не смогут вместить сие. *Silentium!* К тому же, и это главное:

Если душа заговорит, то увь! Говорящее уже больше не душа.

Райнингер

Инфикс: Экстраполяции, интерполяции

– Академик И. П. Павлов, Нобелевский лауреат: «В сущности, интересует нас в жизни одно: наше психическое содержание... Все ресурсы человека – искусство, религия, литература, философия и исторические науки – все это соединяется, чтобы бросить луч света на этот мрак».

Объяснить Миру – Мир (L. Febre, школа «Анналов») вот сверхзадача Человека. Но сам *Homo sapiens* онтологичен; он не является *ничейным* наблюдателем: картина мира неотвратимо очеловечена (аксиомы, теоремы, эпистемы, догматика, апофатика). Поэтому *Ding-an-sich* всегда неизбежна – чистая объективность недостижима. Такова космологическая ситуация, изначальная (антропный принцип) и натуральная. Вл. Соловьев: «Душа одна и видит пред собою / Свою же тень».

Однако онтологичность человека исходно (и поныне) расколота, если продвигаться от гиперциклов до мыслящего мозга. Отсюда картезианский дуализм: субстанция протяженная и когитальная. Школа И. Пригожина: «Если отбросить такие философские вопросы, как, что же такое «сознание», «ум» или «понимание», и взглянуть на мозг как на многоклеточную ткань,



которая, по общему признанию, имеет наиболее усложненную структуру, то можно убедительно показать, что для изучения этой системы с большим успехом может быть применен весь арсенал биохимических средств¹. Биофизика, биохимия, синергетика, нейродинамика ВНД, инвазионная техника и – *Cogito ergo sum*. *Эмерджента*, которая не снилась никакой «диалектике», обитающей в интерьерах похищенной вербалистики.

– Макрокосм и Микрокосм нерасторжимы: *стохастика*. Вот: «Случайная Вселенная»; «Неистовая Вселенная»; «Идея вероятностной Вселенной» (Н. Винер); статистика наблюдателей (Уилер); вероятностная модель Языка. Ореол множественных «я»: флоккулы. «Частицы, составляющие мое тело, никогда не бывают неподвижными, независимо от того, рассматривали мы отдельные атомы или их совокупности. Мое «я» лишь статистически идентично тому, которое существовало мгновение назад...»² Дополнение к феноменологии Эго Мориса Мерло-Понти. Гераклитова река стохастична.

И еще деталь. В большинстве реальных случаев передается не все количество информации, содержащейся в каком-либо объекте, а лишь некоторая ее часть (усеченные взаимодействия). Ее называют сигнатурой. Мы обитаем – герменевтически, логически и как угодно – в мире сигнатур и фрагментаций. Плерома – для гностиков.

– От эйдосов, сущностей и монад, смыслов и экзистенций человечество переходит к *операционализмам*. Информатика взялась за это дело всерьёз. Вместо картезианского *Cogito* – искусственный интеллект: решающий шаг по направлению к популяции роботов и манекенов, т. е. массовому протезированию человеческих адъективов. *Н. Винер* предсказывал, что индивидуальный код человека можно будет транспортировать по линиям передачи с последующим синтезом индивидуальности на месте получения инфов. Персональный (паспортный) код как гиперцикл для будущей тотальной информологии.

– А пока что *Язык*, очеловечивший двуногого без перьев. Звуковая речь не только эксплицировала процесс мышления и объективировала его, но и послужила катализатором для прогрессирующего языкотворчества, а вместе с ним и мыслетворчества. Язык позволяет манипулировать мирами вместо того, чтобы ворочать вещами в каменоломне реальных предметов.

А начало начал – интерпоризация предметных действий человека, т. е. преобразование их в ментальные события (Жан Пиаже). Но вот мен-

¹ Баблянец А. Молекулы, динамика и жизнь. Введение в самоорганизацию материи / Пер. с англ. – М., 1990. – С. 337.

² Кальвин М. Химическая эволюция / Пер. с англ. – М., 1971. – С. 232.



талитет переходит в режим автогенерации, и образуется мощный слой имманентностей, которые трудно поддаются дескрипциям и показам. Таковы экзистенции, феномены (гуссерлианские) и даже личности в смысле Мунье. Не говорим о бытийных штудиях, которые вокруг «фундаментальной онтологии».

Лингвофилософия Витгенштейна упирается в языковую (логизированную) структуру Мира.

– *Человек исторический* (Дильтей). Тут нужен кафкианский сказ. Нечитаемый калейдоскоп. Прошлое смотрит на нас непонимающими глазами¹. Мы, «современные» (по летоисчислению), сидим за ломберным столиком и переклеиваем киноленту былых времен по заказу новейшей «элиты» (название чисто функциональное). Берегись, История! А она, отшумевшая, беззащитна против реинтерпретаций, манипуляций, разночтений и столоверчений. Нет у нее канонического вида, критериальной устойчивости, ригидности и общего знаменателя. Отсюда *историцизмы* – имперIALные и бантустанные, чисто вербальные и скандальные (для «третьего глаза»), да какие угодно. Наобороты, развороты не в ту степь, нарциссизмы (этнические, геополитические, конфессиональные), кифоз и сколиоз. Пластин историкологический не сопротивляется, не оставляет на себе дактилоскопию деталей.

– Ну, а день текущий? Который под ногами и рядом с нами. Зашнурован он, зашифрован и упакован на вынос. Надо открывать *действительность*, говорили трезвые мыслители. Это ведь Конструкт, сокрытый в подбрюшье Левиафана (когда-то Цербер).

– *Финалитет*. «Найти свою риторику». Не весь ли Язык таков? Риторика многогранна и адаптивна ко всем мерцаниям, извивам и изгибам бытия. Весь мир театр – риторика на подмостках. В синергетике жизнетворений формируются особые складки, которые выступают как аббревиатуры обычных, «развернутых» действий. Это формы уплотнения, сжатия, компрессии. Таковы обряды, церемонии, ритуалемы, профанные и сакральные. *Риторика*: она пронизывает все речевые акты, мануальности, позирования, мимику и весь образ жизни, где общения и сообщения. Особо риторичны «похищенные» языки – метафизические, поэтические, трибунные и стадные. Потеря «смысла жизни» – это дефицит собственной риторики. «Поиски утраченного времени» – риторика инфантильных впечатлений.

¹ Соловьев Э. Ю. Прошлое толкует нас. – М., 1991.



Содержание

Проза

<i>Борис Подберезин. Тургенев. Дым отечества не сладок.....</i>	5
<i>Тадеуш Зубинский. Приходская история.....</i>	28
<i>Анджей Кориэлл. Малая проза.....</i>	44
<i>Эльчин Гусейнбейли. Когда рассеются тучи... ..</i>	54

Публицистика

<i>Максим Горький. Заметки о мещанстве</i>	59
<i>Владимир Набоков. Филистеры и филистерство.....</i>	81
<i>Дмитрий Мережковский. Цветы мещанства</i>	86

О Tempora...

<i>Александр Матвеев. Этот дом сумасшедших – фейсбук.....</i>	89
---	----

Ars Poetica

<i>Павел Астров. Стихи</i>	110
<i>Алла Барлинова. Стихи</i>	115
<i>Сева Гуревич. Стихи.....</i>	122
<i>Ирина Зиновчик. Стихи</i>	127
<i>Сергей Пичугин. Стихи</i>	136
<i>Александра Улитина. Стихи</i>	138

Особенный воздух

<i>Довид Кнут. Кишиневские похороны. Стихи</i>	150
<i>Ревекка Левитант. Стихи.....</i>	154
<i>Алёна Кофман. Стихи.....</i>	161
<i>Георгий Георгиевский. Стихи</i>	164
<i>Александр Фролов. Одесская рапсодия</i>	174



Шестидесятники

Юрий Линник. Интервью.....	179
Юрий Линник. Росы России (Стихи из книги «Прелюдия»).....	182

Лаборатория переводчика

Вера Виногорова. Точка пересечения	214
Владимир Штокман. «Ars Poetica». (Стихи польских поэтов о поэзии)	220

Лаборатория переводчика – Ex Verdnikoff

Алексей Бердников. Полупроводники стихоперевода	239
---	-----

Litterarum ludum

Николай Романенко. Серебро Серебряному веку	245
---	-----

Последняя глава

Валерий Александрович Марков. Сознание как Универсум.....	256
---	-----

Редакционная коллегия выражает сердечную благодарность

ЭЛЕН КОФМАН

за всемерную поддержку и искреннее участие

в издании альманаха «Oceanus Sarmaticus»